



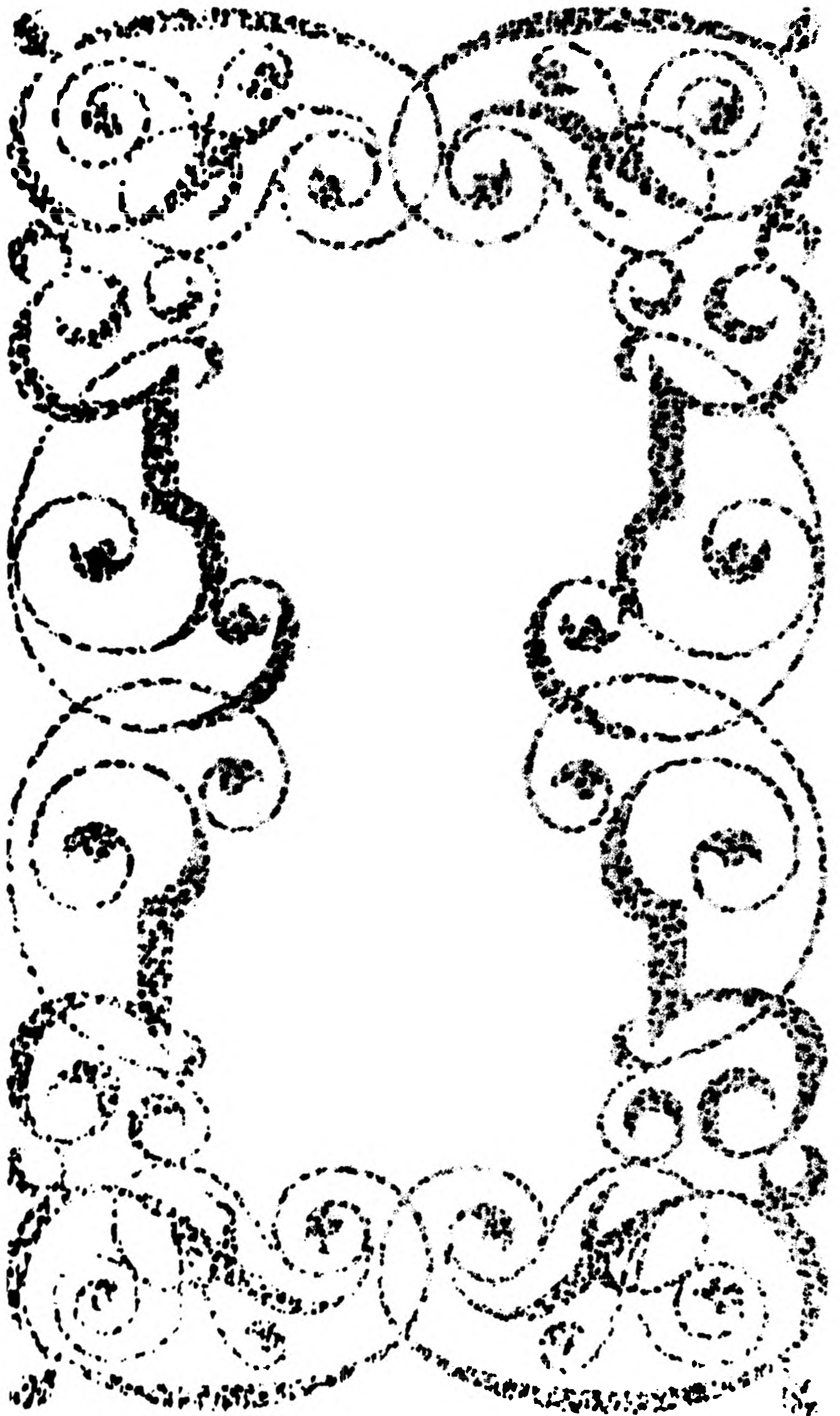
АНДРІЕ
МОРґУА



*Собрание сочинений
в шести томах*

2

том



АНДРЕ МОРҮА



АНДРЕ МОРЮА



Собрание сочинений
в шести томах

Москва

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРЕССА»

1992

АНДРЕ МОРУА



Собрание сочинений *том второй*

ТРИ ДЮМА
ЧАСТИ VIII-X

Москва

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРЕССА»

1992

84.4 Фр
М 79

Переводы с французского

Составление
и общая редакция
Мориса Ваксмахера

М. $\frac{4703010100-2706}{080(02)-92}$ 2706-92

ISBN 5-253-00561-7

© Ваксмахер М. Составление. 1992.



ТРИ ДЮМА
ЧАСТИ VIII-X

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ
ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА

Всякая роскошь укорачивает жизнь.
Ален

Глава первая,
В КОТОРОЙ ДЮМА-ОТЕЦ ЗАВОЕВЫВАЕТ
ЭМИЛИЮ И ИТАЛИЮ

Начиная с 1860 года Дюма-отец снова лелеял мечту покинуть Париж и Францию. Из каждого своего путешествия он привозил огромный ворох «Впечатлений», которые без труда заполняли от четырех до шести томов. Приключения развлекали и обогащали его. Двойная выгода. Сочинители эпиграмм высмеивали путешественника:

Дюма скитается по свету,
Чтоб путевые впечатленья
Весьма подробно описать.
Народ — в восторге! И за это
Хотел бы он без промедленья
Подальше автора послать.

У расточительного Дюма был тогда — о чудо! — текущий счет. Он только что заключил с издателем Мишелем Леви договор на все свои произведения, согласно которому ему причитался аванс в сто двадцать тысяч франков золотом. Любой другой на его месте остался бы богачом до конца своих дней. Но для Дюма такая туго набитая кошелек была соблазном. Как бы опустошить ее? Нет ничего проще. Почему бы и ему не совершить, подобно Ламартину и Шатобриану, путешествие на Восток? Это позволило бы ему удовлетворить давнишнее любопытство и увезти подальше от Парижа любимую женщину.

И на сей раз его избранницей была актриса — белокурая и хрупкая Эмилия Кордые. Ее отец мастерил деревянные бадейки для водоносов. В детстве она часто хворала и, лежа в постели, зачитывалась книгами Виктора Гюго, Бальзака, а в особенности Дюма-отца, кото-

рого обожала. Когда она немного окрепла, родители отдали ее в ученье, сначала к белошвейке, а затем — на Центральный рынок. Но Эмилия страстно мечтала поступить в театр. В 1858 году приятельница ее матери привела Эмилию к Дюма в надежде, что он даст ей какую-нибудь маленькую роль. Путешественник уезжал тогда в Россию, но он не забыл красивую девушку и по возвращении, в 1859 году, написал ей, приглашая зайти к нему в его маленький обветшалый особняк на Амстердамской улице, 77. Эмилия пришла и осталась. Ей было тогда девятнадцать лет, Дюма — пятьдесят семь. Вскоре она обнаружила пыл вакханки, и это привязало к ней Дюма — ненасытного любовника. К несчастью, ее артистический темперамент значительно уступал ее темпераменту любовницы.

Дюма, как всегда, наивно полагал, что его дочь (чей брак оказался неудачным) станет подружкой его любовницы; однако Мари Петель, верная своей методе, все путала, якобы по ошибке посылала телеграммы туда, куда их нельзя было посылать, роняла в самых опасных местах наиболее компрометирующие письма и повсюду сеяла разлад. Надо было уезжать.

Весною 1860 года Дюма, построивший себе в Марселе небольшую шхуну «Эмма» (обыкновенную лодку с палубой), сел на нее в обществе Эдуарда Локруа, Ноэля Парфе и очень красивого создания в костюме опереточного матроса, которое на судне все звали Адмиралом. Это была Эмилия Кордые. Дюма выдавал ее то за своего сына, то за племянника.

Путешествие началось очень весело. Единственная на шхуне каюта была такой низкой, что великан каждый день расшибал себе лоб. Дюма стряпал, болтал, наслаждался любовью. Зайдя в Геную, он узнал, что Гарибальди, борец за независимость Италии, собирается отобрать у Бурбонов Сицилию и Неаполь, чтобы вернуть их Италии (которой, как он надеялся, удастся восстановить свою территориальную целостность). Дюма знал Гарибальди. Ему импонировали гордый взгляд, рыжая борода, *ropcho*¹, привезенный из кампаний в Южной Америке. Он ездил к Гарибальди в Турин и собирался писать о нем книгу. От генерала Дюма он унаследовал справедливую ненависть к неаполитанским Бур-

¹ Накидка (исп.).

бонам. Он решил поддержать благородное начинание Гарибальди. Что он искал в Италии? Ничего. Но, как говорит Шарль Гюго, Дюма никогда не упускал случая вмешаться в знаменательные события. Если где-нибудь ему встречалось временное правительство, он обращался к нему, не церемонясь, на правах старого друга. Он входил, раскрыв объятия, и восклицал: «Добрый день! О чем идет речь? Я к вашим услугам». Он считал себя настолько знаменитым, что надеялся везде быть желанным гостем.

«Революция — его профессия, — писал Шарль Гюго. — Борьба за национальное освобождение — его конек. В Париже, Риме, Варшаве, Афинах, Палермо он по мере сил помогал патриотам, когда они оказывались в отчаянном положении. Он дает советы мимоходом, с видом человека, крайне занятого, и пусть люди поспешат ими воспользоваться, ибо до конца недели он должен сдать еще двадцать пять томов. Таков Дюма в политике. С событиями он накоротке, как знаменитость, и церемонная госпожа История в часы досуга дружески похлопывает его по плечу, говоря: «Милейший Дюма!..»

Немедленно были составлены планы кампании. Два корабля, а также «Эмма» перебросят войска на берега Сицилии. Англичане, которые держат там свои военные корабли, будут сохранять более чем благожелательный нейтралитет. Меньше чем через месяц после отплытия из Марселя Дюма оказывается уже в Палермо. Гарибальдийская Тысяча встречает у сицилийцев восторженный прием. Вот что один из соратников Гарибальди рассказывает о прибытии Дюма:

«Возвращаясь во дворец Преторио, мы перебирались через баррикаду, как вдруг увидели шедшего нам навстречу очень красивого человека, который по-французски приветствовал генерала (Гарибальди). Этот здоровяк был одет во все белое, голову его покрывала большая соломенная шляпа, украшенная тремя перьями — синим, белым и красным.

— Угадай, кто это? — спросил меня Гарибальди.

— Кто бы это мог быть? — ответил я. — Луи Блан? Ледрю Роллен?

— Черта с два! — смеясь, возразил генерал. — Это Александр Дюма.

— Как? Автор «Графа Монте-Кристо» и «Трех мушкетеров»?

— Он самый.

Великий Александр заключил Гарибальди в объятия, всячески выражая свою любовь к нему, затем вместе с ним вошел во дворец, громко разглагольствуя и смеясь, словно он хотел наполнить здание раскатами своего голоса и смеха.

Объявили, что завтрак подан. Александр Дюма был в сопровождении щуплой гризетки, одетой в мужское платье, вернее —

в костюме адмирала. Эта гримаска — сплошные гримасы и ужимки, настоящая жеманница — без всякого стеснения уселась по правую руку генерала, как будто иначе и быть не могло.

— За кого принимает нас этот знаменитый писатель? — спрашиваю я своих соседей по столу. Правда, поэтам дозволяются некоторые вольности, но то, что разрешил себе Дюма, посадив эту ничтожную дочь греха рядом с генералом, не может быть дозволено ни людьми, ни богами.

Великий Александр ел, как поэт, и оказался столь речистым, что никому не удалось и рта раскрыть. Следует сказать, он говорил не хуже, чем писал, и я слушал его затаив дыхание...»

«Адмирал» ожидала ребенка. За несколько недель до изложенных событий Дюма написал своему другу Роблену:

«Дорогой Роблен! Я обращаюсь к тебе как к человеку, который имел четырнадцать детей и, познав это несчастье, должен сочувствовать другим. Та крошка, которую ты видел у меня в доме, днем щеголявшая в костюме мальчика, ночью вновь становилась женщиной. Однажды, в бытность ее женщиной, с ней произошел несчастный случай, который в следующем месяце дал себя знать. Г-н Эмиль исчез, а м-ль Эмилия беременна и, следовательно, вынуждена через два месяца покинуть меня, а я буду продолжать свое путешествие один. Между 15 и 20 июля она придет в Париж. Не мог бы ты к этому времени подыскать ей небольшую меблированную квартиру за городом, поблизости от тебя?.. Ответ, дорогой друг, пришли мне по почте в Мальту. Завтра или послезавтра мы отплываем в Палермо... Само собой разумеется, что м-ль Эмилия, как только она вновь станет г-ном Эмилем, сразу же вернется ко мне...»

Дюма хотел жить по принципу «продолжение в следующем номере». Одержав победу в Сицилии, Гарибальди намеревался переплыть Мессинский пролив и выступить походом на Неаполь. У него не хватало оружия, боевых припасов и не было денег, чтобы купить все это. У Дюма пока еще оставалась его шхуна и пятьдесят тысяч франков; с обычной для него великолепной щедростью он предоставил все это в распоряжение «Italia Una»¹. Гарибальди принял предложение. 7 сентября 1860 года Дюма, без сюртука, в красной рубашке, вступил в Неаполь. Королевское семейство некогда заключило в тюрьму и подвергло пыткам его отца; он изгнал это семейство из столицы. Прекрасная, но запоздалая месть в стиле Эдмона Дантеса.

В Неаполе Гарибальди назначил Дюма смотрителем античных памятников и предоставил ему в качестве «служебной квартиры» Чьятамоне — летнюю резиден-

¹ Единая Италия (ит.).

цию короля Франциска II. Дюма торжествует. Он руководит раскопками Помпеи. Он основывает газету «L'Independente»¹. Неаполитанцев забавляет (поначалу) этот грузный человек, щедрый и веселый. Для него начинается новая жизнь, которая позволяет ему забыть о неблагодарности французов.

24 декабря 1860 года «адмирал Эмиль» произвела на свет в Париже маленькую девочку, «дюймовочку», Микаэлу-Клелию-Жозефу-Элизабету. Селеста Могадор, графиня Шабрийян, была крестной матерью; Джузеппе Гарибальди, через поверенного, — крестным отцом.

Дюма-отец — Эмили Кордые: «Да пребудут с тобою радость и счастье, ненаглядная любовь моя!.. Ты знаешь, что я как раз хотел девочку. Скажу тебе почему: я больше люблю Александра, чем Мари, — ее я вижу едва ли раз в год, Александра же могу видеть, сколько мне хочется. Всю ту любовь, какую я мог бы питать к Мари, я перенесу, таким образом, на мою дорогую крошку Микаэлу...»

В феврале 1861 года Эмилия уже была в состоянии приехать к Дюма в Неаполь, некоторое время спустя вслед за нею прибыла кормилица с ребенком. Эмилия взяла на себя роль хозяйки дворца.

Объем работы, которую Дюма выполнял в то время для своей газеты, поистине ошеломляет. Политические передовицы, заметки на различные темы, известия из Рима, длинные исторические статьи о легендарной Иский, о Дандоло и, разумеется, фельетон — все выходило из-под его пера. Большие листы голубоватой бумаги, которые он исписал тогда своим писарским почерком, могли бы составить пятнадцать — двадцать томов. Здесь можно найти воззвания, полемику, подстрекательские статьи:

«Двести учащих школы живописи пришли поблагодарить нас за то, что мы взяли их сторону против преподавателей, видимо, забывших, к чему их призывает долг...» «Пусть муниципалитет даст мне участок, и я, Дюма, найду сто тысяч дукатов, чтобы построить для вас театр...»

Одновременно Дюма собственноручно писал историю неаполитанских Бурбонов в одиннадцати томах, роман («Сан-Феличе»), «Воспоминания Гарибальди». Бенедетто Кроче очень похвально отзывается об одной брошюре Дюма, написанной по-итальянски; она датиро-

¹ Независимый (ит.).

вана 1862 годом и поднимает вопрос «О происхождении разбоя, причинах его распространения и способах уничтожения». Из этой брошюры явствует, что человек, которого многие считали легкомысленным, лучше всяких экспертов проанализировал конкретные условия для проведения аграрной реформы в Южной Италии.

Плодовитость писателя была по-прежнему неиссякаема; непрекращающаяся битва человека с недоверием способна была привести в отчаяние. Даже Портос и тот нашел бы эту глыбу слишком тяжелой.

Дюма-сын — Жорж Санд, 22 августа 1861 года: «Я получил письмо от папаша Дюма; и он уже потерял мужество. Вот что он пишет: «Десять тысяч нежнейших приветов нашей приятельнице, она не стареет и все так же умело пользуется бумагой, пером и чернилами, а меня они убивают...» Если папаша Дюма примется сообщать мне свои черные мысли, это будет смешно. Напишите моему отцу и дайте ему все те советы, какие Вы вправе дать, а я — нет... Расскажите ему, какой образ жизни сохраняет Вам молодость и талант, и, быть может, он ухватится за протянутую ему руку помощи. Он такой сильный, а первое побуждение всегда так благородно...»

Что пользы быть сильным, когда другие слабы? Кавур, верный слуга Савойского дома, почел своим безотлагательным долгом выступить против Гарибальди, который, так же как он, стремился к единству Италии, но опирался на республиканцев. Гарибальди был в нерешительности. Дюма, «более гарибальдиец, чем сам Гарибальди», был противником Кавура. Французскому консулу в Ливорно он заявил (тот передал содержание этого разговора в депеше своему министру), что хотел бы изгнать из Неаполя не только Бурбонгов, но и нового короля Виктора-Эммануила.

«— В драме,— сказал Дюма консулу,— когда какой-нибудь персонаж уже полностью использован, когда его роль исчерпана, закончена, от него ловко избавляются — его уничтожают. Как раз это мы и собираемся сделать...»

— Но когда вы прогоните пьемонтцев, кто же сядет на их место?

— Мы, дорогой мой, мы!

— Кто это мы?

— Гарибальди...

— Но что вы сделаете с Италией?

— Мы, дорогой мой, организуем в Италии федеративную республику».

Жорж Санд, чувствуя, что он несчастен, предложила ему приехать отдохнуть в Ноан; папаша Дюма прислал ей мрачное и пессимистическое письмо-отказ.

Дюма-сын — Жорж Санд, 12 сентября 1862 года: «Право же, мой отец стал капризен. Что заставило его так измениться? Вы, дорогая матушка, сделали больше, чем могли, и быть может, все сложилось к лучшему. Бог знает, что натворила бы эта дикая птица в Вашем воробьином гнезде. Оставьте его в покое. Он вернется к нам, когда ему подобьют крыло.

Что касается нашего друга Гарибальди, то в прошлом году я писал Дидье: «Я, право же, боюсь, как бы мой герой не полинял». Я не ошибся. Между нами говоря, он не из того теста, из которого сделаны поистине великие люди. Люди, возрождающие общество с помощью шпаги, не столь речисты. «Бог толкает меня», — говорил Аттила и шел вперед. Этот же, едва добравшись до какого-нибудь балкона, сразу начинает произносить речи, а любой листок бумаги побуждает его написать прокламацию. Это поэма Данте, оконченная Вьенне. Ради его (Гарибальди) доброго имени я хотел бы думать, что эта развязка была заранее обусловлена с Виктором-Эммануилом и что он сказал королю: «Я слишком много говорил. Я слишком много обещал. Я вынужден идти вперед. Арестуйте меня с оружием в руках, помешайте мне зайти еще дальше». Они дадут друг другу честное слово; Гарибальди получит какой-нибудь лен; из него сделают итальянского Абд-эль-Кадера, и все будет кончено. Бог не допустит, чтобы он кончил публикацией своих «Воспоминаний» с предисловием Жюля Леконта! Впрочем, я за это не поручусь...»

Увы! Неблагодарность — распространенный порок. Народ Неаполя, забыв о щедрой помощи Александра Дюма, устроил демонстрацию перед его дворцом, выкрикивая: «Прочь, чужеземец! Дюма — в море!» Добрый великан залился слезами: «От Италии я не ждал такой неблагодарности». Но пять минут спустя вновь принялся философствовать. «Требовать от человеческой природы благодарности, — заявил он, — все равно, что пытаться заставить волка стать травоядным». После того как Гарибальди передал Неаполь и Сицилию Виктору-Эммануилу II, Дюма установил, что в окружении короля не видно ни одной красной рубашки. Те, чьими руками все было сделано, оказались не в чести. Так бывает всегда.

В октябре 1862 года Дюма начал соблазнять другой проект — грандиозный и химерический. Некий князь Скандербег, президент Греко-Албанской хунты, написал ему из Лондона, прося его сделать для Афин и Константинополя то же, что он сделал для Палермо и Неаполя. Речь шла всего-навсего о том, чтобы изгнать турок из Европы. Дюма предоставил в распоряжение «Девятого крестового похода» свою шхуну «Эмма» и те деньги, которые у него еще оставались. Взамен он был произведен в чин «суперинтенданта военных складов

христианской армии Востока». Титул столь же лестный, сколь эфемерный, ибо князь Скандербег оказался обыкновенным жуликом.

Максим дю Кан, гостивший в то время у Дюма в палаццо Чьятамоне, восхищался наивным долготерпением этого по-детски добродушного геркулеса, его неизменно улыбающимся лицом, его большой головой, увенчанной копной курчавых седеющих волос. Дюма продолжал раскопки в Помпее. «Вот увидите,— заверял он Максима дю Кана,— сколько мы там найдем. Ударом заступа мы извлечем из мрака всю античность». Но в конце концов и он устал. Гарибальди уехал из Неаполя; местные жители не простили Дюма его благодеяний. Он решил вернуться в Париж. Несмотря на все ее фокусы, Франция вовсе не так уж плоха. Сойдя с поезда в десять часов вечера, после недельного путешествия, Дюма попросил сына отвезти его в Нейи, к их другу поэту Теофилю Готье.

— Но, папа, уже поздно, и ты ведь устал с дороги!

— Кто, я? Я свеж, как роза.

Готье уже спал. Дюма принялся громко звать его. Добряк Тео показался в окне и запротестовал.

— У нас уже все легли спать! — сказал он.

— Бездельники! — заявил Дюма. — Разве я когда-нибудь ложусь в это время?

Проболтали до четырех часов утра, затем Дюма-сыну, вконец измученному, удалось пешком увести отца к себе, на Елисейские Поля. Все то время, что они шли по проспекту Нейи и проспекту Великой Армии, отец без умолку говорил. Они добрались до дому в шесть часов утра. Дюма сразу потребовал лампу.

— Лампу — для чего?

— Чтобы ее зажечь: я собираюсь сесть за работу.

На другой день он временно поселился на улице Ришелье, 112 и снова вошел в обычный для него ритм фантастической симфонии. Он заканчивал одновременно два романа: «Гарибальдийцы» и «Сан-Феличе». Эмилия Кордые выпала из его жизни. Она слишком настойчиво говорила о браке, а Дюма не испытывал никакого желания вновь повторять этот опыт. Он предложил узаконить крошку Микаэлу, которую он называл «Бибэ» и которую нежно любил. В этом случае он уравнивал бы ее в правах с Александром Дюма-сыном и Мари Петель.

Эмили нужен был брак — или ничего. Досадуя на то, что на ней не женился ее «соблазнитель», которому, по ее словам, она «принесла в жертву цветок своей невинности», и опасаясь, что она потеряет права на ребенка, которого она зарегистрировала, она восстала против проекта Дюма, лишив, таким образом, бедняжку Микаэлу ее доли наследства. Ибо после смерти расточителя и оплаты наследниками его долгов гонорары Александра Дюма-отца¹ должны были составить значительные суммы до тех пор, пока действовало бы посмертное авторское право.

Поссорясь с «Адмиралом в отставке», Дюма несколько месяцев спустя узнал, что молодая женщина произвела на свет близнецов, отцом которых был ее богатый покровитель из Гавра по фамилии Эдвардс.

Дюма-отец — Эмили Кордые: «Я тебя прощаю... В нашей жизни произошел несчастный случай, вот и все. Но этот случай не убил мою любовь. Я тебя люблю с прежней силой, но только так, как любят нечто утраченное, мертвое, некую тень...»

Он не перестал из-за этого уделять нежное внимание Микаэле, его «ненаглядной Бебэ», и задаривал ее куклами, книжками с надписями, а впоследствии просто деньгами. Вступив в возраст деда, этот неверный любовник стал прекрасным отцом.

Глава вторая

ДОРОГОЙ СЫН — ДОРОГАЯ МАТУШКА

Великий блестящий сын...

Жорж Санд

Когда в 1851 году Дюма-сын отыскал в городке на польской границе письма Санд к Шопену и добыл их для нее, она сделала попытку завлечь его в Ноан. Быть может, она даже тайла надежду привязать к себе этого

¹ Позиция Эмили объясняется следующим: благодаря тому, что Дюма узаконил своего сына, ему удалось в 1831 году отнять маленького Александра у беззащитной Катрины Лабе. «Адмирал» упоминает об этом случае в письме к Пьеру-Франсуа Кордые. Она не хочет, говорит она, чтобы ее лишил «материнских прав» небрачный отец, имеющий предпочтительное право на ребенка перед матерью (незамужней).

великолепного парня более интимными узами. Но поскольку жизнь Дюма-сына заполонила и наполнила тридцатилетняя княгиня Нарышкина, пятидесятилетней Жорж Санд не оставалось ничего другого, как принять его в качестве бесконечно дорогого сына. В своих первых письмах он обращался к ней: «Госпожа» и «Дорогой мэтр». После того как она написала ему: «Я принимаю Вас в число моих сыновей», — он ответил: «Дражайшая матушка...» Отныне роли были четко определены. Иногда она встречалась с ним в Париже, но княгиня, очень дичившаяся людей, держалась вдали от света. В 1859 году она продала виллу в Люшоне и сняла недалеко от Клери (Сена-и-Марна) замок Вильруа. Несмотря на то, что это грандиозное сооружение насчитывало сорок четыре комнаты, Надежда жила в одной комнате с Ольгой — так она боялась, чтобы князь Нарышкин (приехавший в Съез, на озере Леман, «для поправления здоровья») не организовал похищение дочери.

Вспоминали ли когда-нибудь Александр Дюма и Надежда Нарышкина о Лидии Нессельроде, которая, будучи любовницей Александра и подругой Надежды, по сути дела, толкнула их друг к другу, поручив своей наперснице сообщить обманутому любовнику об окончательном разрыве? Одно удивительное известие неожиданно оживило их воспоминания о Лидии. Бывшая графиня Нессельроде, вторично выйдя замуж, стала 8 февраля княгиней Друцкой-Соколинской. Она не посчиталась с волей царя (официально воспретившего этот двойной развод в среде высшей придворной знати) и перед алтарем маленькой церквушки в деревне, принадлежавшей Закревскому, вынудила ничего не подозревавшего попа совершить незаконный обряд венчания.

Канцлер Нессельроде — своему сыну Дмитрию, 18—30 апреля 1859 года: «Свадьба Лидии — совершившийся факт, подтвержденный признанием самого Закревского, который содействовал этому браку. Он благословил новобрачных и снабдил их заграничными паспортами. Император вне себя. Закревский более не московский губернатор; его сменил Сергей Строганов. Вот все, что мне покамест известно... Будучи не в силах появиться вчера при дворе, я не видел никого, кто мог бы сообщить мне достоверные подробности о впечатлении, сделанном этой катастрофой. Подробности необходимы мне для того, чтобы я мог посоветовать тебе, как действовать дальше. Предпримет ли правительство что-нибудь? Или же тебе, со своей стороны, придется принять меры, подать прошение в синод, чтобы испросить и получить развод?..»

Отчаянная и сумасбродная Лидия решилась послушаться императора всея Руси и тем погубила карьеру собственного отца. Безжалостная отставка генерала Закревского позволяет понять, почему князь Нарышкин так противился разводу. Что касается Надежды, то она надеялась покорностью царю выговорить себе право на свободный союз, то есть возможность жить во Франции со своим французом, не порывая связей с Россией. Час выбора пробил в 1860 году, когда княгиня Нарышкина забеременела от Александра Дюма-сына. Она стыдливо скрывала свою беременность в провинции, но рожать собиралась в Париже, чтобы прибегнуть к услугам знаменитого гинеколога, доктора Шарля Девилье. Она сняла под вымышленным именем «Натали Лефевюр, рантьерки» квартиру на улице Нев-де-Матюрен. Здесь-то 20 ноября 1860 года и родилась у фиктивной матери и неизвестного отца девочка, которой, как предписывает закон о внебрачных детях, было дано тройное имя и сверх того прозвище «Колетта».

Автору «Внебрачного сына» было крайне тягостно иметь внебрачную дочь. Но что поделаешь, да и как можно узаконить девочку при жизни Нарышкина, официального мужа, а значит, номинального отца?

Жорж Санд, женщина сильная, очень скоро стала наперсницей и утешительницей Дюма-сына, который начал страдать от ипохондрии.

Дюма-сын — Жорж Санд, февраль 1861 года: «Я разбит телом и духом, сердцем и душой и день ото дня все больше тупею. Случается, что я перестаю говорить, и временами мне кажется, будто я уже никогда не обрету дара речи, даже если захочу этого... Представьте себе человека, который на балу вальсировал что было мочи, не обращая внимания на окружающих, но вдруг сбился и уже не может попасть в такт. Он стоит на месте и заносит ногу всякий раз, как начинается новый тур, но уже не в силах уловить ритм, хотя в ушах у него звучит прежняя музыка; другие танцоры толкают, жмут его, выбрасывают его из круга, и дело кончается тем, что он бормочет своей партнерше какие-то извинения и в полном одиночестве отправляется куда-нибудь в угол. Вот такое у меня состояние. Судите же сами, сколь сильно мое желание, более того — потребность быть возле Вас... Я никогда не высказывал Вам своего мнения о Вас, ибо я ставлю Вас так высоко, что Вы оказываетесь выше каких бы то ни было оценок — как дурных, так и хороших. Но должен Вам сказать: Вы—малый что надо, и еще не явился на свет тот парень, который мог бы занять Ваше место».

В 1861 году Дюма-сын совершенно бескорыстно трудился над переделкой в комедию романа госпожи Санд

«Маркиз де Вильмер»: писательница попросила его помочь ей, так как по части исправления неудавшихся пьес он унаследовал от отца сноровку костоправа. Они часто виделись; она умоляла его привезти в Ноан «Великороссию» и «Малороссию», чтобы показать им тамошние любительские спектакли и знаменитых марионеток. Жорж Санд, которая когда-то привязалась к графине д'Агу за то, что у той хватило мужества бежать с Листом, разумеется, проявляла интерес к княгине с зелеными глазами и тяжелыми медно-золотистыми косами, бросившей в России могущественного вельможу и тысячу душ крестьян, чтобы открыто жить в Нейи-сюр-Сен с молодым французским драматургом. Однако иностранка боялась романистки.

Дюма-сын — Жорж Санд: «Княгиня требует, чтобы я непременно написал черновик ее письма к Вам. Я же не хочу этого делать... Эти княгини довольно-таки глупы, как подумаешь!..»

Княгиня нашла повод остаться в замке Вильруа, и Дюма гостил у Санд один с 9 июля по 10 августа 1861 года. Он переживал очередной приступ уныния. Вечерами на террасе гость и хозяйка изливали друг другу душу. Жорж слышала много дурного о Надежде. Дюма оспаривал слухи.

Дюма-сын — Жорж Санд: «Что касается «Особы», она мало походит на персонаж, который Вам нарисовали, и, к несчастью для нее, недостаточно расчетливо построила свою жизнь. Я столь же готов обожать ее, как ангела, сколь и убить, как хищного зверя, и я не стану утверждать, что в ней нет чего-то и от той и от другой природы и что она не колеблется попеременно то в одну, то в другую сторону,— но (это надо признать) скорее в первую, чем во вторую. У меня есть доказательства бескорыстной преданности этой женщины, и она даже не подозревает, что я признателен ей за это; она сочла бы вполне естественным, если бы я об этом забыл. Короче, я говорю все это с таким волнением не потому, что открыл в ней нечто новое для себя, а потому, что я свидетель ее обновления, ибо я льщу себе, что преобразил это прекрасное создание... Я так привык непрестанно лепить и формировать ее, как мне заблагорассудится, так привык вслух размышлять при ней на какие угодно темы и повелевать ею, при этом отнюдь не порабощая ее, что не сумел бы без нее обойтись...»

Он сказал Санд, что хотел бы жениться на «Особе». Она поведала ему о своем супружестве и своих любовных невзгодах. Когда он слушал ее, в мозгу драматурга рождались сюжеты. Поначалу веселые и ребяческие забавы Ноана не могли расшевелить его. Жорж Санд нашла, что «трудно развеять его скуку». Потом она сдела-

ла попытку внушить этому «великому и блестящему сыну» свою веру в жизнь, и ей удалось на какое-то время успокоить его. Он уехал, вновь обретя некоторое внутреннее равновесие, а Санд в письмах продолжала «курс хорошего настроения».

Жорж Санд — Дюма-сыну: «Все любят и приветствуют Вас. Продолжайте косить. Вот средство, которое чертовски усиливает действие железа. Обливания из лейки тоже полезны. Работа — тоже, деревня — тоже. Все полезно при здоровом уме и честной душе. С этими качествами плюс молодость и подлинное дарование можно преодолеть все... Я оптимистка, несмотря на все мои страдания,— пожалуй, это мое единственное достоинство. Увидите, и Вы его обретете. В Вашем возрасте я так же терзалась, как Вы, и была еще серьезнее больна — и телом и душой. Устав мучить других и самое себя, я сказала себе в одно прекрасное утро: «Все это мне безразлично. Вселенная велика и прекрасна. То, что мы считаем значительным, столь быстротечно, что не стоит труда над этим задумываться. Настоящих и серьезных вещей в жизни только две или три; и как раз этими-то вещами, такими ясными и простыми, я до сих пор пренебрегала. Mea culpa! Но я была наказана за свою глупость, я страдала так, как только можно страдать; я заслужила прощение. Заключим мир с Господом Богом...»

Дюма-сыну так полюбился Ноан, что он мечтал еще раз приехать туда с княгиней, и в конце концов ему удалось победить ее робость. В письмах из Вильруа он стыдливо называл ее своей «хозяйкой».

Дюма-сын — Жорж Санд, 20 сентября 1861 года: «Я Вас благодарю, как выразился бы господин Прюдом, за то, что Вы оказали мне честь Вашим письмом от 15-го числа, и берусь за перо, чтобы выразить Вам мою живейшую признательность. Я узнал, что моя хозяйка написала Вам... Не скрою от Вас, что к приезду в Ноан и к встрече с Вами она готовится как к празднику. Если Вы добрая женщина, то она — вполне послушное дитя; к тому же она нисколько Вас не стеснит. Это главное. Буде Вы хоть в чем-то измените своим привычкам — а они мне очень хорошо известны,— я сразу замечу это... Остается открытым вопрос о ее дочери, которую она не желает оставлять одну в сорока четырех комнатах огромного барака; она просит у Вас разрешения представить ее Вам. Девочка будет спать в комнате матери, на кушетке. Как путешествующая москвичка, она это обожает! Так что не опасайтесь осложнений с этой стороны!»

Однако трепещите!.. Вот и капля дегтя: у меня есть приятель, толстяк, он довольно-таки похож на ваших ньюфаундлендов; зовут его Маршаль гигант, и весит он 182 фунта, а остроумия у него хватит на четверых. Этот может спать где угодно в каком-нибудь курятнике, под деревом, у фонтана. Можно его захватить с собой?»

Санд, разумеется, ответила, что и юная славянка и толстый художник будут для нее желанными гостями. Шарль Маршаль, задушевный друг Дюма, был худож-

ник эльзасец, бесталанный, но приятный в обществе; он нравился женщинам и был остер на язык. Друзья называли этого толстощекого великана кто Былинкой, кто Мастодонтом. Его непринужденность порою граничила с бестактностью. Закоренелый блюдолиз и не слишком скромный донжуан, он налево и направо болтал о своих победах. Дюма-сын терпел его со снисходительностью, достойной Дюма-отца. Можно представить себе прибытие в Ноан каравана из Вильруа и то удивление, какое вызвала у княгини и княжны Нарышкиных веселая и бесшабашная жизнь богемы. Дюма привез Санд дурную весть: сообщение о смерти Розы Шери, которую оба они обожали. Она умерла от дифтерита — заразилась, ухаживая за своими больными детьми. «Не плачь,— сказала, умирая, очаровательная актриса своему мужу,— не плачь, ведь наши малютки спасены». Роза оставила по себе светлую память, как человек великого благородства и самоотверженности.

Записная книжка Жорж Санд, 15 сентября 1861 года: «После обеда, в десять часов, прибыли мадам и мадемуазель Нарышкины, Дюма и его друг Маршаль с очень добрым лицом. Беседуем в гостиной... Понемногу расходимся — один за другим... Все веселы и в то же время печальны и волей-неволей говорят о бедной Розе...

1 октября 1861 года. Дюма читает нам начало «Вильмера», его пьесы; она восхитительна. Я поднимаюсь к себе, чтобы немного поработать. Вечером Дюма читает стихи...

9 октября 1861 года. Дюма уезжает в семь часов утра. Маршаль остается...

10 октября 1861 года. Долго сижу у Маршалья. Провожу с ним вечер, ведем умные разговоры, пока внизу репетируют...

16 октября 1861 года. Маршаль ставит вместе с Морисом спектакль марионеток...

19 октября 1861 года. Маршаль становится моим толстым Бебэ...»

Таким образом, Маршаль, прибывший в Ноан незванным гостем вместе с Дюма-сыном и всеми его «Россиями», долго оставался в Берри после отъезда своих друзей. Приехав на два дня, он пробыл несколько месяцев. Его увлечение марионетками завоевало ему симпатию Мориса Санда. Чувство Жорж к нему было совсем другого характера и вызвало неудовольствие Мансо (бывшего уже в течение десяти лет принцем-консортом). Под тем предлогом, что он пишет портрет владелицы замка, Маршаль запирался с ней в мастерской. Дюма-сын прислал свое благословение.

Дюма-сын — Жорж Санд, 23 ноября 1861 года: «Я говорил Вам, какое хорошее влияние можете Вы оказать на него авторитетом таланта, примером и советом; влияние, которого не могу оказать я, слишком близкий по возрасту, характеру и полу к этому взрослому мальчишке. Я просто счастлив тем, что Вы оценили этого человека по достоинству, а также тем, что сам он открыл в себе новый талант. Много раз я советовал ему заняться портретом, но среди художников бытует непонятная недооценка этого жанра, которой я не могу себе объяснить...»

В декабре Маршаль наконец покинул Ноан. Он не прислал Санд ни одного письма, ни одного нежного приветствия, ни слова благодарности. Напрасно ждала она весточки от него, посылая ему письмо за письмом. Ответа не было. Обезумев от тревоги, она обратилась к своему «дорогому сыну» Александру, чтобы узнать, что случилось с ее толстым Бебэ, ее придворным художником.

Дюма-сын — Жорж Санд, 21 февраля 1862 года: «Я никогда больше не решусь вводить кого бы то ни было в Ноанскую обитель, где все так слажено между друзьями, что малейшая песчинка может испортить весь механизм! Итак, наш друг Маршаль уже выказал себя неблагодарным? Рановато! Он должен был хотя бы сказать Вам спасибо за полученный им заказ на шесть тысяч франков, который принц дал ему лишь благодаря Вам. Увы! Увы! Я весьма опасаюсь, что человечество — отнюдь не лучшее творение Господа Бога...»

26 февраля 1862 года: «Сегодня я в ярости, и молчание моего Мастодонта немало этому способствует! Я не лучше Вас знаю, где он. Пороки воспитания, укореняющиеся в зрелом возрасте, весьма схожи с душевной черствостью. Этот бедный парень еще не знает, что когда так долго пользуешься гостеприимством такого человека, как Вы, гостеприимством столь сердечным и столь плодотворным, то следует по меньшей мере отвечать на письма, которые ты в довершение всего получаешь!.. Этот негодяй эгоистичен, как сама природа, и отличается таким простодушием, наивностью, бесцеремонностью, которым нет равных. До тех пор, пока я один страдал от этого, я объяснял эти свойства простотой отношений между сверстниками, но от Вас, да и от других людей его отделяет слишком большое расстояние, — нельзя подпускать его к себе слишком близко. Когда я вез его к Вам, у меня была затаенная надежда, что простота и доброта, которые Вы сохранили, несмотря на талант и славу, произведут на него благоприятное впечатление и покажут ему, каким надо быть, когда и он, в свою очередь, станет величайшим мастером своего искусства, покажут ему, что полезно знать в ожидании этого далекого будущего. Но я убеждаюсь, что он, как обычно, увидел лишь внешнюю сторону вещей и что на Вас он смотрит как на товарища. Это уж чересчур, дорогая матушка!..»

В течение всего 1862 года между «дорогим сыном» и «дорогой матушкой» велась активная переписка. Дюма завершил «Маркиза де Вильмера» и великодушно от-

казался от гонорара за пьесу в пользу Жорж Санд. Он жаловался на жизнь:

«Минувшую неделю я провел в отчаянии и безделье. Не в силах был написать ни строчки — ни романа, ни пьесы. И потому я дал себе зарок: если мне удастся написать их, как я задумал, я пошлю ко всем чертям перо и чернила! Я барахтаюсь в них со дня рождения, и с меня хватит. Если только художник не переживает за свою жизнь троекратного превращения, как Рафаэль и другие лица — не стоит их называть, — то искусство становится презренным ремеслом. Кроме того, я вообще не художник. Ни по форме, ни по содержанию. У меня зоркий глаз. Я вижу достаточно ясно и говорю достаточно четко — это так, но в том, что я пишу, нет ни энтузиазма, ни поэзии, ни волнения. Это иронично и сухо. Произведения этого сорта развлекают, удивляют, затем утомляют публику, автора же это убивает. Закончив обе вещи — сделав этот двойной выстрел, — я попытаюсь жить для себя, и если в этой второй жизни родится что-то новое, какое-то неведомое чувство, суждение, даже иллюзия, я поведаю о них другим; если же нет, то — нет. Как будет связана с этой второй жизнью «Особа», о которой мы столько говорили: номинально или фактически? Это не имеет значения. Не настолько я принимаю всерьез жизнь ее общества, чтобы цепляться за форму. Пусть я просто буду счастлив — больше мне ничего не надо, как тому герою из пьесы Мери, который ничего не требовал

...в награду за труды —
лишь проводить все дни на лоне наслаждений.

Поживем — увидим. Ни одно из всех добрых и справедливых слов, которые Вы говорили мне, не будет упущено в том великом совете, что я держу с самим собой...»

Короче говоря, он склонялся к женитьбе на «Особе».

«Остается девочка, и в этом вопросе Вы совершенно правы. Придется ждать ее замужества, или хотя бы того времени, когда она сможет сознательно от него отказаться. Не буду ничего говорить Вам о ее характере. Надо, чтобы Вы сами длительное время наблюдали Ольгу в жизни, чтобы оценить ее. Она в меру любит свою мать. Чувствует она себя хорошо только за городом. Она лакомка, целый день говорит о своем пищеварении — любимое развлечение породистых женщин. В своей бережливости она доходит до того, что отдает перешивать для себя старые платья матери и штопает чулки! И она же с превеликой легкостью отдает свои деньги любому нуждающемуся. Очень гордая, очень высокомерная с равными себе, она мягка и снисходительна с простыми людьми, на какой бы ступени они ни стояли. *Имя* не производит на нее никакого впечатления, она готова называться госпожой Бенуа. Она увлекается науками, в особенности точными, и не из честолюбия, ибо она копит свои небольшие знания так же, как копит свои карманные деньги. Ольга хочет знать для самой себя. В общем она молчалива и говорит только в подходящий момент. Больная печень прибавляет к этому сочетанию немного туманной меланхолии, без

всякой фантазии. Вот что я увидел в ней, дорогая матушка. Выводы делайте Вы — женщина.

Пока что мать и дочь намерены поселиться в Булонском лесу, в очаровательном доме с красивым садом, который незаметно сообщается с владениями Вашего сына. Можно будет видеться сколько угодно, при этом каждый будет жить у себя, и приличия будут соблюдены. Теперь, когда все устроено таким образом, пусть Бог и царь довершают остальное. Дело за ними...»

Глава третья,

В КОТОРОЙ ЖОРЖ САНД ДАРИТ ДЮМА-СЫНУ ДВОИХ ДЕТЕЙ

Сила и мудрость Санд всегда оказывали глубокое влияние на слабых мужчин. Она исторгла шедевры у Мюссе, она поддерживала Шопена и утешала Флобера. Дюма-сын открылся ей в своем душевном смятении:

«Жизнь была представлена мне с изнанки. Те, кому выпало на долю наставлять меня, были заняты совсем другими делами, и я не вправе упрекать их в том, что у них не нашлось для меня мудрости, которой им недоставало для самих себя...»

В свою очередь, Жорж со свойственной ей мужской откровенностью описала ему физические тяготы своего замужества и дала ему понять, сколь ужасно первое плотское испытание для девушки, если мужу недостает деликатности. «Мы воспитываем их, как святых,— говорила Жорж,— а случаем, как кобылиц».

На эту тему после долгих размышлений Дюма написал пьесу «Друг женщин». Ее сюжет: госпожа де Симроз, напуганная первой брачной ночью, разошлась со своим незадачливым мужем, которого она, сама того не зная, все еще любит. И вот она одна в свете, беззащитная против домогательств всех тех, кто сулит ей «иную любовь». Она погибла бы, если бы ее не оберегал Друг женщин, господин де Рион, который, как в свое время Оливье де Жален, являл собою рупор автора. Господин де Рион все знает, все понимает, все предвидит. Для него не составляют тайны ни женское сердце, ни мужские желания. Он устраивает или расстраивает свидания; угадывает намерения, изобличает ошибки. Короче говоря, он играет в мире Дюма-сына ту же роль, что граф Монте-Кристо в мире Дюма-отца. Он возлагает на себя полномочия, расставляет ловушки, ведет допросы. Бес-

поощадный к злым, изрекает жестокие афоризмы. «Женщина,— говорит господин де Рион,— существо алогичное, низшее, злобное».— «Молчите, несчастный! Ведь женщина вдохновляет на великие дела».— «И препятствует их свершению». Ему задают вопрос: «Значит, порядочных женщин нет?» — «Есть, их даже больше, чем полагают, но меньше, чем говорят».— «Что вы о них думаете?» — «Что это самое прекрасное зрелище из всех, какие довелось видеть человеку».— «Наконец-то! Значит, вы все же их встречали?» — «Никогда».

Пессимизм, которого не выказывали ни Гюго, ни Санд, ни Дюма-отец. Те верили в любовь-страсть, даже когда сами предавались любви-прихоти. Что касается Дюма-сына, то он твердо убежден, что всякая любовь — обманчивый мираж. Любить женщину — значит любить мечту нашего духа. Дюма-сын не верит в эту мечту. Отцы слишком наслаждались жизнью, у сыновей осталась оскомина. После развращенного XVIII столетия романтики воскресили христианский и рыцарский идеал женщины. Женщина оказалась чересчур слабой, чтобы подняться на высоту этого идеала. Дюма-сын обнаружил в своих взбалмошных княгинях существа, исполненные противоречий и хитрости. Романтики любили капризы этих несчастных. Господин де Рион презирает их, а быть может, и ненавидит.

Беспощадный тон диктует эпоха. Растиньяк и Марсе уже вошли с хлыстом в руках в клетку с женщинами. С этого времени все ширится свобода нравов. Усиление разврата пробуждает скептицизм и отвращение. С приходом Морни торжествует фатовство. Куртуазность гибнет. Флобер, Готье, нимало не смущаясь, пишут «президентше» непристойные письма. Дюма-сын берет на себя миссию исправлять нравы.

«По той иронии, за которую прячется господин де Рион,— говорит Поль Бурже,— по насмешкам, которыми он разит направо и налево. неизменно начеку и неизменно во всеоружии, по той позиции морального бретера, которую он занимает при всяком столкновении — будь то с женщиной или с мужчиной, с юной девушкой или старцем,— по всему этому легко заметить, что для этого мизантропа общественная жизнь оказалась слишком суровой. Он не сознается в своих обидах и не жалуется на них — он слишком горд. Но тон любой его реплики — насмешливый и намеренно беспощадный. его стремление с первых же слов покорить собеседника и установить свое превосходство, презрение, которое сквозит в каждой его фразе и каждом жесте,— все это своего рода признание, своего рода жалоба».

То была жалоба самого Дюма-сына. Он сообщал Жорж Санд, как поживает героиня, которую она помогла ему произвести на свет:

4 октября 1863 года: «Что касается г-жи Симроз, то наше сожителство стало постоянным. Мы больше не расстаемся. Она спит со мной. Она сопровождает меня в самые интимные места, наконец, она начинает мне надоедать. Поэтому я прилагаю все усилия к тому, чтобы поскорее от нее избавиться...»

Джейн де Симроз удивила и шокировала парижскую публику. «Друг женщин» в течение сорока дней пытался одолеть удивление, молчание, замешательство, а иногда и шумные протесты. Один зритель, сидевший в партере, после рассказа Джейн о ее брачной ночи поднялся и крикнул: «Это гнусно!» Некая куртизанка, знаменитая своими бесчисленными и открытыми любовными связями, заявила: «Это сочинение оскорбляет самую сокровенную стыдливость женщины!» И все же каждая женщина знала, что в пьесе есть значительная доля правды. Однако Дюма «предал Пол и разоблачил тайны Доброй Богини». В те времена о таких вещах не говорили. Особенно в театре, где царила женщина. Чтобы иметь успех, пьеса должна была обожествлять женщину и приносить в жертву мужчине.

«Без подобного жертвоприношения прочный успех невозможен. Клитандр, Орас и Валер причиняют друг другу столько зла для того, чтобы в конце пьесы жениться на ней; Отелло становится убийцей оттого, что считает ее неверной; он не может больше жить потому, что убил ее. Это ради нее Арнольф катается по земле и рвет на себе волосы; это по ее вине Альцест стал мизантропом; это она сделала Цинну неблагодарным, Ореста — убийцей, Тартюфа — богохульником. Довольно того, что она любит — пусть даже кровосмесительной любовью, — чтобы Ипполит умер! Один только Родриго, несмотря на свою любовь к Химене, убивает ее отца; но ведь потом он приходит к своей возлюбленной, предлагая ей свою жизнь взамен той, что он отнял. Ведь он не может дышать воздухом, не напоенным ее любовью! Ведь он хочет, чтобы дон Санчо убил его, если она не пожелает его простить и не вернет ему свое доверие! Не имела успеха ни одна пьеса, где бы Мужчина не приносился в жертву Женщине. Здесь, в театре, она — божество, и, сидя в своей ложе или в своем кресле — красивая, гордая, торжествующая, спокойная, окруженная поклонением и лестью, она присутствует при этих человеческих гекатомбах».

Господин де Рион раздражал зрительниц. Следует признать — в нем было немало раздражающего. Но они не прощали ему другого: не того, что он укрощал их (они не питают ненависти к укротителям), а того, что

не позволял хотя бы одной из них поработить себя. В первом варианте пьесы одна красивая девушка, богатая и умная, бросалась на шею «Другу женщин», а он ее отталкивал. Возмущение публики подобной развязкой было так сильно, что по настоянию Монтиньи на следующем спектакле господин де Рион женился на мадемуазель Хакендорф. Тэн, а следом за ним Бурже запротестовали. Они предпочитали непримиримого господина де Риона. В предисловии к изданию пьесы, написанном вдали от сверкающих золотом театральных зал, Дюма осмелился повторить свой тезис: *женщин надо держать в рабстве.*

«Женщина — существо ограниченное, пассивное, подчиненное, живущее в постоянном ожидании. Это единственное незавершенное творение Бога, которое он позволил закончить человеку. Это неудавшийся ангел... Итак, природа и общество сошлись на том и будут сходиться вечно, как бы ни протестовала Женщина, что она — подданная Мужчины. Мужчина — орудие Бога, Женщина — орудие Мужчины. *Ille sub ille super*¹. И нечего с этим спорить...»

В жизни господин де Рион женился. Князь Нарышкин умер в Съезде 26 мая 1864 года, и Дюма мог жениться на княгине, наконец овдовевшей. В субботу 31 декабря 1864 года мэтр Ансель, опекун Бодлера и мэр Нейи-сюр-Сен, совершил в присутствии Александра Дюма-отца и Катрины Лабе (с согласия их обоих) бракосочетание Александра Дюма-сына с Надеждой Кнорринг, вдовой Александра Нарышкина.

Новобрачная пригласила в качестве свидетелей адвоката Анри Миро и своего акушера Шарля Девилье. Дюма сопровождали двое друзей — художник Шанделье и помощник хранителя императорской библиотеки Анри Лавуа. Больше никого не было. Церемония совершалась втайне, так как весь акт бракосочетания должен был зачитываться вслух, а он содержал до крайности странный параграф:

«Будущие супруги заявили, что удочеряют ребенка женского пола, записанного в мэрии Девятого округа Парижа 22 ноября 1860 года под именем Марии-Александрины-Анриетты и родившегося 20-го числа того же месяца у Натали Лефевюр; при этом они подчеркнули, что имя матери — вымышленное...»

В течение четырех лет «малютку Лефевюр» выдавали за сиротку, подобранную и взятую на воспитание княгиней Нарышкиной.

¹ Она внизу, он наверху (лат.).

Дюма-сын — Жорж Санд, 15 декабря 1864 года: «Дорогая матушка, через несколько дней я женюсь. Вот уже час, как я принял бесповоротное решение, о чем незамедлительно Вам сообщаю. Я не прошу Вашего согласия — я знаю, Вы мне его даете. Но, как покорный и почтительный сын, я делюсь с Вами этой новостью, прежде чем сообщить ее кому бы то ни было. Нежно обнимаю Вас и Мансо тоже».

В качестве свадебного подарка Санд послала вазу в форме урны. Не для того ли, чтобы собрать в нее пепел свободы?

Дюма-сын — Жорж Санд, 1 января 1865 года: «Когда я получил этот красивый сосуд, все вокруг спрашивали: «Кто мог это прислать? Какая красивая штукавина!» Но я сказал: «Бьюсь об заклад, что это от матушки...»

Получив наконец право афишировать свое отцовство, Дюма-сын делал это с упоением. Его письма к Жорж Санд изобилуют упоминаниями о КоLETTE, восхитительном и щедро одаренном ребенке. В возрасте пяти лет она знала французский, русский и немецкий языки. Вечернюю молитву она повторяла на трех языках.

28 марта 1865 года: «Коlette чувствует себя великолепно. Она еще не способна оценить свою бабушку, но это придет».

21 августа 1865 года Санд потеряла Мансо, своего любовника-секретаря, давно болевшего туберкулезом легких. Кому, как не Маршалю, было заменить его? Жорж привязалась к нему и преследовала его избытком лестного внимания.

Жорж Санд — Шарлю Маршалю: «Дорогой малыш! Я ни разу не видела «Орфея в аду», а говорят, что это забавно и красиво. Я не решаюсь обратиться к Оффенбаху, несмотря на его любезность. Поскольку ты, должно быть, знаешь эту вещь наизусть, я не обрекаю тебя на то, чтобы еще раз смотреть ее со мной... Сбереги время и желание, чтобы посмотреть со мной какую-нибудь пьесу, которая тебя позабавит или по крайней мере будет тебе внове. Целую тебя... Знаешь ли ты, что г-жа Дюма разрешилась от бремени? Завтра я навещу ее. Сегодня я была в Палезо...¹ Г-жа Плесси вчера сказала мне, что постарается достать нам два хороших места на «Влюбленного льва»...».

Другое письмо: «Слушал ли ты «Дон-Жуана» в Лирическом театре? Я заказываю два билета на вторник. Не хочешь ли взять один из них? Если да, пообедаем вместе, где ты пожелаешь. Если нет, давай где-нибудь встретимся, чтобы я обняла и благословила тебя, прежде чем уеду в Ноан. Из Парижа я уезжаю в четверг, но

¹ У Надежды незадолго до того случился выкидыш на пятом месяце беременности.

еще раньше — в понедельник — отбываю из Палезо. Пришли мне в понедельник ответ на улицу Фельянтин, чтобы я стдала второй билет на «Дон-Жуана» какому-нибудь другому приятелю, если ты почему-либо не сможешь им воспользоваться. Как ты поживаешь, мой жирный кролик? Я — хорошо. Только здесь дует восточный ветер, он меня раздражает. Целую тебя.. О, смотри, какая я глупая!.. Я отложу на день свой отъезд, если ты меня предупредишь заранее. Постарайся освободиться. Правда, ты, быть может, уже видел «Дон-Жуана». Поступай как знаешь, но напиши мне хоть словечко...»

Но Мастодронт упорно держался за свою независимость. В его мастерской ему позировали обнаженными красивые и доступные девушки. Когда Санд неожиданно приходила к нему, она наталкивалась на закрытую дверь. Тем не менее он охотно обедал у Маньи с нею, Дюма-сыном и Ольгой Нарышкиной, которая к восемнадцати годам похорошела и стала очень красивой. Надежда (которую ее супруг перекрестил в Надин), еще не оправившись от преждевременных родов на пятом месяце, томилась в Марли, где готовилась к тяготам новой беременности, ибо чета желала иметь Дюма-внука.

Письмо Дюма-сына: «Г-жа Дюма обречена семь месяцев лежать в постели, если она действительно хочет произвести на свет нового Александра — потребность в нем ощутима, несмотря на то, что первые двое еще в расцвете сил и в зените славы... Да! Натворил я здесь дел! Проклятые морские купанья всегда приводят к этому. Фи!..»

Возраст и красота юной Ольги ставили ее по отношению к матери в щекотливое положение: любовнице, только что вступившей в новый брак, неприятно иметь дочь на выданье. Так как доктор Девилье прописал Надин пребывание на свежем воздухе, Дюма попросил у своего старого друга Левена разрешения занять его дом в Марли и поместил там свою больную супругу, в то время как Ольга, чтобы не прерывать занятий, оставалась в Нейи. Приехавшие из Москвы соотечественники взяли на себя миссию просветить «Малороссию», ставшую, в свою очередь, «Великороссией», относительно ее юридического положения. Она спрашивала себя, не причинил ли ей серьезного ущерба роман ее матери, заставив жить вдали от феерического двора, где она приходилась бы родней Романовым.

Записная книжка Жорж Санд, 3 февраля 1866 года: «Я отправляюсь к Маршалю. В половине седьмого мы идем обедать к Жоберам: там — родственники мужа и жены, Леман, отец и сын Дюма, несколько друзей дома. Весь обед, от супа до салата, при-

готовил папаша Дюма! Восемь или десять превосходных блюд. Пальчики оближешь! После обеда мы с ним беседуем; в общем он очарователен... Маршалъ провожает меня.

4 февраля 1866 года: Александр приехал в два часа. Я читала ему «Жана»¹. Ах, какое счастье! Он доволен всем в целом! И читаю я не слишком плохо. Он дал мне три превосходных совета. Как быстро он все подмечает и как хорошо умеет исправить! Я рада за Були² и пишу ему, не сходя с места... Александр узнает, не возьмут ли пьесу на улице Ришелье; если нет — то устроит ее в Жимназ. Иду обедать к Маньи, погода собачья. Невесело... В Одеоне — «Жизнь богемы». Какая прекрасная пьеса, душераздирающая и очаровательная!..

6 февраля 1866 года: Демарке только что сообщил мне, что у г-жи Дюма преждевременные роды и наш обед в четверг не состоится. Он ведет меня к Маньи, где я обедаю и затем нанимаю карету, чтобы ехать на проспект Нейи; у меня умопомрачительная мигрень. Кучер пьян, лошадь тоже. Но все-таки мы молодцы, нам удастся найти дом. Г-жа Дюма спокойна и бодра, она не страдает. Но как она будет чувствовать себя завтра? Родит ли она? Ребенок жив и готов появиться на свет. Это странно... Александр с ней очень ласков. Возвращаюсь к себе на той же лошади — она спотыкается, с тем же кучером — он спит. Но мигрень моя прошла...

9 февраля 1866 года: Мне удалось немного поработать, урвать час у гостей и писем. Г-жа Дюма пережила свои преждевременные роды болезненно, но благополучно... Я отправляюсь обедать к Маньи пешком...

11 февраля 1866 года: Еду в Нейи. Ночью это настоящее путешествие, и стоит оно десять франков! Г-жа Дюма настрадалась. Ей придется месяц лежать. Александр и Ольга от нее не отходят...»

В августе 1866 года Жорж Санд отправилась навеситить Дюма-сына в Пюи — маленькую рыбацью деревушку неподалеку от Дьеппа, где он купил дом, довольно безобразный и не вполне удобный, зато в восхитительном месте.

Записная книжка Жорж Санд: «У Алекса в Пюи (*sic!*), воскресенье, 26 августа 1866 года: Чудесный край! Дивная погода. Очаровательные хозяева. Лавуа уезжает, Амеде Ашар здесь уже давно, г-жа де Беллейм только приехала. Прелестные дети. Хозяйка дома очень любезна, но не в должной мере хозяйка. Беспорядок невыносимый! Из ряда вон выходящая неаккуратность, ставшая привычной. Для мытья служат ваза и салатница, а вода есть, только если за нею сходишь сам! Окна не закрываются! Собачий холод в постели... Но день великолепный. Мы идем гулять в лес и к морю. Эти лесистые берега — сущий рай. Море — жемчужное, с голубыми бликами, и белый песчаный берег, усеянный кремневой галькой в форме полипов. Белые меловые утесы. Все в нежных и блеклых тонах. В казино — детский бал. Разряженные женщины,

¹ Пьеса Мориса и Санда и Жорж Санд; в окончательном виде была названа «Деревенские донжуаны».

² Прозвище Мориса Санда.

довольно-таки уродливые. Дома — превосходный обед, однако в восемь часов мадам плохо себя чувствует, и Александр отправляется спать. Не знаешь, как читать при одной-единственной свече! Ночью поднимается буря. Потоки дождя, стужа. Я кашляю, надрываю горло.

У Алекса, Пюи, понедельник, 27 августа: Погода сырая, но вокруг красиво. Я остаюсь послушать предисловие и два акта. Они очень хороши и очень изящно написаны. Обед чертовски вкусный. После обеда все улизнули, а я осталась с г-жой Беллейм! Жизнь, которая замирает в восемь часов, мне совсем не по душе! Да еще спать приходится идти с переполненным желудком... Сколько мучений с одеваньем и тому подобным! Господи, до чего же здесь скверно!.. И все-таки очень красиво...»

Из Пюи Жорж Санд поехала в Круассе, к Флоберу, где нашла «отличные удобства, чистоту, воду, предупредительность — все, что только можно пожелать». Мать Флобера, очаровательная старушка, была лучшей хозяйкой, чем «Великороссия».

Но Дюма любил Пюи до такой степени, что вскоре приобрел там еще одну виллу. Вокруг него образовалась небольшая колония. Феликс Дюкенель, навестивший Дюма, увидел однажды, как к нему явился какой-то рыбак с бородой, высокого роста, сутуловатый, но крепкого сложения. В куртке табачного цвета, фланелевой рубашке и грубошерстных панталонах он выглядел великолепно и держался непринужденно. «Добрый день, сосед, — сказал рыбак, — как поживаете?» — «Прекрасно, ваша светлость. А вы?» — «Я себя чувствую, как Новый мост. Так ведь, кажется, у вас говорят?» У рыбака был английский акцент. Когда он ушел, Дюкенель спросил: «Почему вы его величаете светлостью?» — «Потому что это маркиз Сэлсбери. Он очутился здесь случайно и сам нанес мне первый визит: «Нельзя требовать от Александра Дюма, чтобы он кому-то представлялся. Позвольте мне представиться самому. Кроме всего прочего, я ваш должник. Читать романы вашего отца — мое любимое времяпрепровождение и лучший отдых для ума».

Знаменитый сын все еще пользовался покровительством отца.

Провал «Друга женщин» на какое-то время отдалил Дюма от театра. Сложности супружеской жизни с ноющей женщиной, «то равнодушной, то неистовой», усилили его женоненавистничество. Беременная Надин погружалась в сонное оцепенение, здоровая — страдала припадками ревности. Когда она видела Александра в

окружении толпы поклонниц, то сравнивала его с Орфеем среди вакханок. С того момента, как госпоже Дюма исполнилось сорок лет, она подозревала в кокетстве всякую молодую женщину, даже собственную дочь. Издерганные нервы «Великороссии» сделали ее как спутницу жизни невыносимой. В это время Дюма-сын вступил в активную переписку с одним морским офицером, капитаном второго ранга Ривьером, который был также одаренным писателем. В письмах к нему Дюма изливал свое мрачное настроение:

Дюма-сын — Анри Ривьеру: «Дорогой друг!.. Я в восторге оттого, что Вы снова ведете жизнь моряка. Давно пора вернуться к ней и вырваться из-под власти чувств низшего порядка, совершенно недостойных ума, подобного Вашему. Лучше открытое море со всеми его штормами, чем бури в стакане воды,— ведь женщины убедили нас, будто мы непременно должны быть их жертвами. Поверьте человеку, который не раз спасался вплавь и в конце концов приплыл к надежному берегу: истина в работе и в солидарности с человечеством, на которое люди умные, как Вы и я, оказывают и должны оказывать влияние. Лучше командовать хорошим экипажем или написать хорошую пьесу, чем быть любимым, даже искренне, самой обворожительной женщиной. Аминь.

...Вы созданы для того, чтобы бодрствовать от полуночи до четырех часов утра на капитанском мостике корабля, а вовсе не в будуаре г-жи Канробер. Женщина — это стихия, которую надо изучить с детства, как я, чтобы уметь управлять ею неумолимо и уверенно, а все эти красивые богини издергали Вам нервы, не дав ничего нового, ибо они пусты, как погремушки... Море наводит на меня грусть, я люблю его, только когда ощущаю его под собой. В этом оно для меня схоже с женщинами. Эта несколько фривольная шутка покажет Вам, что его величество мое тело чувствует себя немного лучше, хотя оно не так уж часто пускается в сие рискованное плавание, как может показаться из моих слов... Пока что я работаю благодаря привычке или тренировке и терплю разочарования, неотъемлемые от этой странной профессии, которая превращает мысль в льнотеребилку...»

Пессимизм Дюма-сына распространялся не только на женщин, но и на весь род людской. Когда капитан Ривьер был ранен в голову веслом, Дюма написал ему:

«Вы, мой друг, вменяете в заслугу Провидению, что оно убило Вас лишь наполовину, словно мы здесь, на земле, всего лишь глиняные фигурки в тире для стрельбы из пистолета... Куда лучше, дорогой мой, крепко вбить себе в голову, пока на нее не опустилось весло, что все это комедия, в которой мы исполняем свои роли, не ведая ни развязки, ни автора; суфлер меняется ежеминутно, и единственно ценное в этой комедии — любовь и дружба. В особенности дружба».

Одна-единственная женщина, оптимистка, по-прежнему пользовалась расположением Злопамятного — это была Жорж Санд. Дюма изумило, как быстро она воспряла духом после смерти Мансо.

Дюма-сын — Анри Ривьеру: «Я много раньше ответил бы на Ваше письмо, если бы мне не пришлось все эти дни посвящать свое время г-же Санд — у нее большое горе. Она потеряла Мансо, который в течение пятнадцати лет был спутником и распорядителем ее жизни. Он умер после четырех месяцев тягчайших страданий, в маленьком домике в Палезо, где они жили вместе... Три дня тому назад мы его похоронили и пытались отвлечь его подружку от горестных мыслей... Она обладает большой энергией и большой волей. Вот ум, способный унижить наш пол, ибо не многие из нас были бы в состоянии каждые десять лет начинать свою жизнь заново после таких потрясений, какие пережила эта женщина... Поскольку жизнь приносит одни огорчения, с этим надо свыкнуться раз и навсегда и стараться смотреть на происходящие события таким же равнодушным взглядом, каким быки, пасущиеся на лугу, смотрят на проезжающие по дороге экипажи. Уподобьтесь Минерве — богине с бычьими глазами. Этот эпитет, для многих непостижимый, по-видимому, должен выражать бесстрастность наивысшей мудрости, которая, несомненно, есть не что иное, как предельное безразличие...

Дружба представляется мне единственным чувством, ради которого стоит жить...»

Поскольку безотчетный страх мешал ему в ту пору писать для театра, он работал над романом «Дело Клемансо». В нем он дал волю затаенной ярости против женщин. Это была исповедь убийцы, умертвившего некогда обожаемую им жену — не только за то, что она его обманывала, но и за то, что она была воплощением лжи и фальши под маской самой совершенной красоты. Скульптор Пьер Клемансо был, разумеется, внебрачным сыном и, конечно же, сыном белошвейки. Вся первая часть книги в значительной мере походила на автобиографию. Женщина, на которой женился герой, Иза Доброновская, была полька (что позволяло автору косвенно взять реванш у «вероломных славянок»). Дюма сообщает нам, что образ Изы восходит к госпоже Джеймс Прадье — его первой любовнице.

Дюма-сын — Жорж Санд, 26 мая 1866 года: «Эта штука — «Дело Клемансо» — начинает меня раздражать. Я очень скоро брошу ее и вернусь к моим маленьким пьесам, где можно не ломать голову над стилем, если не хочется. Я все еще плутаю в последних главах. Удар ножом никак не получается... Жизнь не всегда бывает веселой. До двадцати лет еще куда ни шло; потом — конец! Будем же любить друг друга в ожидании лучшего и строчить свои рукописи, ибо это единственное, на что мы способны...»

5 июня 1866 года: «Дорогая матушка! Только в четверг, в шесть часов двадцать минут вечера, Иза, наконец, скончалась, искупив по всей справедливости те гнусности, которые она совершила. До этого момента ее убийца, имеющий честь быть Вашим сыном, работал, как негр, как один из тех, от кого он ведет свое происхождение по отцовской линии. Уф! У меня нет никаких угрызений совести, но я так измотан, словно они у меня есть, и я еще чуть-чуть больше восхищаюсь Вами за то, что Вы создали столько шедевров и создали их так быстро...»

Читатели, знакомые с семейной жизнью скульптора Прадье, узнали героиню. Критик журнала «Ревю де Дё Монд» писал: «Эту женщину, которая позирует своему мужу-скульптору, женщину, для которой стыдливость существует лишь как светская условность и которой не дают спать лавры Фрины,— эту женщину мы знаем или полагаем, что знаем, и, пожалуй, обозначение «чудовище» слишком сильно для этой прекрасной язычницы XIX века...» Иза — «грязная душа в мраморном теле, рожденная для того, чтобы наслаждаться и чтобы лгать, куртизанка с головы до пят, одно из тех экзотических растений, которые опьяняют и убивают», — обезоруживает критика. Он обвиняет не столько ее, сколько ее мужа. Зачем он любил ее, когда с первых же дней ее порочная натура была очевидна? Затем, что для Пьера Клемансо, так же как для Дюма-сына и для всех его героев, любовь всегда была только физическим желанием. Без этой исходной точки сладострастная и трагическая развязка (Пьер последний раз спит с Изой и затем убивает ее) была бы невозможна.

Современного читателя не может не удивлять, что в 1866 году этот роман превозносили как образец самого смелого реализма. «Все правдиво, жизненно, красноречиво, и когда г-н Дюма вступает в рукопашную с действительностью, то перед нами два атлета, равных по силе... Г-н Дюма перешел от пьес к роману, так как возможности, предоставляемые прозой, позволяли ему поставить более сильные акценты, дать более осязаемое ощущение плоти. Это удалось ему...» Сцены лепки обнаженного тела и объятий нагих любовников среди реки были сочтены «экспериментальной литературой», смелой и дерзкой. Говорили, что роман г-на Дюма в полной мере современник г-на Тэна, который, кстати, им сильно восхищался. Флобер был сдержан, но принял книгу всерьез.

«Я не вполне разделяю Ваш энтузиазм по поводу «Дела Клемансо», хотя во многом это самое сильное произведение Дюма. Но напрасно он испортил книгу длинными рассуждениями и общими местами.

Романист, по-моему, не имеет права высказывать свое мнение о происходящем. В акте творения он должен уподобиться Богу, то есть создавать и молчать. Концовка этой книги представляется мне в корне фальшивой: мужчина не убивает женщину после; после ощущаешь полную расслабленность, чуждую какой бы то ни было энергии. Это большая оплошность — физиологическая и психологическая...»

Все только и говорили, что о «Деле Клемансо». Толстяк Маршаль рассказал Гонкурам историю одной главы.

29 сентября 1866 года, Сен-Грасьен: «Маршаль сегодня вечером рассказал нам, что однажды около четырех часов утра он удил рыбу в Сент-Ассизе, у г-жи де Бово. И вдруг заметил двух купающихся девушек: одну брюнетку, другую рыжую. Восходящее солнце ласкало их резвящиеся в Сене тела, и красота их сияла в розовом свете. Маршаль рассказал об этом Дюма; тот на следующее утро пришел взглянуть на девушек и, чтобы сыграть с ними шутку, уселся на их сорочки. Отсюда — сцена купанья в «Деле Клемансо»...»

Что касается Дюма-сына, то он был удовлетворен своим успехом, хотя и изнурен напряжением.

Дюма-сын — капитану Ривьеру: «Вы увидите по моему почерку, что имеете дело с изможденным человеком. Перо не слушается меня — так я злоупотреблял им в течение двух месяцев. Но в конце концов эта тварь мертва и уже не воскреснет. Только что я два часа спал; нынешней ночью я спал одиннадцать часов. Больше я ни на что не способен. Г-жа Дюма спит не меньше. Если мы будем вдвоем отдыхать от книги, которую я писал один, то надеюсь, что через месяц я буду в силах начать снова...»

Он в самом деле начал и вернулся к драме. Удивительно, что этот гигант чувствовал себя таким измученным, написав совсем короткий роман. Это объясняется силой страстей, которые проснулись в нем при размышлениях о бесстыдстве и сладострастии. Чтобы успокоиться, он должен был вывести на сцене хорошую женщину и отправиться на лоно природы. Он снял возле Сен-Валери-ан-Ко, в Этеннемаре, небольшое шале, напомнившей ему некоторые счастливые дни его холостяцкой жизни, и отправился туда работать.

Там он сочинил новую пьесу, которая также была вдохновлена Жорж Санд: «Взгляды госпожи Обре». Тема: женщина типа Санд придерживается самых широких взглядов на брак, на классы общества, на внебрачных детей. В один прекрасный день она внезапно ока-

зывается перед мучительной дилеммой: либо она отречется от идей всей своей жизни, либо позволит своему собственному сыну жениться на Жаннине, любимой им молодой женщине, у которой был любовник и которая работает, чтобы вырастить внебрачного ребенка. Госпожа Обре какое-то время колеблется, мечется, потом принимает героическое решение: именем морали и веры она женит своего единственного сына на девушке-матери.

Дюма устроил у госпожи Санд первую читку, на которой присутствовали Эдмон Абу и Анри Лавуа. Шумный успех! Спиритуалистка Санд и скептик Абу дружно плакали. Чтобы подвергнуть пьесу еще одному испытанию, автор поехал в Прованс читать ее другому приятелю — Жозефу Отрану. Тот же слезливый успех. Отран, у которого было больное сердце, даже упал в обморок. Большого уж нельзя было требовать. Монтиньи, директор Жимназ, принял пьесу с энтузиазмом. Однако Дюма не оставляло беспокойство. Как отнесется лицемерная публика к осуждению ее предрассудков? Он быстро успокоился.

Записная книжка Жорж Санд, 27 ноября 1866 года: «Вчера у Бр-бана Александр скакал на черном апокалипсическом коне: говорил, что хотел бы быть Рафаэлем или Микеланджело; что для него не может быть счастья без вдохновения, без радости творчества, без упоения славой и силой. Его Бог — это сила. Маршал, человек, полный здравого смысла, который ему никогда не изменяет, не касался столь высоких материй. А я вообще молчала. Того, что я думаю, когда я счастлива, не высказать. Что скажешь о неуловимых движениях души, о мимолетных, быть может, даже пантеистических, впечатлениях? Нет, я не могу выразить себя. Когда я говорю одно, понимают другое. Почему? Этого я никогда не узнаю.

Ноан, 17 марта 1867 года: Хорошая весть: «Госпожа Обре», как явствует из телеграммы Александра, имела колоссальный успех.

18 марта 1867 года: Статья Сарсе о «Госпоже Обре». Письма о Дюма... Мне надо ехать в Париж!..

Париж, 23 марта 1867 года: Иду завтракать к Дюма. Возвращаюсь, читаю и пишу письма. Иду в Жимназ с Эстер¹; «Госпожа Обре» восхитительна, я плачу. Сыграно превосходно...»

Врачи предписали Надин Дюма с октября не вставать с постели, чтобы она могла в срок родить ожидаемого наследника.

Дюма-сын — Жорж Санд, 26 февраля 1867 года: «Малыш изо всех сил стучится в дверь этого света. Сразу видно — он еще не знает, чем это пахнет! Г-жа Дюма все толстеет...»

¹ Госпожа Эжен Ламбер, урожденная Эстер Этьенн.

20 апреля 1867 года: «Возможно, в ту самую минуту, когда это письмо придет к Вам в Ноан, маленький Дюма появится на свет».

Увы! 3 мая Надин разрешилась от бремени девочкой. Поскольку героиня «Взглядов госпожи Обре» звалась Жанниной, это имя и дали ребенку.

Отец в ту пору писал предисловия к полному собранию своих пьес. Предисловия эти получили шумное одобрение, какового они действительно заслуживали, так как были написаны живо, смело и много лучше, чем пьесы. Барбе д'Оревильи, ненавидевший обоих Дюма — отца и сына, — признал успех предисловий, но причину его увидел лишь в умело замаскированной развращенности, которая всегда будет нравиться людям. «Ибо хотя удовольствие, доставляемое процессом развращения, и само по себе не мало, еще большее удовольствие — вам это хорошо известно — любоваться собственной развращенностью... Что за собрание! Несмотря на самоуничтожение, характерное для всех авторов предисловий, я не верю в эту скромность с первой страницы... Кто предваряется, тот притворяется... Но поскольку публика интересуется вами и слушает вас, вы хорошо сделаете, рассказав ей о себе... Надо заткнуть разинутые рты зевак».

Зеваки набросились на проповеди драматурга.

Глава четвертая СУМЕРКИ БОГА

Теперь Жеронту надо
С любовью распроститься:
Зима к нему стучится,
Любовь ему не рада.

Ж.-П. Туле

Как мы завершим свой путь? Се-
дые волосы предъявляют нам свои по-
чтительные требования.

Бальзак

Если судить по внешнему виду, папаша Дюма почти не изменился за все время своей неаполитанской авантюры. Немного больше седых волос, немного больше торчит живот, но все та же лучезарная веселость, тот же

бьющий через край талант, та же жадная чувственность. Сын наблюдал, удивлялся, сожалел.

Дюма-сын — Жорж Санд, Вильруа, 8 марта 1862 года: «Я нашел его более шумным, чем прежде. Дай ему Бог еще долго оставаться таким, но сомневаюсь, что это возможно. Средство, которым пользуется он сам, чтобы помочь доброй воле Создателя, представляется мне противным здравому смыслу, — каким бы действительным оно ни казалось созданиям Божьим. Одним словом, что бы ни случилось, этот могучий организм, который еще проявляет себя во всякий час дня и ночи с прежней щедрой силой, не перестанет быть одной из самых необычайных фантазий природы. Пытаться руководить им, в особенности теперь, наверняка бесполезно. Это то же самое, что происходит с человеком, которому всегда везло и который упал с пятого этажа; либо он останется цел и невредим, либо убьется на месте. Если бы можно было поставить этот локомотив в момент его отправления на рельсы и заставить пересечь жизнь по прямой линии, один Бог знает, сколько бы он потянул за собою великих и полезных для человечества идей. Но раз уж этого не случилось, то, значит, и не могло случиться. Посмотрим, что будет дальше, а пока я очень хотел бы иметь не столь шумного отца, у которого было бы больше времени для меня... и для самого себя».

Возвратясь в Париж, Дюма привез с собой из Италии певицу Фанни Гордозу, «черную, как слива», но аппетитную и столь неукротимого темперамента, что ее муж итальянец, обессилев, обматывал ей вокруг бедер мокрые полотенца. Дюма-отец избавил ее от этих повязок и утолил ее пыл. По этой причине она привязалась к нему с неистовой страстью. Сначала они жили на улице Ришелье, на углу бульвара, против ателье знаменитого фотографа Рейтлингера; затем в Энгиене, где Дюма снял на лето 1864 года виллу «Катина». И снова богемная жизнь, как в замке «Монте-Кристо». Гордоза заполнила дом «трубами, скрипками, лютнями. С утра до вечера она пела вокализы в окружении льстивых нахлебников, которые обосновались в доме, шарили по буфетам и пожирали запасы. Олимпиец Дюма работал на втором этаже, покрывая большие листы голубоватой бумаги своим писарским почерком, а по вечерам он спускался в бильярдную, где его ждали старые друзья: Ноэль Парфе, Нестор Рокплан, Роже де Бовуар, которых окружала компания незнакомых ему блюдолизов. Когда запасы, казалось, были исчерпаны, Дюма отыскивал в кладовой рис, помидоры, ветчину и мастерски стряпал для всех *rizotto*¹.

¹ Рисовая каша с мясом и пряностями (ит.).

Множество женщин побывало в Энгие: Эжени Дош, которая все еще играла «Даму с камелиями» Дюма-сына, но отнюдь не пренебрегала Дюма-отцом; очаровательная Эме Декле с бархатными глазами, за которой Дюма-отец ухаживал в Неаполе, где она играла в пьесах Дюма-сына; красивая дебютантка Бланш Пьерсон; великолепная трагическая актриса Агарь (ее настоящее имя — Леонида Шарвен, но она взяла себе библейский псевдоним, чтобы походить на Рашель); Эстер Гимон, львица с хриплым рыком, и Олимпия Одуар, падавшая в обморок в самый неподходящий момент. Напрасно синьора Гордоза несла караул. «Одна женщина! — кричала она, когда вторгалась очередная нарушительница покоя. — Скажите ей, что господин Дюма есть больной!» Дюма терпел эту живописную фурию, одетую в прозрачный пеньюар, который не скрывал ее прелестей.

Он объяснял Матильде Шебель, дочери французского ученого-ориенталиста, которую знал ребенком и которую называл «своей маленькой ромашкой»: «Фанни несколько взбалмошна, но у нее превосходное сердце». И добавлял не без бахвальства: «У меня много любовниц, потому что я гуманный человек. Будь у меня одна — ей не прожить бы и недели!.. Не хочу преувеличивать, но полагаю, что по свету у меня разбросано более пятисот детей».

Вернувшись осенью в Париж, он поместил Гордозу в своей новой квартире на улице Сен-Лазар, 70. В течение некоторого времени он каждый четверг устраивал званый обед, после которого дива пела, между тем как хозяин дома спасался бегством от «мяуканья» и работал. Вскоре разразилась буря. Пылкая колоратура застала Дюма на месте преступления в ложе театра и своими воплями взбудоражила весь зал. Дело кончилось тем, что он ее выгнал. Она уехала, заявив, что возвращается к мужу, и прихватила с собой все деньги, что еще оставались в ящиках.

Дюма поселился на бульваре Мальзерб, 107 вместе со своей дочерью Мари, которая оставила своего беррийца Олинда Петеля, страдавшего умственным расстройством. На какое-то время она нашла убежище в монастыре Успения, а теперь занималась тем, что рисовывала старые требники. Сама Мари тоже производила впечатление слегка помешанной: она одевалась,

как кельтская жрица, украшала голову венком из омелы и носила на поясе серп. Дюма гордился ею, как всем, что имело касательство к нему, хотя, конечно, не так, как Александром. Но сына он немного побаивался. «Александр любит тезисы и мораль,— делился он с Матильдой Шебель.— Вот возьмите одну из его последних книг. Посмотрите, какую он сделал на ней надпись.— Дюма прочел посвящение: — *Моему дорогому отцу его большой сын и меньшей собрат*»,— и заключил не без горечи: — «Он ошибся в расстановке прилагательных, чтобы доставить мне удовольствие; но он вовсе так не думает».

В этом Дюма как раз ошибался, но, страшась упреков «мальчика», принимал бесконечные меры предосторожности, чтобы сын не встречал у него полураздетых нимф, которыми старик окружил себя. Дюма-сын купил на авеню Вильер, 98 особняк с крошечным садиком, вызвавшим у отца насмешки «Здесь очень хорошо, Александр,— говорил он,— очень хорошо, но тебе следовало бы открыть окно гостиной, чтобы пустить хоть немного воздуха в твой сад». Сына огорчала распутная старость отца, и он редко навещал его. Старик жаловался:

«Я теперь вижу его только на похоронах. Быть может, в следующий раз увижу на своих собственных».

Корделией этого короля Лира была маленькая Микаэла, дочь Эмилии Кордые, хилое создание с восковым цветом лица, безгубым ртом, но глазами невыразимой прелести. Он дарил ей кукол, которых наряжала Мари Петель. «Только бы она пришла, мое маленькое сокровище»,— говорил он, когда у него бывала приготовлена для нее какая-нибудь кукла — маркиза Помпадур или Людовик XV. Маленькое сокровище являлось, он осыпал свою девочку поцелуями, сокрушаясь, что «глупый Адмирал» помешала ему ее удочерить.

Дюма-отец — Микаэле Кордые, 1 января 1864 года: «Моя дорогая маленькая Бебэ! Надеюсь, что через три-четыре дня смогу тебя обнять. Я очень рад, что увижу тебя, но не надо никому говорить о моем приезде, чтобы у меня было время вволю приласкать тебя. Мари и я принесем тебе двух красивых кукол и игрушки. До 5-го, жди меня.

Твой отец А. Д.»

Дюма-сын был недоволен присутствием в отцовском доме Микаэлы — «дочери распутницы». Он отказывался признать в ней единокровную сестру.

«Я видела Вашего отца в Одеоне. Боже мой, какой удивительный человек!» — писала Санд в 1865 году. В шестьдесят три года он оставался «стихийной силой». Его работоспособность не уменьшилась. Он только что поставил две драмы — превосходные в своем роде — «Парижские могикане» и «Узники Бастилии». «Парижских могикан» долгое время не разрешала цензура под тем предлогом, что пьеса, действие которой разыгрывалось в 1829 году, кишмя кишела весьма либеральными намеками. Письмо автора к императору нанесло поражение цензорам. Наполеон III снял запрет.

Тем временем Дюма-отец опубликовал один из своих лучших романов, «Сан-Феличе», действие которого разыгрывалось в Неаполе, во времена Марии-Каролины, леди Гамильтон и Нельсона. Это была эпоха, когда генералы французской революционной армии создавали и упраздняли королевства, эпоха молодых героев, опоясанных трехцветным шарфом, эпоха генерала Дюма. А место действия — своеобразный город, где автор не так давно провел четыре года. Дюма был полон совсем еще свежих воспоминаний о неаполитанских друзьях. Поэтому рассказ отличался живостью, стремительным ритмом, ослепительным блеском. Герой итальянец, достойный мушкетеров, в одиночку закалывал шестерых. Корабли в Неаполитанском заливе, рыбацьи лодки, застигнутые бурей в открытом море, — все эти картины играли естественными красками. Если автор хотел доказать, что не нуждается ни в Маке, ни в ком другом, чтобы называться Дюма, это ему удалось.

Жирарден платил за «Сан-Феличе», который печатался в качестве романа-фельетона в «Пресс», по сантиму за строчку. «Как г-же Санд», — с гордостью заявлял Дюма. «Сан-Феличе» был его лебединой песней, не орошенной слезами, но проникнутой необычайной нежностью.

Гонкуры набросали два очень живых портрета шестидесятилетнего Дюма:

1 февраля 1865 года: «Сегодня вечером за столом у принцессы сидели одни писатели, и среди них — Дюма-отец. Это почти великан — негритянские волосы с проседью, маленькие, как у бегемота, глазки, ясные, хитрые, которые не дремлют, даже когда они затуманены. Контуры его огромного лица напоминают те полукруглые очертания, которые карикатуристы придают очеловеченному изображению луны. Есть в нем что-то от чудодея и странствующего купца из «Тысячи и одной ночи». Он говорит много,

но без особого блеска, без остроумных колкостей, без красочных слов. Только факты — любопытные факты, парадоксальные факты, ошеломляющие факты извлекает он хрипловатым голосом из недр своей необъятной памяти. И без конца, без конца, без конца он говорит о себе с тщеславием большого ребенка, в котором нет ничего раздражающего. Например, он рассказывает, что одна его статья о горе Кармель принесла монахам 700 тысяч франков... Он не пьет вина, не употребляет кофе, не курит: это трезвый атлет от литературы».

14 февраля 1866 года: «В разгар беседы вошел Дюма-отец — при белом галстуке, при белом жилете, огромный, потный, запыхавшийся, с широкой улыбкой. Он только что побывал в Австрии, Венгрии, Богемии. Он рассказывает о Пеште, где его пьесы играли на венгерском языке, о Вене, где император предоставил ему один из залов своего дворца для лекции, говорит о своих романах, своей драматургии, своих пьесах, которые не хотят ставить в Комеди-Франсез, о своем «Шевалье де Мезон-Руж», которого запретили; затем о том, что никак не может добиться разрешения основать театр и, наконец, о ресторане, который он намерен открыть на Елисейских Полях.

Непомерное «я» — под стать его росту; однако он брызжет детским добродушием, искрится остроумием. «Чего же вы хотите, — продолжает он, — когда в театре теперь можно заработать деньги только с помощью трико... которые трещат по швам... Да, так ведь и составил себе состояние Остен. Он рекомендовал своим танцовщицам выступать только в трико, которые будут лопаться... и всегда в одном и том же месте. Вот тогда пошли в ход бинокли... Но в конце концов в дело вмешалась цензура, и торговцы биноклями теперь прозябают...»

Хотя талант его не потускнел, ему теперь с трудом удавалось пристраивать свои пьесы. Он стал похож на обедневшего старого актера, который ради хлеба насущного готов взять любой ангажемент в любом театре. В аркаде Венсеннской железной дороги для народного зрителя парижских предместий был построен Большой Парижский театр, такой же необычный по своей архитектуре, как и по местоположению. Дюма отдал туда одну из своих лучших драм — «Лесная стража», которая была впервые сыграна в Большом театре Марселя в 1858 году. Проходившие поезда сотрясали зал; гудки паровозов заглушали голоса актеров. Спектакль шел так плохо, что вскоре его перестали играть.

Чтобы помочь актерам, Дюма предложил им организовать турне и обещал сопровождать их всякий раз, когда у него будет возможность.

Здесь, в предместье, и в провинции он сохранил еще свой престиж, и его бурно приветствовали. На его родине в департаменте Эн энтузиазм публики дошел до

исступления. В Вилле-Коттре пришлось дать два представления. После спектакля жители городка столпились перед гостиницей, где он остановился. В окна они видели, как Дюма в переднике и белом колпаке готовил соусы, поливал жаркое — стряпал обед для всей труппы. Овация стала еще более бурной. Этот прием примирил Дюма с той благосклонной, но слегка насмешливой снисходительностью, которую выказывал теперь Париж своему бывшему любимцу. Он снова загорелся мыслью иметь свой театр и, пытаясь восстановить Новый Исторический театр, открыл подписку. Он разослал тысячи проспектов. Откликнулись только несколько молодых поклонников «Трех мушкетеров». Прежнее колдовство утратило силу. Будь Дюма благоразумен, он мог бы еще жить в полном достатке. В 1865 году Мишель Леви перевел на его счет сорок тысяч франков золотом; в 1866 году он подписал новый, весьма выгодный договор на иллюстрированное издание своих сочинений. Но деньги текли у него между пальцев. Десять раз он становился богачом и одиннадцать — разорялся. «Я заработал миллионы, — говорил он, — и должен был бы получать двести тысяч франков ренты, а у меня двести тысяч франков долгу». Он больше не в состоянии был выплачивать пенсию сестре, госпоже Летелье.

В июне 1866 года он покинул Париж, ставший для него негостеприимным, и посетил Неаполь, Флоренцию, потом Германию и Австрию. Из этого путешествия он привез роман «Прусский террор», хорошо написанный и полный точных наблюдений. Дюма подметил в Пруссии серьезную угрозу: «Тот, кому не довелось путешествовать по Пруссии, не может себе представить ненависть, какую питают к нам пруссаки. Это своего рода мономания, замутившая самые ясные умы. Министр может стать популярным в Берлине лишь в том случае, если он даст понять, что в один прекрасный день Франции будет объявлена война». Дюма нарисовал некоего Безевека — пророческий портрет Бисмарка. Как полагается, герой романа, молодой француз Бенедикт Тюрпен, дерется с германскими националистами на пистолетах, на шпагах, врукопашную и одерживает победу над всеми... Бриксенский мост... Портос на Унтер-ден-Линден...

Автор был в наилучшей форме, и в другое время одной такой книги было бы достаточно, чтобы создать

славу молодому писателю, но у публики были теперь другие запросы и другие божества.

Предостережения против Пруссии вызывали смех: «Ну и шутник же этот Дюма!» Как можно было принимать всерьез старого султана, который швырял своим диковинным одалискам «последнюю дюжину платков»?

Глава пятая СМЕРТЬ ПОРТОСА

Александр Дюма не боялся смерти. «Она будет ко мне милостива,— говорил он,— ведь я расскажу ей какую-нибудь историю».

Арсен Гуссе

1867 год. Сумма долгов растет. Несмотря на верность читателей, счет Дюма у Мишеля Леви становится дебетовым. За квартиру на бульваре Мальзерб не уплачено. Большая часть мебели продана. Единственные драгоценные сувениры, с которыми Дюма не захотел расстаться,— эскиз Делакруа для праздника, устроенного им в молодости и ставшего его триумфом, и полотенец, испачканное кровью герцога Орлеанского. Слуги требуют расчета. Он жалуется своей «маленькой ромашке», Матильде Шебель, что кое-кто из его «подруг» с чрезмерной жадностью роется в ящиках его секретера.

— Оставили бы мне хоть одну двадцатифранковую монету! — восклицал он с комическим отчаянием.

Матильда застала его больным, он лежал в кабинете, который служил ему и спальней. На стенах висело старинное оружие, портрет генерала Дюма и портрет Александра Дюма-сына кисти Ораса Верне.

— Как ты кстати! — сказал он. — Я нездоров, мне нужен отвар, а я не могу никого дозваться... По-моему, меня оставили совсем одного.. И подумать только, что мне надо ехать в гости!.. Будь добра, загляни в ящики моего комода и скажи, не найдется ли там сорочки и белого галстука.

В ящике оказались только две неглаженные ночные рубашки.

— У тебя есть с собой деньги? Не можешь ли ты одолжить мне немного, чтобы купить вечернюю сорочку?

Девушка обегала весь квартал, но было уже поздно и такого гигантского размера не оказалось в тех немногих лавках, которые еще не успели закрыться». Наконец в магазине под вывеской «Рубашка Геркулеса» она отыскала белый пластрон в красную крапинку. Вечерняя сорочка с красной вышивкой! Дюма рискнул ее надеть и имел большой успех. «Это восприняли как намек на мою дружбу с Гарибальди».

Последним подвигом донжуана было покорение молодой американки, наездницы и актрисы Ады Айзекс Менкен¹, которая на сцене театра Гетэ в спектакле «Пираты саванны» полуголая носилась верхом на горячем чистокровном скакуне. Она была очень изящна в своем розовом трико и недавно покорила Лондон, выступив в «Мазепе» — драме по мотивам поэмы Байрона. Затаив дыхание, публика следила, как наездница, привязанная к спине коня, брала барьер на полном скаку. Заключительное сальто могло каждый раз стоить ей жизни. Толпа рукоплескала ее удивительной отваге и красоте.

Еврейка, родом из Луизианы (хотя она кичилась своим якобы испанским происхождением и подписывалась: Долорес Аднос лос Фуэртос), Ада стала цирковой наездницей после того, как сменила несколько профессий в поисках своего истинного призвания. Она перебивала статисткой, актрисой, танцовщицей, натурщицей у скульпторов, сотрудничала в газете («Цинциннати Израэлит»), потом разъезжала с лекциями об Эдгаре По. Эта необыкновенная девушка знала английский, французский, немецкий, древнееврейский. Закончив беседу о бессмертии души, она залпом выпивала три рюмки водки. Влюбленная в поэзию, она сочиняла грустные стихи о своих кратких и несчастных увлечениях. Уолт Уитмен, Марк Твен и Брет Гарт были ее друзьями.

¹ Ее метрика пропала, так как во время войны Севера и Юга в Новом Орлеане сгорели все акты гражданского состояния. Ее биограф Бернард Фальк полагает, что она явилась на свет в 1835 году. Другие авторы считают, что в 1832 году. Она сама утверждала, что родилась в 1841 году, но многие ее фотографии опровергают это утверждение, ибо последние ее портреты изображают уже не очень молодую женщину. Представляется куда более вероятным, что она умерла в возрасте тридцати трех или тридцати четырех лет.

После того как Ада разошлась с тремя мужьями¹, она вышла замуж в четвертый и последний раз за Джеймса П. Беркли, единственно для того, чтобы узаконить ребенка, которого она тогда ожидала. Ее четвертая свадьба состоялась в Нью-Йорке 19 августа 1866 года. Два дня спустя новобрачная в одиночестве села на пакетбот «Ява». Больше ей не суждено было увидеть ни Америку, ни супруга.

Ее привлекал Париж. Она дебютировала 31 декабря 1866 года в театре Гетэ. Некоторое время спустя, в начале 1867 года, Дюма-отец явился к ней в уборную, чтобы поздравить ее. Она бросилась ему на шею. Однако во жадные до рекламы, оба — и он и она — охотно выставляли напоказ свою эффектную любовь с первого взгляда. Дюма торжественно возвестил о своей победе; Ада появлялась всюду рядом с ним. Он показывал ей старый Париж и открывал Париж современный. Она испытывала тщеславное удовлетворение оттого, что связала свое имя с именем писателя-титана. Любить его она не могла, но он развлекал ее и льстил ей. На несколько недель он вернул себе молодость, возя наездницу в кабачки Буживаля, куда сорок лет назад приходил с белошвейкой Катрин. С реки по-прежнему доносились песни лодочников.

В те годы фотография была еще в диковинку, и Аде Менкен доставляло удовольствие позировать перед объективом вместе со всеми знаменитостями, игравшими роль в ее жизни. Это был своего рода ритуал, к которому она была странно привержена. Дюма допустил оплошность, позволив запечатлеть себя на фотографии без сюртука, со своей любовницей в трико на коленях.

¹ В 1856 году она вышла замуж за музыканта Александра И. Менкена; в 1859 году — за боксера Джона Кармела Хинена; в 1862 году — за импресарио Роберта Х. Ньюэла. Двое детей, которых она произвела на свет, умерли. Младшего (родился в 1866 году, умер годом позже) она хотела символически сделать крестником Жорж Санд, то есть согласно американским обычаям дать ему в качестве второго имени фамилию его крестной. Аде Менкен было известно, как и всем, что Аврора Дюдеван вступила в литературу под псевдонимом Жорж Санд, однако она не знала того, что девичья фамилия романистки была Дюпен. Записав в метрической книге ребенка мужского пола под именем Луиса Дюдевана Беркли, она фактически сделала его крестником номинального мужа писательницы, Казимира Дюдевана.

На другой фотографии он обнимал ее, а она сидела, прислонясь головой к могучей груди старика. Он казался смущенным, но его живые глаза излучали бесконечную доброту. Он словно говорил: «Да, я знаю, это смешно, но ей этого хотелось, а я так люблю ее!» Фотограф Либерт, которому Дюма был должен небольшую сумму, решил, что, распродав эти фотографии как сенсацию, возместит себе потерянные деньги. Он выставил их во многих витринах Парижа. Молодой Поль Верлен написал по этому поводу триолет:

С мисс Адой рядом дядя Том.
Какое зрелище, о Боже!
Фотограф тронулся умом:
С мисс Адой рядом дядя Том.

Мисс может гарцевать верхом,
А дядя Том, увы, не может.
С мисс Адой рядом дядя Том,
Какое зрелище, о Боже!

Сатирический журнал «Суматоха» поместил балладу: «Всегда он!» Эпиграфом к ней служила фраза Жан-Жака Руссо:

«Кто посмеет поставить природе четкие границы и сказать: «Вот докуда может идти человек, но ни шагу дальше!»

Она наездницей была,
Писателем был он.
Она цвела, его ж дела
Катились под уклон.

Она была свежа, легка,
Была в расцвете сил,
А он чуть меньше бурдюка
Животик отрастил.

Она брюнеткою была,
Был седовласым он.
И вот судьба их там свела,
Где слышен рюмок звон.

Как мушкетер и экс-герой.
Что неизменно мил.
Он, позабыв про возраст свой,
Ей поцелуй вlepил.

«Тубо! Не к месту этот жар! —
Воскликнула она.—
Хотя ты толст, хотя ты стар,
Добыча не жирна.

Какая выгода с тебя?»
«Всех выгод и не счесть:
Мое внимание привлечь —
Уже большая честь!»

Она в ответ: «Писатель мой,
Чтоб мне не сплеховать,
Ты на колени предо мной
Немедля должен встать.

Тебе поверю я тогда,
Мы славно заживем...»
Вы в лавках можете всегда
Увидеть их вдвоем.

Жорж Санд — Дюма-сыну, 30 мая 1867 года: «Как Вам, должно быть, неприятна вся эта история с фотографиями! Но ничего не поделаешь! С возрастом обнаруживаются печальные последствия богемного образа жизни. Какая жалость!..»

«Мой дорогой Александр, несмотря на свой преклонный возраст, я нашел Маргариту, для которой играю роль твоего Армана Дюваля».

Он был без ума от этой замечательной женщины, от ее голубых с поволокой глаз, длинных черных волос, великолепной фигуры; ее рассказы приводили его в восхищение. Эта неугомонная Шахерезада создала себе в воображении необычайное прошлое и рассказывала всякие фантастические истории. Неправда, что на Дальнем Западе она охотилась на буйволов вместе с ковбоями, но правда, что она с одинаковой осведомленностью говорила о теологии и о верховой езде. Никогда не была она ни танцовщицей в Опере, ни трагической актрисой в Калифорнии (поскольку Ада Менкен во всех странах семь лет подряд играла одну и ту же роль — в «Мазепе»); зато сущая правда, что она свободно читала по-гречески и по-латыни. История о том, как ее захватили в плен краснокожие и как она их «загипнотизировала», исполнив перед ними «танец змеи», была всего только красивой легендой. Переодетая мужчиной, она была в Дайтоне (Огайо) вовсе не гвардейским капитаном, а всего-навсего карнавальным «гусариком». Вместе с тем Чарльз Диккенс и Данте Габриель Россетти писали ей дружеские письма, которые она с гордостью демонстрировала своим французским поклонникам. Она выслушивала пылкие объяснения своего шестидесятипятилетнего любовника, Александра Дюма-отца: «Если правда, что у меня есть талант, как правда то, что у меня есть

сердце,— и то и другое принадлежит тебе...» Отъезд Ады в Австрию, где она получила ангажемент (она должна была играть в «Мазепе» в Театр ан дер Вин), положил конец этой связи, которая своей скандальностью ухудшила и без того не блестящее положение старого писателя.

Из-за своих сумасбродств он переживал денежные затруднения. Сын охотно помог бы ему, но отец не любил признаваться в своих невзгодах. Он основал новую газету — «Д'Артаньян», которая должна была выходить три раза в неделю. Он просил своих друзей создать ей рекламу: «Мне не приходится рассказывать вам, что это за ловкий малый. Он, слава Богу, заставил достаточно говорить о себе; но важно, чтобы люди узнали следующее: он воскрес и снова обнажил шпагу, чтобы защищать прежние принципы...» Но «Д'Артаньян» не имел успеха. Дюма написал императору, еще раз прося помочь ему основать театр. Император отказал. Время чудес миновало. Старость жестока к чудотворцам.

В 1868 году в Гавре была устроена морская выставка, и Дюма пригласили туда прочитать несколько лекций. Он выступал также в Дьеппе, Руане, Каэне. В Гавре он отыскал свою дочь Микаэлу — ее мать жила там со своим мужем Эдвардсом. Родив пятерых детей, «Адмирал» ухитрилась, наконец, выйти замуж. В Гавре Дюма встретил также Аду Менкен: в Англии судьба оказалась к ней немилостива, и теперь, едва оправившись после падения с лошади, она вернулась в Париж, где получила ангажемент в Шатле. Вначале речь шла о пьесе, которую собирался написать для нее Дюма. Однако директор театра Остен счел более выгодным возобновить «Пиратов саванны», — декорации и костюмы еще сохранились. Во время репетиций наездница тяжело заболела. 10 августа 1868 года она умерла.

Ее горничная, грумы, несколько актеров (всего пятнадцать человек) и ее любимая лошадь — вот и весь похоронный кортеж, который следовал за ее гробом с улицы Комартен на кладбище Пер-Лашез.

О смерти актрисы Дюма узнал в Гавре. Когда он возвратился домой на бульвар Мальзерб, чувствуя себя совершенно разбитым, он нанял секретаршу — маленькую робкую женщину; он пичкал ее сладостями и с утра

до вечера рассказывал ей о задуманных пьесах и романах. Однако наступил день, когда мысли его утратили ясность и рассказы сделались сбивчивыми. Тогда он заперся у себя в комнате и стал перечитывать свои старые книги.

«Каждая страница напоминает мне,— говорил он,— один из ушедших дней. Я подобен дереву с густой листвой, в которой прячутся птицы; в полдень они спят, но потом пробуждаются и наполняют безмолвие гаснущего дня хлопаньем крыльев и песнями».

Сын пришел к нему и увидел, что он с увлечением читает какую-то книгу.

— Что это?

— «Мушкетеры». Я давно решил, что когда буду стариком, то постараюсь уяснить себе, чего стоит эта вещь.

— Ну и как? Где ты читаешь?

— Подхожу к концу.

— И как тебе показалось?

— Хорошо!

Перечитав также «Монте-Кристо», он заявил:

«Не идет ни в какое сравнение с «Мушкетерами».

С того дня, когда Дюма-старший бросил Катрину Лабе с ребенком на руках, вся ее жизнь могла бы служить образцом добродетели. Неудивительно, что Дюма-младшему, доктринеру моралисту, пришла мысль соединить своих престарелых родителей и, быть может, даже поженить их. Дюма-отец, уведомленный об этом проекте, поддался искушению. В Нейи он, наконец, обрел бы семейный очаг и хозяйку, способную содержать в порядке его дом и принимать его друзей. Несомненно, он надеялся и на то, что его престарелая сожительница, которой он долгие годы пренебрегал, будет покорно сносить его последние шалости.

Отказ исходил от Катрины Лабе. «Мне уже за семьдесят,— писала она приятельнице,— и вечно нездоровится; живу я скромно с одной-единственной служанкой. Г-н Дюма перевернет вверх дном мою маленькую квартиру... Он опоздал на сорок лет...» История с Адой Менкен вызвала у нее улыбку. «Ах,— сказала она,— он все такой же; годы ничему его не научили». Катрина умерла 22 октября 1868 года; ей было семьдесят четыре года.

Дюма-сын — Жорж Санд, 23 октября 1868 года: «Дорогая матушка! Моя мать скончалась вчера вечером без всяких мучений. Она не узнала меня, а значит, не ведала, что покидает. Да и вообще, покидаем ли мы друг друга?..»

Дюма-сын в сопровождении своего друга Анри Лавуа, хранителя императорской библиотеки, отправился в мэрию Нейи, чтобы составить там акт о смерти. Он заявил, что усопшая была «незамужняя, без определенных занятий», и, назвав себя, отметил, что является «ее единственным сыном Александром Дюма Дави де ля Пайетри». Но в рубрике «дочь таких-то» в регистрационном листе значилось: «имена и фамилии отца и матери (усопшей) нам сообщены не были». Это свидетельствует о том, что Катрина была внебрачным ребенком неизвестных родителей.

Дюма-сын — Жорж Санд, Сеньеле-Оксэрт, Ионн (конец октября 1868 года): «Мы в Бургони, у друзей. Здесь я узнал печальную новость и сюда возвратился, исполнив печальный долг. Я много плакал и до сих пор плачу. Мне надо выплакаться — вот уже двадцать с лишним лет, как я не плакал. От слез мне становится легче. Сказано, что мать продолжает делать сыну добро, даже испустив последний вздох... Книга Мориса лежала у меня на столе в ту ночь, которая последовала за горестным событием. Единственное, что я пока мог сделать, — это разрезать ее. Она здесь, со мной. Я начну читать ее, как только буду способен что-либо воспринимать...»

Дюма-отец провел лето 1869 года в Бретани, в Роскове. Он искал спокойный уголок, чтобы написать «Кулинарную энциклопедию», заказанную ему издателем Лемером. Он привез с собой кухарку Мари, которой Росков не понравился. «Ах, сударь, — сказала она, — в таком месте мы оставаться не можем». — «Весьма вероятно, что вы здесь не останетесь, Мари, но что до меня, то я останусь». — «Сударю нечего будет есть!»

Вечером жители Роскова, которых распирало от гордости, что к ним приехал великий Александр Дюма, притащили ему дары: две макрели, омара, камбалу и ската величиною с зонтик. Но если рыбы было вдоволь, то артишоки оказались твердыми, как пушечные ядра, зеленая фасоль — водянистой, масло — несвежим. «Вот и весь тот ассортимент продуктов, на основании которого приходится писать книгу о кулинарии». От этого Дюма работал с не меньшим пылом, чем обычно, но рассвирепевшая Мари взяла расчет. Тогда Дюма стал гостем всего Роскова: он обедал то у одних, то у других, и люди

изоощрялись, чтобы приготовить ему самые изысканные кушанья. «В этом старании угодить мне было нечто такое, что трогало меня до слез». В марте 1870 года рукопись (неоконченная) «Большой кулинарной энциклопедии» была передана издателю Альфонсу Лемеру. Это монументальное произведение было издано только после войны, при участии «молодого сотрудника Лемера» — Анатоля Франса.

Весною 1870 года Дюма уехал на юг; он чувствовал, что силы его на исходе, и надеялся, что солнце вошьет в него новую жизнь. В Марселе он узнал, что объявлена война. Известия о первых поражениях доконали его.

Полупарализованный после удара, он с трудом добрался до Пюи и позвонил у дверей сына. «Я хочу умереть у тебя», — сказал он. Его встретили с любовью. «Мне привезли отца, он парализован. Скорбное зрелище, хотя эту развязку и можно было предвидеть. Избегайте женщин — таков вывод...» То было возвращение Блудного Отца. Его поместили в самой лучшей комнате. Приехав, он сразу лег и заснул.

Его продолжал волновать вопрос о ценности его творчества. Однажды утром он рассказал сыну, что во сне видел себя на вершине горы, и каждый камень этой горы был его книгой. Вдруг гора осыпалась под ним как песчаная дюна. «Послушай, — сказал ему сын, — спи спокойно на своей гранитной глыбе. Она головокружительно высока, долговечна, как наш язык, и бессмертна, как родина». Тут лицо старца прояснилось: он пожал руку своего мальчика и поцеловал его. Возле его постели на столике лежали два луидора — все что осталось от заработанных им миллионов. Однажды он взял их, долго разглядывал, потом сказал:

— Александр, все говорят, что я мот; ты даже написал об этом пьесу. Видишь, как все заблуждаются? Когда я впервые приехал в Париж, в кармане у меня было два луидора. Взгляни... Они все еще целы.

Юная Микаэла, жившая со своей матерью в Марселе, в семейном пансионе, написала отцу, чтобы узнать, как его здоровье. Ответил ей Дюма-сын.

Дюма-сын — Микаэле Кордые: «Мадемуазель! Я получил три письма, которые Вы написали моему отцу и которых я не мог ему передать, поскольку Вы говорите там о его болезни, а мы (елико возможно) скрываем от него, что он болен. То ласковое имя, каким Вы его называете, доказывает, что Вы любите его со

всей силой, на какую способен человек в Вашем возрасте, и что он был привязан к Вам. Впрочем, мне кажется, что я несколько раз видел Вас у него, когда Вы были совсем маленькой.

Я взял на себя труд сообщить Вам о его состоянии, так как сам он не в силах этого сделать. Он был крайне тяжело болен. Теперь ему немного лучше... Если он поправится настолько, что сможет читать присылаемые ему письма, я Вас извещу об этом... Я перешлю Вам его ответ.

Так как Вы любите моего отца, мадемуазель, само собой разумеется, что я приложу все усилия, чтобы сделать Вам приятное.»

Вскоре больной почти перестал говорить. Он не страдал, он чувствовал, что его любят, и больше ничего не желал. В хорошую погоду его вывозили в кресле на пляж, и он целыми днями молча смотрел на море, которое в блеклом свете зимнего солнца сливалось на горизонте с серым облачным небом.

Время от времени какое-то произнесенное им слово, какая-то фраза показывали, что он думает о смерти. «Увы! — говорил он. — Я принадлежу к тем обреченным, которые, уходя, прощаются навеки». О чем он думал, когда к ногам его подкатывала зеленая волна? Быть может, о своих героях, о Мушкетерах и Сорока Пяти, о Буридане и Антони, об актерах, игравших его пьесы — о Дорваль и Бокаже, о Фредерике Леметре и мадемуазель Жорж, о мадемуазель Марс и Фирмене; быть может, о пыльной канцелярии Пале-Рояля, где, случайно раскрыв книгу, он нашел сюжет для своей первой пьесы; о маленькой комнатке, где он любил Катрину Лабэ; о лесах Вилле-Коттре, о первой подстреленной дичи, о крытой шифером островерхой колокольне, о генерале Дюма — опальном герое, обезоруженном великанине; быть может, о том дне, когда он скакал верхом на сабле Мюрата.

Александр Дюма-сын — Шарлю Маршалю: «Дорогой друг! В ту минуту, когда прибыло Ваше письмо, я собирался писать Вам, чтобы сообщить о постигшем нас несчастье, неизбежность которого стала ясна нам еще несколько дней назад. В понедельник, в десять часов вечера, мой отец скончался, вернее — уснул, так как он совершенно не страдал. В прошлый понедельник, днем, ему захотелось лечь; с этого дня он больше не хотел, а с четверга уже не мог вставать. Он почти непрерывно спал. Однако когда мы обращались к нему, он отвечал ясно, приветливо улыбаясь. Но с субботы отец стал молчалив и безразличен. С этого времени он всего один-единственный раз проснулся, все с тою же знакомой Вам улыбкой, которая ни на секунду не покидала его. Только смерть могла стереть с его губ эту улыбку. Когда он испустил последний вздох, черты его застыли в непреклонной суровости.

Разум, даже остроумие не изменили ему до конца. Он высказал много интересных мыслей — я спешу сообщить Вам некоторые из них, ибо Вы используете их наилучшим образом. Хочу дать Вам представление о желании шутить, которое не покидало его. Однажды, поиграв с детьми в домино, он сказал: «Надо бы что-нибудь давать детям, когда они приходят играть со мной, — ведь это им очень скучно». Живущая у нас русская горничная преисполнилась нежности к этому тяжелому больному, неизменно улыбочивому и доброму, который был беспомощен, как ребенок. Однажды моя сестра сказала отцу: «Аннушка находит тебя очень красивым». — «Поддерживайте ее в этом мнении!» — ответил он.

Наконец он произнес едва ли не самые прекрасные и поэтические слова, которые только можно сказать, — они относились к Ольге, она часто навещала его. Вы замечали, что она немного напоминает «Святую деву» Перуджини — длинные платья, тонкие руки и наша малышка, которую она обычно водит за собой или носит на руках, еще усиливают сходство, это и прежде всегда поражало моего отца, и он соблюдал по отношению к Ольге церемонную, даже почтительную вежливость. В один прекрасный день, когда он дремал, она зашла к нему, но, увидев, что он спит, удалилась. Он открыл глаза и спросил: «Кто там?» — «Это Ольга», — сказала ему моя сестра. «Пусть войдет!» — «Ты любишь Ольгу?» — «Я почти не знаю ее, но ведь девушки — это свет».

Всякий день он находил веселые или трогательные слова в духе тех, что я только что Вам сообщил. Недавно я спросил его: «Хочется тебе работать?» — «О нет!» — ответил он с выражением, на которое ему давало право воспоминание о том, сколько пришлось ему работать в течение сорока лет.

Вот, друг мой, некоторые подробности, которыми Вы можете воспользоваться, если будете говорить о нем... Они послужат ответом на распространившиеся слухи о размягчении этого могучего мозга, который не требовал больше ничего, кроме покоя. Отец отдыхал на лоне природы и в лоне семьи, видя перед собой безбрежное море и безбрежное небо, а вокруг себя — детей. Он по-настоящему любил Колетту. Наконец-то он чувствовал себя счастливым в этой покойной и уютной обстановке, которая столь редко встречалась ему в его рассеянной и расточительной кочевой жизни, что он наслаждался ею всем своим существом... Нам сообщили, что пруссаки сегодня вступили в Дьепп! Итак, он жил и умер в историческом романе.

...Пишу Вам эти несколько слов впопыхах перед отпеванием, которое состоится в маленькой Невильской церкви, недалеко от Дьеппа, сегодня, 8 декабря, в одиннадцать часов. Временно он будет покоиться там».

Микаэла узнала о смерти своего отца в марсельском пансионе из беседы за табльдотом. Она залилась слезами; мать одела ее в траур. Жорж Санд находилась в Ноане, отрезанная от Нормандии немецкой армией. Тем не менее ее «младший сыночек» попытался известить ее.

Дюма-сын — Жорж Санд, Пюи, 6 декабря 1870 года: «Мой отец скончался вчера, в понедельник, в десять часов вечера, без

мучений. Вы не были бы для меня тем, что Вы есть, если бы я не сообщил Вам первой о его смерти. Он любил Вас и восхищался Вами более, нежели кем-либо другим...»

Она могла выразить свое сочувствие только много позже, по окончании военных действий.

Жорж Санд — Дюма-сыну, Ноан, 16 апреля 1871 года: «Вам приписывают следующие слова о Вашем отце: «Он умер так же как жил — не заметив этого». Не зная, что Вы это сказали или что это вкладывают в Ваши уста, я написала в «Ревю де Дё Монд»: «Он был гением жизни, он не почувствовал смерти». Это то же самое, не правда ли?..»

Дюма-сын — Жорж Санд, 19 апреля 1871 года: «Слова эти подлинные. Я написал их Гаррису и вспоминаю о том, что они принадлежат мне лишь потому, что наши мысли — Ваши и мои — совпали, хотя и в разных выражениях. Я постараюсь найти здесь (или если не найду в Дьеппе, то выпишу из Лондона) Вашу статью о моем отце. Вы понимаете, что мне не терпится ее прочитать. Как это Вам не пришла в голову добрая мысль послать мне ее? Или хотя бы сообщить дату ее опубликования? Меня очень мало трогает мнение, которое может высказать г-н де Сен-Виктор или какой-нибудь другой насмешник о моем отце (чьих книг он, вероятно, не читал), но Ваше суждение для меня очень ценно. Быть может, и я когда-нибудь, отринув свои сыновние чувства, выскажу то, что думаю про этого необыкновенного, исключительного человека, для которого у современников нет мерил, этого своего рода добродушного Прометея, которому удалось обезоружить Юпитера и насадить его коршуна на вертел. Здесь нашелся бы интереснейший материал для изучения вопроса о смешении рас, любопытнейший феномен для анализа. Вправе ли я заняться таким физиологическим исследованием? Об этом можно будет судить, когда я его сделаю. Если оно окажется удачным, убедительным, полезным, я буду оправдан, в противном случае меня осудят. Пока что я читаю и перечитываю его книги, и я раздавлен его воодушевлением, эрудицией, красноречием, добродушием, его остроумием, милосердием, его мощью, страстью, темпераментом, способностью поглощать вещи и даже людей, не подражая им и не обкрадывая. Он всегда ясен, точен, ослепителен, здоров, наивен и добр. Он никогда не проникает глубоко в человеческую душу, но у него есть инстинкт, заменяющий ему наблюдение, и некоторые его персонажи испускают шекспировские крики. Впрочем, если он и не погружается в глубину, то часто воспаряет к высотам идеала. И какая уверенность, какое стремительное движение, какая восхитительная композиция, какая перспектива! Каким свежим дыханием овеяно все это. какое разнообразие всегда безошибочно точных тонов!

Приглядитесь-ка: герцогиня де Гиз, Адель д'Эрве, госпожа де При, Ришелье, Антони, Якуб, Буридан, Портос, Арамис и «Путевые впечатления»... И все и всегда увлекательно! Кто-то однажды спросил меня: «Как это получилось, что ваш отец за всю жизнь не написал ни одной скучной строчки?» Я ответил: «Потому что ему это было бы скучно». Он весь, без остатка, перевоплотился в слово. На его долю выпало счастье написать больше, чем кто бы то ни

было; счастье всегда испытывать потребность писать для того, чтобы воплотить самого себя и столько других людей, счастье писать всегда только то, что его увлекало. Во время Ваших ночных бдений дайте себе труд прочесть то, чего Вы, вероятно, никогда еще ни читали: «Путешествие по России и Кавказу». Это чудесно! Вы проделаете три тысячи лье по стране и по ее истории, не переводя дыхания и не утомляясь... Вас всего трое в этом веке: Вы, Бальзак и он. А за вами больше нет, да и не будет никого!..»

Еще одна женщина после войны великодушно отозвалась о нем: то была Мелани Вальдор, пережившая на сорок лет все «сломанные герани».

Мелани Вальдор — Дюма-сыну, Фонтенбло, 20 апреля 1871 года: «Когда я думаю о твоём отце, которого я никогда не забуду, я неизменно думаю о тебе, мой дорогой Александр. Я увезла с собой два твоих письма, которые очень взволновали меня, проникли мне в самую душу,— в особенности то, что от 18 октября, столь прекрасное по своей простоте и правдивости, что я часто его перечитываю, стремясь мысленно вновь очутиться с твоим отцом и с тобой — с теми, кого я никогда не переставала любить.

Я знаю, ты веруешь в потустороннюю жизнь и изучил много священных книг. В них только и можно почерпнуть силу и утешение на долгие времена... Если жил когда-либо человек неизменно добрый и сострадательный, то это был, без сомнения, твой отец. Только его талант мог сравниться с его доброжелательностью и неизменной готовностью помогать другим. Господь благословил его, ниспослав ему в час тяжких бедствий для Франции безмятежную кончину в кругу его детей. Он не изведal безграничной, неутешной скорби — смерти существа, которому он дал жизнь.

Прощай, дорогой мой сын. Я еще очень слаба и не позволяю воспоминания увлечь меня.. Когда же мы сможем, без страха вернуться в Париж? Хочу, чтобы, дожидаясь этого более или менее отдаленного времени, ты знал, что видеть тебя и говорить с тобой будет для меня почти материнской радостью.

Твой старый и самый искренний друг

М. Вальдор».

Дюма-сын написал Маке, чтобы сообщить ему о смерти своего отца и вместе с тем чтобы осведомиться о финансовых взаимоотношениях двух соавторов. В последних разговорах с сыном Дюма-отца бормотал что-то о «тайных счетах». Дюма-сын, высказывая свое недоумение, спрашивал, не заключили ли соавторы какого-либо тайного соглашения?

Огюст Маке — Дюма-сыну, 26 сентября 1871 года: «Дорогой Александр! Печальная новость, которую Вы мне сообщили, глубоко огорчила меня. Что касается пресловутых «тайных счетов», то это плод воображения. Ваш отец не решался заговорить со мной об этом, а когда все же заговорил, довольно было и пяти минут, чтобы заставить его отступить...

В самом деле, дорогой Александр, Вы лучше кого бы то ни было знаете, сколько труда, таланта и преданности предоставил

я в распоряжение Вашего отца за долгие годы нашего сотрудничества, поглотившего мое состояние и мое имя. Знайте также, что еще больше вложил я в это дело деликатности и великодушия. Знайте также, что между Вашим отцом и мною никогда не было денежных недоразумений, но что нам никогда не удалось бы рассчитаться, ибо, не останься за ним полмиллиона, я был бы его должником.

Вы деликатно просили меня сказать Вам правду. Извольте, вот она — я излил Вам свое сердце, надеясь тронуть Ваше. Примите уверения в моей давней и неизменной привязанности.

О. Маке

Что касается каких-то таинственных счетов, о которых Вам говорил Ваш отец, не верьте этому. Он и сам никогда в это не верил».

Дюма-отец был похоронен в декабре 1870 года в Невиль-ле-Полле, на расстоянии километра от Дьеппа. Директор Жимназ Монтиньи, также укрывшийся в Пюи, произнес надгробное слово от имени друзей. Когда война кончилась, Дюма-сын перевез останки в Вилле-Коттре. На похороны приехали барон Тейлор, Эдмон Абу, Мейсонье, сестры Броан, Го и даже Маке. Могила была вырыта рядом с могилами генерала Дюма и Мари-Луизы Лабуре¹.

После всех речей несколько слов сказал Дюма-сын: «Мой отец всегда хотел покоиться здесь. Здесь у него остались друзья, воспоминания, и это его воспоминания и его друзья встретили меня здесь вчера вечером, когда столько преданных рук тянулись к гробу, чтобы сменить носильщиков и самим отнести в церковь тело их великого друга... Я хотел бы, чтобы эта церемония была не столько скорбной, сколько праздничной, не столько похоронами, сколько воскрешением...»

Какая удивительная смесь людей и событий: нормандский маркиз, черная рабыня, трактирщик из Валуа, швед, помешанный на театре, помощник начальника канцелярии — знаток литературы, учитель, интересующийся историей, романтическая эпоха, демократическая пресса... И все это вместе дало жизнь величайшему рассказчику всех времен и народов.

¹ На четвертой надгробной плите теперь можно прочесть: «Жаннина д'Отерив, урожденная Александр-Дюма (1867—1943)».

ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ
БОГ — СЫН

Приобщил ли ты Дюма-сына к культу искусства? Если это так, то ты великий волшебник.

*Гюстав Флобер
Письмо к Фейдо*

Старого бога-сатира не стало. На его месте публика увидела благородного и столь же могучего человека, который унаследовал его славу. В сознании народа «Три мушкетера» были почти неотделимы от «Дамы с камелиями». Апофеоз отца стал апофеозом сына: он пользовался огромным престижем. Война 1870—1871 годов и разгром Франции разожгли гнев моралиста и дали ему новую пищу. Как Ренан, он станет теперь объяснять поражение упадком нравов. В своих пьесах он будет клеймить пороки времени, а в своих эссе предлагать от них лекарство. Он станет светским национальным пророком.

15 июня 1871 года он писал в газете «Сарт»: «Необходимо, чтобы Франция сделала могучее усилие, чтобы воля и энергия всех французов слились воедино, чтобы весь народ жил одной мыслью — неотвязной, маниакальной — оправдаться перед внешним миром, залечить раны внутри страны. Необходимо, чтобы Франция обрела себя на лишения; чтобы она была собранной, скромной и терпеливой; пусть работает отец, пусть работает мать, пусть работают дети, пусть работают слуги — до тех пор, пока не будет восстановлена честь семьи. А когда во всем мире услышат шум этого усердного и неустанного всеобщего труда и кто-нибудь спросит: «Что это за шум?» — надо, чтобы каждый мог ответить: «Это Франция трудится ради свободы и благоденствия».

Самое трудное для моралиста — жить согласно своей морали. Частная жизнь Дюма была далека от его идеала. Без сомнения, он любил своих дочерей; у него

были верные друзья, но Надежда — нервная, раздражительная, ревнивая и вспыльчивая — перестала быть для него настоящей подругой. Многие женщины, и нередко очаровательные — претендовали играть в жизни человека, слывшего лучшим знатоком женского сердца, ту роль, которую больше не могла играть его законная жена. Львицы ласкали укротителя. Дюма сопротивлялся, а если и уступал натиску, то это совершалось в такой тайне, что о его слабостях почти ничего неизвестно. И все же искушений было более чем достаточно. И некоторые искусительницы были прелестны. Один из наиболее интересных случаев — это история его отношений с Эме Декле.

Глава первая

ЭМЕ ДЕКЛЕ И «СВАДЕБНЫЙ ГОСТЬ»

Что делаешь ты на поверхности,
О женщина из бездны?

Жюль Сюпервьель

Бывают актрисы, которые начинают свою карьеру блестяще, но никогда не достигают высоты гения; другие же после бледного дебюта расцветают в пламени страстей и изумляют критику. Такова была история Эме Декле. Дочь адвоката, она выросла в среде крупной буржуазии и воспитывалась, как все девицы ее круга. Но ее отец, запутавшись в делах, разорился. Надо было на что-то жить. Красивая Эме Декле была превосходной музыкантшей и могла бы стать певицей; она решила, что ей будет легче добиться успеха на драматической сцене. Она поступила в Консерваторию, но училась кое-как и, выступая на конкурсном экзамене в роли графини из «Женитьбы Фигаро», не получила никакой награды. Ее изящная фигура понравилась жюри, но красивые глаза ничего не выражали, — ей недоставало огня. И все же Монтиньи взял ее в Жимназ за красоту, надеясь, что она сможет дублировать Розу Шери в «Полусвете». Она не имела никакого успеха. Казалось, всем своим видом она говорит: «Не знаю, зачем я сюда пришла». Неприязнь публики, автора и товарищей озлобила этого балованного ребенка. Она ушла из Жимназ в Водевиль, потом, ожесточившись, опускалась все ниже и дошла до

того, что стала выступать полуобнаженная в каком-то ревю на сцене Варьете.

Ей было 23 года; она была очаровательна и окружена поклонниками. Она решила оставить театр и жить за счет своих обожателей. Зачем перегружать себя трудной и неблагодарной работой, когда столько мужчин предлагают ей состояние только ради того, чтобы удостоиться ее благосклонности? Она меняла одного любовника за другим; ее остроты стали цитировать, она прослыла одной из самых умных женщин Парижа. В 1861 году смерть Розы Шери, казалось, открыла ей возможность вернуться в театр на видные роли, но она уже чувствовала себя оторванной от искусства. Она исколесила весь мир; переезжала из Бадена во Флоренцию, из Спа в Санкт-Петербург. Многие женщины легкого поведения завидовали ей, однако после исполнения очередной прихоти ее прекрасные разочарованные глаза словно говорили: «Нет, это все еще не то». На костюмированном балу, который устроили артисты Жимназ и куда она явилась в костюме маркитантки, она встретила Александра Дюма-сына в костюме Пьеро. Это был грустный маскарад. Ни он, ни она не веселились. Она показалась ему ослепительной, рассеянной, мечтательной. «Она походила, — сказал он, — на принцессу из сказки, которую преследует злая судьба и которая ждет принца-избавителя».

«Я испытала, — сказала она ему, — какие-то удовольствия, какие-то радости, но никогда не знала счастья».

В 25 лет она пережила кризис и решила уйти в монастырь. «Священник, которому, по-видимому, была неизвестна притча о заблудшей овце, оттолкнул меня, сказав, что я недостойна войти в дом Божий...» Наскучившая (как в свое время Жюльетта Друэ и Мари Дюплесси) капризами богатых покровителей, она решила снова пойти на сцену и стать независимой. Она вернулась в театр смирившаяся, готовая терпеть и покоряться, готовая играть самые маленькие роли. Но актрисе нелегко бороться с дурной репутацией. Ее не приняли всерьез. Никто не предложил ей помощи. Что делать? Отправиться в турне? Директор одного из театров, Мейнадье, увез ее в Италию и доверил играть лучшие женские роли в пьесах Дюма-сына. «Группа Мейнадье привезла к нам сюда красотку Декле, — писала Бертону его мать. — Ты не представляешь себе, какие она сделала успехи...»

Игра Декле отличалась теперь искренностью, ибо она страдала. В Италии она имела огромный успех как у публики, так и в свете благодаря своему обаянию, изяществу, уму и таланту. Дюма-отец, находившийся тогда в зените своего гарибальдийского приключения, открыл ей в Неаполе «свои объятия, свое сердце, свой дом».

Эме Декле — Дюма-сыну: «Я представила неаполитанцам всех обаятельных женщин, созданных Вами; меня превозносят до небес. Мы часто говорим о Вас, и я от всей души благодарна Вам за то счастье, которое выпало на мою долю...»

Продолжая работать без устали, она вела в Италии с 1864 по 1867 год все такую же бурную жизнь и по-прежнему искала «принца» — человека, который мог бы ее спасти. Но пропасть между ее сокровенными желани-ями и ее образом жизни становилась все глубже. В 1867 году импресарио Декле привез ее в Брюссель, где она снова стала играть Диану де Лис в театре Галери Сен-Юбер. Она написала Дюма-сыну, который в то время также находился в Брюсселе в связи с тем, что в театре Парка начали репетировать «Друга женщин», и просила его прийти ее посмотреть. «Везде говорят, что я делаю успехи, но я не поверю в это, пока не услышу Вашего мнения...» Он пришел скорее из вежливости, чем из любопытства, и без всякой надежды. Но стоило ей пробыть на сцене пять минут, как он, к своему великому изумлению, открыл в ней большую артистку. «Необычный, протяжный, чуть гнусавый голос, напоминавший пение арабов, вначале казался монотонным, потом захватывал. У нее была изящная фигура, гибкая талия (она не носила корсета) и большие черные глаза; ее лицо отражало внезапные переходы от нежности к ярости, а под искусственным румянцем можно было угадать мертвенную бледность от внутреннего страдания. Худые плечи, грудь почти плоская — короче говоря, это была одна из тех женщин, о которых все другие говорят, что она безобразна, и рядом с которой все красавицы кажутся ничтожными...»

Он пошел поздравить ее и как только вернулся в Париж, заявил Монтињи, что тот должен немедленно пригласить Декле в Жимназ. Монтињи не проявил энтузиазма: Дюма говорил, как о новой Дорваль, об актрисе, от которой у него, директора театра, осталось очень бледное воспоминание. Он предложил ей ангажемент на довольно невыгодных условиях. Дюма просил Декле

принять их, обещая, что напишет для нее новую пьесу. Она ответила, что Париж внушает ей страх, что за границей она уверена в обожании публики, что там она играет, как считает нужным, без наблюдения и без контроля, что ей нравится жизнь богемы и что, кроме того, парижане найдут ее безобразной, глупой и т. д.

Дюма-сын — Эме Декле: «Вы не старая, не безобразная, не глупая; Вы женщина, а это значит — существо нервное, изменчивое и нерешительное. Стоит Вам совершить какой-нибудь поступок, и Вы сразу же спрашиваете себя, то ли Вы сделали, что нужно, и любопытство побуждает Вас испытать новое ощущение, которое даст тот же результат, что и предыдущее. Теперь Вы спрашиваете себя, стоит ли Вам в самом деле поступить в Жимназ, и, должно быть, Вы будете довольны, если кто-нибудь внушит Вам другое желание, чем то, что было у Вас вначале. Не рассчитывайте на меня. Поскольку мы начали откровенный разговор, то уж поставим все точки над «i». Знайте же, почему я интересуюсь Вами лично и Вашим талантом. Вы не только не слишком старая и не слишком безобразная для того, чтобы играть в моих или еще чьих-то пьесах,— Вы как раз находитесь на той ступени, на которой женщина, уже десять лет пребывающая на подмостках, может и должна стать артисткой. Время от времени Вы грустите, и это происходит оттого, что Вы переживаете сейчас ту фазу жизни, когда человек уже чаще оглядывается назад, не решаясь смотреть вперед; Вы спрашиваете себя, не были ли Вы призваны Вашим инстинктом, Вашим вкусом, Вашим умом, Вашей душой к тому, чтобы заниматься совершенно другим делом. Быть красивой женщиной, выступать на сцене то здесь, то там, иметь одного или нескольких любовников, выходить на вызовы публики после четвертого акта, расточать свою красоту, неизменно держа на замке свое сердце, до той поры, пока отыщется человек, достойный отомкнуть шкатулку,— а он никогда не отыщется,— все это может продолжаться какое-то время, может создавать иллюзию, заменяя действительную жизнь внешней суетой, но это не может длиться вечно. Наступает момент (и Вы подошли к нему), когда человек оглядывается назад, когда он спрашивает себя: «Для чего все это?» — когда он насчитывает на своем пути уже немало похорон всех разрядов, когда упряжь кажется ему тяжелой, когда он сокрушается о несбывшихся мечтах, когда его отчаяние нашептывает ему: «Слишком поздно!» И вот как раз в этот момент натуры поистине закаленные обретают новую силу, преображаются, возрождаются — это период метаморфозы...

Теперь, вместо того, чтобы оставаться кочующей актрисой провинциальных и заграничных театров, которой перепадают лишь крохи после парижских премьер, Вы должны стать на твердую почву, сделаться мыслящей и увлеченной артисткой. Когда же Вам посчастливится напасть на пьесу, где Вы обнаружите свои личные впечатления, свой опыт, свои интимные чувства, Вы достанете из шкатулки Ваше сердце, до тех пор дремавшее, и отдадите его на растерзание публике, а она потом вернет его Вам целым и невредимым для другого Вашего творения. Это не то счастье, мечту о котором Вы лелеяли в тайниках Вашей души, это не абсолютное благо, но уже и не зло. Вы будете воздействовать на ум, на

чувства, на порывы, на самые благородные побуждения человеческой души. Ваши средства — нечто мимолетное, неуловимое, но действие их будет долгим, подобно действию солнечного луча или капли дождя, упавших в надлежащее время. Кто любит, тот знает, чего он хочет; тот, кого любят, чувствует, что не ради одного только наслаждения — большего или меньшего — один живой труп отдается другому живому трупу в пароксизме самовоспроизведения. Вы не ожидали этой маленькой лекции. Я прочел ее Вам, ибо считаю, что Вы способны понять ее и достойны выслушать. Вы как раз достигли той самой точки, так не упустите момента. Вы сейчас на перекрестке, откуда расходится множество путей, — выберите правильный, то есть тот, который я Вам указываю. Вы скажете мне спасибо, когда действительно будете старухой...»

В этой тираде была известная доля великолепной самоуверенности господина де Риона или Оливье де Жалена, но в основе своей она была искренней.

Декле повиновалась. Она возвратилась из Флоренции и отправилась с визитом к Монтињи. Тот был разочарован.

— Что это за женщину вы заставили меня принять в театр? — спросил он у Дюма. — Она явилась ко мне в шерстяном платье в серо-зеленую клетку, в плаще со сборчатым капюшоном, какие носят нормандские крестьянки... Помилуйте! Меня страх берет. Никогда ей не быть ни Дианой де Лис, ни Фру-Фру!

— Терпение, терпение, — отвечал Дюма. — Вы еще увидите.

Он был прав: новый дебют Декле стал ее триумфом. Дюма-сын после нескольких репетиций возвратился к себе в Пюи. Напрасно Декле послала ему очаровательное письмо, прося его присутствовать 1 сентября 1869 года на премьере.

Эме Декле — Дюма-сыну: «В среду в Жимназ дают прекрасную пьесу; небо затянуто тучами; самое время ходить в театр. Все больше и больше шумят о дебюте молодой актрисы; газеты в один голос объявляют ее очень милой. Будто бы в горле у нее — музыкальный инструмент. Те, кто слушал ее, хотят услышать вновь. Неужели это правда? Человек, который зайдет к Вам в Пюи и передаст это письмо, обещал мне привезти Вас, но можно ли верить обещаниям этого человека? Господин Александр Дюма-сын, я Вас люблю.

Ваша маленькая служанка

Эме Декле».

Он не приехал. Она послала ему полный отчет:

«Свершилось. Уф! Я появлялась на сцене в красивейших платьях всевозможных цветов, с плюмажем в волосах, который де-

лал меня похожей на дрессированную собачку. Зал был набит до отказа... Весь вечер я щупала свой пульс — не учащен ли он, — ничего подобного, он был спокойный и ровный. Ни тревоги, ни страха, ни радости — ничего. Мне казалось, я возродилась к новой жизни; и вот опять пустота. О я несчастная! После спектакля директор сказал мне: «Получилось не хуже, чем у Розы». Это немалый комплимент. Он хотел, чтобы я, не сходя с места, продлила контракт... Короче говоря, г-н Монтиньи собирается Вам писать, потому что сама я ничего толком не знаю, кроме одного: мне доставляет несказанное удовольствие беседовать с Вами, мой нежный духовник...»

Возобновление «Дианы де Лис» закрепило успех Декле. «Какая метаморфоза! — писали критики. — Теперь это говорящая душа». Ее хвалили за верность тона, прелесть неожиданных переходов, безукоризненную технику. Говорили, что она много работала, пережила жестокие потрясения и что знание театра позволило ей «продемонстрировать свой суровый жизненный опыт». Дюма, гордый своей находкой, стал ее духовником. Ей хотелось бы большего: «Я так сильно и так давно люблю Вас...» Но он боялся любви из благодарности, которая кончается размолвкой; он поддерживал отношения на уровне нежной дружбы. Она не чувствовала себя оскорбленной и даже благодарила его за то, что он отверг в ней любовницу и сохранил друга. «Как хорошо, что все устроилось таким образом! Мне не доставило бы ни малейшей радости предложить Вам жалкую рухлядь — тело старой женщины, но я испытываю бесконечное блаженство, любя Вас всей душой...» Этой старой женщине было тридцать лет.

Она не знала счастья.

«Если не считать те годы страданий, когда я была девой радости, хотя и казалась благовоспитанной девицей, — с тех пор как я сбежала с этой галеры, мне не на что и не на кого жаловаться. Сколько женщин на моем месте благословляли бы небо! Я чувствую себя хорошо; зал каждый вечер полон, цветов и оваций столько, что они могли бы насытить всех театральных минотавров — и что же? Мне все это безразлично... Как бы там ни было, этим относительным счастьем, отсутствием малейшей тревоги, независимым положением — всем этим я обязана Вам... Кроме того, нравится это Вам или нет, мне кажется, что я люблю Вас больше всего на свете...»

Он был бы рад, если бы мог стать для нее «принцем», но он изверился в любви вообще, а в особенности — в любви автора и актрисы. «Я прошел весь свой путь, не нарушая этого тривиального запрета».

В театре, полагал он, есть порядочные женщины; есть и такие, что способны увлечься офицером, финансистом, атлетом, актером; но между автором и актрисой существует профессиональный барьер. Актрисы слишком заинтересованы в авторе, чтобы верить в искренность своей любви к нему; он же, столько раз видевший, как они играли трагедию, вполголоса перебрасываясь шутками со своими партнерами, в то время как зрители плакали,— он не может в своей частной жизни принимать всерьез те излияния, которые сам же корректировал из суфлерской будки. Он должен взволновать не сердце, а ум актрисы. За гранью сердца он вновь находит простодушие и искреннюю дружбу.

Декле утешала себя, измышляя роман, который мог бы сложиться у нее с Дюма-сыном; он же видел в ней только гениальную актрису, чье дарование должно было развиваться за счет подавленных страстей. Он рекомендовал ее своим друзьям Мельяку и Галеви на главную роль в пьесе легкого жанра, хотя и трогательной — «Фру-Фру». Она имела в этой роли необычайный успех и благодарила за него Дюма:

«Знаете ли Вы, чем я обязана Вам, дорогое мое Провидение? Во-первых, Вы меня придумали; во-вторых, были для меня поддержкой после всех моих неудач; Вы возвратили мне чувство собственного достоинства, уважение к себе. Расплатившись за проезд, я, несчастная Мария Египетская, брела ощупью в поисках дороги; Вы указали мне цель, и вот благодаря Вам я достигла ее. Многие люди, да и Вы сами, говорили мне, что меня считают богатой. Не знаю, откуда взялась эта басня. Я и богатство! Это не вяжется. Разве может женщина, подобная мне, сколотить состояние? Не бывает мужчин, которые дают по доброй воле, но бывают женщины, которые умеют заставить их давать... Я бедна и горжусь этим. Однако г-н Монтиньи прислал мне уже третий контракт, условия — превосходные. Итак — долой сплин, долой монастырь! Я зарабатываю на жизнь! А еще — я Вас люблю и умоляю: позвольте мне любить Вас, ибо если человеку обеспечен хлеб насущный, если желудок может спать спокойно, то его сосед — несчастное сердце переживает жестокий кризис. Огромное напряжение, необходимость тратить себя каждый вечер не только не утомляют его, а, наоборот, возбуждают. Любовный угар доходит у меня до мозга, дурманит меня, и слова любви готовы сорваться с моих губ. Я испытываю такую жажду нежности, ласки, что мне страшно. Это маленькое тощее тело таит в себе неисчерпаемые богатства, они душат меня. Кому отдать их? Кому они могут быть нужны? Их не оценят по достоинству. «Эти люди недостойны Вас», — не раз говорили Вы мне. Я верила этому; потом упрекала себя в гордости, в высокомерии и заставляла себя снизойти до какого-нибудь фата; но очень скоро я приходила в себя, во время вспомнив Ваши слова. Наконец-то я свижусь с Вами и Вы

поддержите меня, ибо я хочу и впредь быть достойной Ваших благодеяний...»

В промежутках между спектаклями эта знаменитая и одинокая женщина жила за городом в обществе своих птиц, своего пуделя и своей старой служанки Цезарины. Она чувствовала себя несчастной, никому не нужной; ее переполняло горячее желание отдать себя кому-нибудь. Она просила Дюма вернуть ей силы и волю.

«Вы испытываете на себе теперь неизбежные последствия, логически вытекающие из положения независимой женщины — для женщины самого тягостного. Женщина рождена для подчинения и повиновения: сначала родителям, затем — мужу, со временем — ребенку, и всегда — долгу. Когда по собственному побуждению или под дурным влиянием окружающих она выходит за рамки своих естественных обязанностей, когда она совершает акт освобождения, то, если она по натуре своей порочна, она будет все больше и больше деградировать, пока не погибнет, истощив свои силы в разврате. Если же ее просто свели с пути, если она просто не устояла, то наступает минута, когда она вдруг чувствует, что у нее есть другое назначение, когда она страшится бездны, в которую увлекает ее стремительное падение, и когда она зовет на помощь...

...Так думают и говорят женщины в Вашем положении, и коль скоро в пределах их досягаемости или в поле их зрения оказывается мужчина, который не вполне походит на окружающих и который еще вырастает в их глазах из-за охватившей их экзальтации, они восклицают: «Вот он — спаситель, мессия! Спасите меня! Спасите меня!» Я не безумец и не Бог и потому не могу быть ни Вашим любовником, ни Вашим спасителем. Вы хотели бы ребенка. К счастью, Вы не можете его иметь, ибо для Вас его появление на свет было бы весьма кратковременным развлечением, для него же — весьма большим несчастьем.

Дети становятся мужчинами — женщины не думают об этом ни когда они хотят детей, ни когда они их производят на свет... Вы бесплодны, тем лучше. Вы не подарите жизнь ни развратнику, ни несчастному...

Что Вам остается делать? Вам остается пользоваться преимуществами той жизни, которую Вы себе устроили. Вы еще молоды, Вы красивы... Вы обладаете большим запасом жизненных сил... у Вас самый обворожительный голос, Вы очень умны. Будьте кокетливы, предельно кокетливы — это и послужит Вам развлечением, станет Вашей защитой и Вашей мстью и, поскольку Вы обладаете настоящим талантом, очертя голову бросайтесь в работу... Воспользуйтесь своей независимостью, чтобы никогда больше не продавать себя, и старайтесь никому не жертвовать собой...

В заключение, дорогое дитя, скажу Вам: человек не меняется, он приспособливается к жизни. Приспособьте к жизни все свои достоинства и недостатки... Станьте большой артисткой, то есть человеком, чье сердце — в голове, а душа — в голосе, человеком, который играет на людских чувствах, как на инструменте. Оставайтесь, наконец, «роскошной женщиной», по Вашему выражению, все более и более шлифуя себя в обществе людей интеллигентных, в среде которых Вы может жить. Короче, не пытайтесь

стать Лукрецией или Магдалиной. Довольствуйтесь тем, чтобы днем быть Нинон, вечером — Рашелью. Это будет прекрасно...»

Это был не добрый совет, но добрых советов не бывает. Никто не знает, что потребно другому, никто не может навязать другому определенный образ жизни. Иногда влияет пример, но стареющий писатель не может служить примером для молодой женщины, умирающей от тоски. Ею снова овладевает прежний демон, принявший облик человека из «высшего света», высокого, белокурого, с маленькой бородкой, сильного, мужественного.

Декле — Дюма-сыну: «Наконец-то, мой добрый духовник, я перестала быть ангелом... Теперь я думаю, что целомудрие несовместимо с моей профессией. Да и к тому же я слишком похудела...»

Добрый духовник ответил на это, как сделал бы Виктор Гюго, — доброжелательным нравоучением, не лишенным ораторского пафоса.

Дюма-сын — Эме Декле: «Ах, бедная душа, как ты бьешься!.. Насколько сильнее тебе хочется плакать, чем смеяться, и как хорошо ты знаешь, что все это обман!.. Ты потеряешь теперь первые перья из твоих крыльев, только начавших отрастать. А ты еще всерьез намереваешься уйти в монастырь. Зачем? Ты там не останешься. К тому же для человека, у которого есть воля, всюду монастырь. Настоящий монастырь — это уважение к себе. Здесь не нужны ни решетки, ни замки, ни исповедальни, ни священники. Ты не любишь человека, которому отдалась, и хочешь оправдать себя, насмехаясь над ним! Люби его по крайней мере, иначе запахи твоей постели — благоухание, когда есть любовь, зловоние — когда ее нет, — одурмят тебя и, проснувшись в одно прекрасное утро, не зная, как выбраться из всей этой грязи, ты напишешь красивое письмо, где перечислишь все свои неосуществленные идеалы, и покончишь с собой. Это будет конец, а быть может, и начало...»

Жюльетта Друэ тоже однажды слышала обращенные к себе слова: «Мой ангел, у которого отрастают крылья».

Крылья беспомощно повисли, повисли навсегда, и Дюма перестал заниматься Декле. К тому же война и смерть отца на несколько месяцев отрезали его от Парижа. Но в октябре 1871 года он поручил Декле роль в одноактной пьесе, которую она называла «маленьким чудом» и которая по сей день сохраняет свою власть над публикой: «Свадебный гость». Пьеса отвечала одному из самых сильных чувств Дюма. Идею ее выражала фраза: «Вот все, что остается от адюльтера, — ненависть у женщины, презрение — у мужчины. Но тогда

зачем это?» Приблизительно то же выскажет позднее в «Парижанке» Анри Бек. Требовалось известное мужество, чтобы защищать этот тезис перед изрядно развращенным обществом, считавшим, что любовь до гроба, которая в глазах Дюма только и была настоящей любовью, невероятна и смешна. Влиятельный критик Франсис Сарсе возражал. «Зачем? — повторял Сарсе вопрос Дюма. И отвечал: — Ах, да хотя бы затем, чтобы быть счастливым полгода, год, десять лет — сколько-нибудь». Он восхищался твердостью руки, мастерством воплощения; он лишь упрекал Дюма в цинизме: «Его недостаток заключается в том, что он не любит женщин или — если хотите — Женщину. Для него она не что иное, как объект для вскрытия... Все это сухо, как веревка повешенного».

Диагноз был точный. Дюма-сын не любил женщин: на одних он жаловался, других осуждал, что касается актрис, то они были для него только исполнительницами. Ему важно хорошо изучить женщину, чтобы добиться от нее, как от актрисы, нужных ему акцентов. Какое дивное искусство театр — оркестр из живых инструментов, палитра из трепещущих красок! Героиня «Свадебного гостя» Лидия, возмущенная трусостью своего бывшего любовника, который оставил ее, чтобы жениться, но был готов обманывать с нею свою жену, обмахивается носовым платком, словно ей нечем дышать, потом вытирает рот и бросает платок на стол с возгласом «фу!». После этого она говорит: «Ах, если бы раньше знать то, что я узнала потом!.. Фу!.. Надо избавиться от этого господина, не так ли? Никогда больше не слышать о нем, считать его мертвым, забыть, что он когда-либо существовал! Мне не хватает воздуха! Я задыхаюсь!.. Никогда не думала, что можно так презирать человека, которого так любила...»

Это «фу!» на репетициях Декле произносила «поверхностно». Дюма настаивал, чтобы она нашла «в самой глубине своего нутра» тот возглас, которого он от нее ждал. Она противилась, ибо чувствовала, что это будет для нее физиологическим потрясением.

«Однажды, когда задета была только актриса, а женщина молчала, у нас происходила настоящая борьба. Она страшилась того состояния, в какое ее повергла бы на весь остаток дня интонация, которой я от нее добивался, и с помощью всевозможных уловок от этого увиливала. Я не уступал, и в конце концов она исторгла из своего нутра нужный мне крик, — я знал, что найду

его там. «Нате, вот он, ваш крик,— сказала она мне усталым голосом,— Вы ведь знаете, откуда он исходит? Вы убиваете меня!» — «Какое это имеет значение, раз спектакль получается?» Тогда она в полуобмороке опустилась на стул, держась руками за сердце. «Он прав,— сказала она через несколько секунд,— так и надо со мной обращаться; иначе я ни на что не буду годна...»

Крик, вырванный автором у актрисы, был вознагражден тремя взрывами аплодисментов и вызовом после ее ухода со сцены в середине акта. И он и она хорошо знали, каков источник этого рокового «фу!»: отвлечение к прошлому, которого она стыдилась; ужас, внушаемый ей мужчинами, ее недостойными; муки души униженной, тщетно сопротивляющейся унижению. Декле «пачкали, обливали грязью, позорили, оскорбляли». Из этого прошлого она слепила в конце концов произведение искусства. Но прежних страданий было бы недостаточно. Требовался огромный труд. Интонация была найдена; работа должна была закрепить ее. Искусство театра требует этой бесчеловечной химии, сердце здесь дает пищу ремеслу.

Эдмон Абу — Дюма-сыну, 10 ноября 1871 года: «Ах, друг мой, какой Вы восхитительный художник!

Я читал и перечитывал Вашу пьесу и все же не знал ее, ибо как нельзя более верно, что подлинные драматические произведения рождаются только в свете ramпы! Рукопись очаровала меня — спектакль потряс. Эта Декле — я видел ее впервые — вначале показалась мне уродливой, худой, вульгарной, а голос ее — сиплым; но через несколько минут это была уже не она, а нечто в тысячу раз более значительное и прекрасное — Ваша пьеса в сером платье...

Моя жена и я были одни в ложе бенуара; как эгоисты, мы не хотели делиться впечатлениями от такого спектакля с людьми равнодушными. Мы вышли из театра ошеломленные. Алекс сказала: «Твой друг устроил бал на полторы тысячи человек на туго натянутом канате,— я спрашиваю себя, каким чудом мы все не сломали себе шею; но это не имеет значения — я довольна, что пошла туда». Что касается меня, то я пока еще не рассуждаю и не размышляю; мне кажется, что на меня хлынул целый поток мыслей, что я попал в водоворот и опомнюсь не сразу. В ожидании этой минуты я наслаждаюсь вполне бескорыстной радостью, какую испытывает всякий честный человек, встретив личность более значительную, чем он сам, более значительную, чем все остальные,— совершенный ум, который природа творит один раз в пятьдесят лет...»

Это письмо характерно: в 1871 году Дюма-сын считался непогрешимым. У него самого было ощущение, что он выполняет некую священную миссию. Модной тогда художнице Мадлен Лемер, которая попусту рас-

трачивала силы своей души, он с невероятной суровостью писал:

Дюма-сын — Мадлен Лемер: «Вы, без сомнения, наиболее достойны жалости из всех, кого я знаю. Письмо, которое я получил от Вас, новое тому доказательство. У Вас слишком мужской ум, чтобы Вы могли довольствоваться тем, чем довольствуется большинство женщин, но Вы и слишком женщина для того, чтобы не интересоваться этим вовсе. В итоге Вы сердитесь на женщин, чувствуя или понимая, что они счастливее Вас, и сердитесь на мужчин, не сумевших дать Вам счастье, на которое Вы, по Вашему мнению, имеете право.

Отсюда та внутренняя горечь, которая пробивается сквозь Вашу напускную веселость, выражая себя иронией и подчас злословием, не достойным такого изысканного ума, как Ваш. Ибо в виде возмещения Вы получили от природы чрезвычайно изысканный ум, чрезвычайно широту взгляда и восприятия.

С Вами можно говорить обо всем. Вы способны все понять, хотя Вам и не дано все воплотить в Вашем творчестве. Вы — художник до кончиков Ваших красивых пальцев, и Вы цепляетесь за работу, чтобы не впасть в отчаяние или в разврат, каковой есть не что иное, как отчаянье плоти. Вы испробовали многое, но все это опротивело и наскучило Вам, не дав того, что, казалось, сулило поначалу. Короче, Вы находитесь на распутье, которое лесники называют звездой. Десять дорог разбегаются в разные стороны от того места, где Вы стоите, словно спицы колеса, которые лучами расходятся от ступицы к ободу и, как быстро ни вертелось бы колесо, никогда не сойдутся.

У Вас слишком много таланта, и Вы слишком пристрастились к работе, чтобы позволить теперь любви занять в Вашей жизни первое место. Ибо любовь, будучи одним из начал, хочет быть полновластной хозяйкой и, подобно Цезарю, предпочитает быть первой в провинции, нежели второй — в Риме. Любовь ради развлечения — не любовь. Это флирт, и Вы достаточно много занимались им, чтобы знать, какое омерзительное чувство и какую пустоту он оставляет в душе. Вы не можете теперь отдаться свободно, душой и телом, как хотят и как должны отдавать себя те, кто любит по-настоящему. Обязательства перед обществом, которые Вы взяли на себя, заставили бы Вас любить урывками, в определенные часы и в определенном месте, с определенными ограничениями. Ваш разум, а иногда и чувство собственного достоинства подсказывают Вам, что этого недостаточно и что это грязь. Если бы Вы обладали чувственностью, то довольствовались бы этими мелкими радостями при условии частого их повторения, но Вы лишены чувственности, Вы томитесь тоской, которая характерна для женщин Вашего склада.

Что же должно служить Вам точкой опоры? Много ума и немного чувства. Чем можно удовлетворить и то и другое? Первое — работой, второе — ребенком. Вот почему я посоветовал Вам заняться Вашими картинами и Вашей дочерью. Ваша жизнь быстро обретет весомость, которой Вы еще не знали и которая, не мешая Вам смеяться, сделает Ваш смех более искренним и более веселым... Вы займете место среди значительных людей нашего времени. Это самый почетный выход. И тогда Вы, без сомнения, встретите на своем пути ту большую мужскую дружбу, которая

обычно венчает судьбу подобных женщин и которая поднимает их на такую высоту, куда не достигают уже ни глупость, ни пошлость, еще окружающие Вас сегодня и мешающие Вам жить.

Вот Вам моя лекция, прекрасный друг. Она, быть может, чересчур торжественна, но она основана на множестве уроков, которые мне преподала жизнь и которыми я время от времени охотно делюсь с дорогими мне людьми — к их числу принадлежите и Вы».

Эта высокомерная и любвеобильная суровость не отталкивала кающихся грешниц.

Глава вторая

ОТ «КНЯГИНИ ЖОРЖ» ДО «ЖЕНЫ КЛАВДИЯ»

Бедствия Франции довершили превращение Дюма в апокалипсического пророка. Он склонился «над котлом, где плавятся души», — Парижем — и увидел, как из бурлящего города вышел зверь с семью головами и десятью рогами. Этот зверь держал в своих руках, белых, как молоко, «золотую чашу, наполненную мерзостями и нечистотою» Вавилона, Содома и Лесбоса... А над десятью диадемами, среди всяческих «имен богохульных», ярче всех других пылало слово *проституция*...

Большинство людей одержимо какой-нибудь одной навязчивой идеей; врач обычно усматривает в любой болезни именно ту, которую открыл он сам.

Начиная с 1870 года Дюма обдумывал пьесу, где намеревался изобразить ученого — патриота и честного человека; его предаёт распутная жена — она похищает у него одновременно честь и тайну государственной важности. Поскольку эта женщина должна была явиться новой Мессалиной, мужу надлежало зваться Клавдием, жене — Цезариной; пьеса называлась «Жена Клавдия». Развязка была отдана в руки Мстителя. Надо было, чтобы мужчина уничтожил Зверя, чтобы муж убил жену. Но в ту минуту, когда Дюма собирался написать вверху чистого листа бумаги «Действие первое, сцена первая», ему внезапно представилась совершенно другая пьеса: безупречная женщина вышла замуж за слабого человека, который позволил авантюристке увлечь себя. Муж последней узнает, что у нее есть любовник, и клянется убить его. Княгиня Жорж де Бирак

(имя героини) знает, что граф Термонд (оскорбленный супруг) ждет в засаде человека, который должен прийти к его жене. Надо молчать; пусть Бирак отправится на это свидание со смертью — она будет отомщена, не подвергаясь ни малейшей опасности. Преступление без страха и упрека.

Но она предпочитает спасти и простить своего преступного мужа.

Именно эту пьесу, направленную против мужской измены, Дюма написал первой, в течение трех недель. В ней были две прекрасные женские роли — роль княгини Жорж Северины, которую получила Декле, и роль авантюристки Сильвании де Термонд, которую сыграла Бланш Пьерсон — обольстительная юная креолка, уроженка острова Бурбон; в то время она кружила всем головы. Красавец Фехтер, влюбившись в нее, руководил ее карьерой. Жокей-клуб в полном составе являлся рукоплескать ей. До «Княгини Жорж» Дюма считал ее актрисой тонкой и необыкновенно красивой, но мало одаренной. Здесь она внезапно стала «улыбающейся, дерзкой, бесстрашной и безжалостной самкой» — воплощением «вечной женственности», как ее понимал и живописал Дюма, невзирая на протесты самих женщин. «Тот, кто видел на сцене м-ль Пьерсон, никогда не забудет ее пышные волосы, казавшиеся прихотливым сплетением солнечных лучей, ее лазурные глаза с металлическим отсветом, сиявшие из-под аркады бровей, словно солнечные блики на льду пруда, ее прямой и тонкий, как у танагрских статуэток, нос. Ее обнаженные плечи были усыпаны бриллиантами. Ни рубины, ни сапфиры, ни изумруды не нарушали белизны этого мистического существа, которое словно было соткано из прозрачного света меркнувшей луны и первых лучей зари... Прибавьте к этому пружинящую походку, мелодичный голос, тон которого, впрочем, не менялся, чтобы казаться таким же непроницаемым, как лицо, взгляд затуманенный, блуждающий, озирающий все вокруг, словно для того, чтобы увидеть, с какой из четырех сторон может явиться враг. И стоит ей заметить врага или только почувствовать его присутствие, как взгляд ее становится пристальным, пронизывающим, будто хочет просверлить точку, в которую устремлен. Никогда еще я не видел, чтобы человек и персонаж до такой степени сливались воедино...»

Чем можно было объяснить это чудо? Дюма дает понять, что Бланш Пьерсон скрывала под своей совершенной красотой ту же холодность, какую проявляла Сильвания де Термонд.

«Поднимемся,— говорил Дюма,— в уборную м-ль Пьерсон... Она снимает перчатки, чтобы протянуть руку тем, кто пришел ее поздравить... Возьмите эту руку и поднесите к губам... Пожмите ее — и вы будете удивлены. В чем дело? Эта детская ручка, ручка этой белокожей, белокурой, веселой красавицы в той же мере неподатлива и жестка, когда ее пожимаешь, в какой она нежна и шелковиста, когда к ней прикасаешься губами. Это еще не все,— она холодна, как хрусталь. А разве госпожа де Термонд не сказала вам только что: «*Руки у меня всегда как лед*»? Но ведь госпожа де Термонд и представляющая ее актриса — разные женщины. Кто знает? Что касается меня, то, когда я впервые коснулся этой руки, испытал то же волнение, что и вы, я в упор поглядел на женщину, давшую мне руку. Она поняла мой взгляд, расхохоталась и сказала: «Да, уж так оно есть!» Она сказала это с таким выражением, что, когда я писал роль госпожи де Термонд, я уже знал, где мне найти женщину, которая ее сыграет, и сыграет, как я впоследствии сказал актрисе, безусловно...»

В жизни между Эме Декле и Бланш Пьерсон установилось соперничество совершенно другого рода, но почти такое же страстное, как между Севериной и Сильванией. Речь шла о том, чтобы завоевать не мужчину, а публику. Как-то раз, когда Пьерсон в одной из пьес Дюма должна была выступить в роли, которую обычно играла Декле, последняя написала ей: «Дорогая Бланш, завтра ты будешь играть мою роль. Постарайся не затмить свою подругу Декле». На следующий день после спектакля Бланш получила еще одну записку: «Дорогая малютка Бланш, ты поистине чудесный товарищ. Это хорошо с твоей стороны. Декле». Зло и не лишено остроумия.

Дюма писал «Княгиню Жорж» для Декле. Это подтверждает его письмо к другу — хранителю Национальной библиотеки и рецензенту Комеди Франсез Лавуа; то же письмо показывает, что автор его, хотя он был тогда еще не стар, чувствовал себя уже больным человеком.

Дюма-сын — Анри Лавуа: «Полагаю, сударь, что Вы — а также госпожа Декле — окажетесь довольны теми тремя действиями, над которыми я тружусь в настоящее время. Ей будет на чем показать себя. Вещь обещает быть оригинальной, живой, а развязка ее — необычной. Я бы уже кончил ее, если бы моя башка не принималась время от времени вновь терзать меня, а с нею заодно все мои нервы — шейные, позвоночные, симпатические и про-

чие. Погода меж тем хорошая и весьма прохладная; но прежде я слишком много требовал от своей брэнной оболочки; теперь она взбунтовалась. В один прекрасный день я почувствую боль в виске ткнусь носом в стол, и все будет кончено. Сарсе наговорит обо мне кучу вздора, а «Иллюстрасьон» поместит мой портрет. А что потом?

Мне осталось написать всего одно действие. На это требуется не более суток. Однако эти сутки наступят лишь через несколько дней. Дожидаясь их, я намерен хорошенько попотеть, чтобы облегчить свой мзэг, и принять холодный душ, чтобы укрепить свой организм. Извольте обходиться со мной уважительно. Знайте: г-н Дюпанлу написал на днях письмо (я видел его) некоей даме — своей сестре во Христе, где заявил, что он прочитал «Взгляды госпожи Обре» и что там есть превосходные места!

Когда увидите Араго¹, передайте ему мои поздравления. Хорош он: ничего не скажешь. Старый метод. Мы учтивы с нашими врагами, отказываем в ордене (Полю) Шаба, который создал лучшие произведения прошлого года, имеет уже три медали и требует этот орден по праву, и подносим его художнику из Орнана, который считает нас прохвостами и бросит нам этот крест в лицо... Надо поощрять талантливых живописцев. Подденьте его немножко. Сделайте это для меня.

У нас все чувствуют себя хорошо, а Колетта — она цветет — на днях сказала мне забавную вещь. Я спросил ее: «Я собираюсь написать завещание. В случае, если мы все, кроме тебя, умрем, на чьем попечении хотела бы ты остаться?» Она подумала с минуты и заявила: «На попечении принцессы»².

Дюма всегда отдавал предпочтение Шаба перед Курбе, это была одна из его слабостей.

«Княгиня Жорж» имела успех. «Жена Клавдия» провалилась. Дюма говорил, что женская часть публики, которая, собственно, и есть публика, никак не могла согласиться с тем, что главный женский персонаж пьесы — чудовище, и еще менее с тем, что Клавдий Рюпе присвоил себе право убивать. «Публика не любит, когда убивают женщину... Она продолжает считать женщину хрупким и слабым созданием, которое в начале пьесы надо любить, чтобы в конце — жениться. Если она согрешила, надо ее простить; кто ее убивает, должен умереть вместе с ней...»

Даже Декле испугалась роли Цезарины, в чем призналась автору. В самом деле, пьеса эта немногочего стоит. Похищение секретных документов, происходящее в совершенно невероятных условиях, отдает плохим полицейским романом. Клавдий — более чем совершенство, Цезарина — более чем чудовище. В начале своего твор-

¹ В то время — министра.

² Принцесса Матильда Бонапарт,

чества Дюма использовал личные воспоминания, интимные чувства и соединял, создавая вполне приемлемый сплав, субъективный взгляд с объективной реальностью. Теперь же, одержимый несколькими отвлеченными идеями, он написал тенденциозную пьесу, не имевшую ничего общего с действительностью.

В «Жене Клавдия» он вывел одно лицо — еврея Даниеля, мечтающего о возрождении своего народа на земле Палестины. Хотя он был изображен с симпатией, многие зрители евреи заявили протест. В своем пылом французском патриотизме, особенно сильном в пору бедствий Франции (многие из них были эльзасцы), они и думать не хотели о другой родине.

Дюма-сын — барону Эдмону Ротшильду: «Если какой-либо народ сумел в десяти коротких стихах создать кодекс морали для всего человечества, он поистине может называть себя народом Божьим... Я задавался вопросом: принадлежи я к этому народу, какую миссию возложил бы я на себя? И в ответ я сказал себе, что мною всецело владела бы одна мысль — отвоевать землю моей древней родины и восстановить Иерусалимский храм... Именно эту мысль я и воплотил в образе Даниеля...»

Критика наравне с публикой невысоко оценила «сложную символику» «Жены Клавдия». Кювийе-Флери, критик академического толка, не лишенный таланта, распекал автора пьесы в «Журналь де Деба», взывая к божеским и человеческим законам, которые запрещают убивать. «Но что же мне тогда делать?» — спрашивал себя Дюма.

«Если я прощаю Даму с камелиями — я реабилитирую куртизанку, если я не прощаю Жену Клавдия — я проповедую убийство... Принято считать, что я представляю и прославляю на сцене только негодяев, мерзких выродков, что тем самым я потерял право говорить о добродетели и о чести, что не кто иной, как я, развратил современное общество, до меня оно-де было стадом белых овец, и довольно было пастушьего посоха, увитого розовыми лентами, чтобы направлять его от рождения до смерти. Я, мол, защищаю недоказуемые тезисы, а главное — в таком месте, которое создано для развлечения добропорядочных людей... Наконец, что я стал общественно опасным элементом, поскольку я нападаю на законы моей страны и дохожу до того, что рекомендую мужьям убивать своих жен...»

Кювийе-Флери спрашивал: «А по какому праву г-н Дюма рядится в тогу моралиста? Живет ли он сам в согласии с той моралью, которую проповедует? Имеет ли он право на то доверие, которым пользуется законодатель, прорицатель и судья?» Отвечая сам на им же за-

данные вопросы — обычный полемический прием, — Кювийе-Флери заявил: «Нет». Дюма возмутился. Почему нет? Только потому, что он не судья, не священник, не член академии? Но судьи и священники осудили на смерть Жана Каласа, — частное лицо, писатель Вольтер отомстил за убитого. По той же причине частное лицо, писатель Дюма, считал своим долгом говорить правду людям, собравшимся в театре. Мольер совершил свой подвиг — подвиг гения — без чьего-либо разрешения. Что касается его самого, Дюма, то он считал себя тем более вправе судить наши законы, что сам страдал от них. Адресуясь к Кювийе-Флери, он написал подробный рассказ о своей трудной жизни: об унижительном детстве внебрачного сына, об издевательствах товарищей по пансиону. «Родившись в результате ошибки, я был призван бороться с ошибками».

Затем он рассказывал о своей жизни с Александром Дюма-отцом:

«Вы, сударь, знали моего отца. Вы помните его жизнерадостность, его неизменную и неиссякаемую веселость, его расточительное отношение к своим деньгам, своему таланту, своим силам, своей жизни. Он сердцем восполнил те отцовские права, в которых ему отказал закон, и я стал его лучшим другом... Когда мне исполнилось восемнадцать лет, мы вместе с ним — его склонность к излишествам вступила в союз с моей молодостью и любознательностью — окунулись в светские развлечения, да и не только светские. Шокинг! Не правда ли?»

Но, ей-богу, пища для наблюдений есть повсюду, а в тех местах, где бывали мы с отцом, пожалуй, можно почерпнуть больше жизненной мудрости, нежели в пухлых философских трактатах...»

Тогда-то он и столкнулся с женщинами, которые сбивались с пути.

«Так как у меня не было состояния, которое я мог бы проматывать с этими женщинами, то к тем тратам, что были мне по карману, я добавлял немного жалости. Я сочувствовал отчаянию, принимал исповеди, видел, как среди всех этих фальшивых радостей текут потоки искренних горючих слез... Роман «Дама с камелиями» был первым итогом этих впечатлений. Когда я написал его, мне был двадцать один год...»

Он осмотрительно выбрал тему, которой собирался посвятить все свое творчество, ибо как раз на эту тему он мог сказать больше всего. Темой этой была любовь. Научные проблемы? Политические проблемы? В этих вещах он признавал себя некомпетентным. Нравственные проблемы, отношения между мужчиной и женщи-

ной? Вот здесь он почитал себя знатоком. Однако в театре он столкнулся со сложившимся положением вещей: там нельзя было показывать превосходство мужчины над женщиной. В театре женщина берет реванш у сильного пола, который угнетает ее в жизни. Она, всегда только она. Все ради любви и через любовь.

Дюма увидел, что он замкнут в этом круге. Напрасно пытался он из него выйти. В наделавшей много шума брошюре «Мужчина — Женщина» он переходил в наступление:

«Женщина никогда не уступает ни разумным доводам, ни доказательствам; она уступает только чувству или силе. Влюбленная или побитая, Джульетта или Мартина — другого ничего нет. Я пишу это исключительно для сведения мужчин. Если после этих разоблачений они по-прежнему будут заблуждаться в отношении женщин, я буду в этом неповинен и поступлю, как Пилат...»

Существует два типа мужчин: те, кто знает, что такое женщина, и те, кому это неизвестно. Первые встречаются редко; их долг — просвещать остальных. Своего сына (воображаемого, того самого Дюма-внука, которого Надин так и не произвела на свет) он поучал, что совершенная чета, мужчина — женщина, может быть создана, только когда соединятся два безупречных существа, дав друг другу нерушимую клятву в абсолютной верности. Он, знавший столько развращенных, лживых, или полубезумных женщин, советует сыну избрать жену набожную, целомудренную, трудолюбивую, здоровую и веселую, чуждую иронии.

«И если теперь, несмотря на все твои предосторожности, осведомленность, знание людей и обстоятельств, несмотря на твою добродетель, терпение и доброту, ты все же будешь введен в заблуждение наружностью или двоедушием, если ты свяжешь свою жизнь с женщиной, тебя не достойной... если, не желая слушать тебя ни как мужа, ни как отца, ни как друга, ни как учителя, она не только бросит твоих детей, но с первым встречным будет производить на свет новых; если ничто не сможет помешать ей бесчестить своим телом твое имя... если она будет препятствовать тебе выполнять Богом данное назначение; если закон, присвоивший себе право соединять, отказывает себе в праве разъединять и объявляет себя бессильным,— провозгласи себя сам, от имени Господа твоего, судьей и палачом этой твари. Это больше не женщина; она не принадлежит к числу созданий Божьих, она просто животное; это обезьяна из страны Нод, подруга Каина — убей ее...»

Такова была мораль Дюма-сына. Но драматург понимал, что теряет контакт с публикой. Он сошел со

своего треножника и написал «Господина Альфонса». Главную роль в этой пьесе он предназначал Декле, но актриса чувствовала себя очень плохо. Она жаловалась на боли в боку; некоторое время спустя врачи определили у нее злокачественную опухоль. Несчастливая женщина, уставшая от своих триумфов, с печатью близкой смерти на лице, искала теперь только покоя.

Эме Декле — Дюма-сыну: «Я подпишу контракт только в том случае, если Вы мне категорически прикажете, да к тому же Вам придется поддерживать мою руку. Видите ли, в конце концов я уйду в монастырь, это твердо — у меня навязчивая идея. Что мне здесь делать? К чему мне вся эта суета, ухищрения, бесполезные занятия, все это ремесло паяца?»

После провала «Жены Клавдия», сильно нуждаясь в деньгах, Декле дала тридцать представлений в Лондоне. Она вернулась оттуда без сил. «Я тону у самого берега», — сказала она. Ей прописали поездку на воды — в Сали-де-Беарн. Насмешка над умирающей! Последние дни жизни она провела в своей квартире на бульваре Мажанта, на четвертом этаже. Она ничего не могла есть. Лицо ее выражало теперь лишь самое жестокое страдание. «Покоя! — молила она. — Убейте меня!» Пейан считал операцию бесполезной. Декле была обречена. Священник, который исповедовал ее, сказал: «Это прекрасная душа».

Она умерла 8 марта 1874 года. Со дня похорон Рашиели Париж не видел ни такого стечения народа, ни такой всеобщей скорби. Тысячи людей остались за дверью церкви Святого Лаврентия. На кладбище Пер-Лашез Дюма-сын произнес речь: «Она трогала наши сердца, и это свело ее в могилу — вот и вся ее история...» Он закончил душераздирающей риторической фигурой: «Диана, Фру-Фру, Лидия, Северина! Где ты? Ответа нет. Закройте глаза, взгляните на нее последний раз очами вашей памяти — больше вы ее никогда не увидите. Вслушайтесь последний раз в далекий звук этого загадочного голоса, который обволакивал и опьянял вас, словно музыка, словно благовонное курение, — больше он никогда не зазвучит для вас».

Своей сопернице Бланш Пьерсон Декле завещала дорогой веер; Дюма она оставила другое наследство — достойный восхищения образец высокого искусства, питаемого всегда лишь подлинными чувствами.

Глава третья НАБЕРЕЖНАЯ КОНТИ

Дюма-сына спросили, кому он наследует в Академии. Он отвечал: «Моему отцу».

1873—1879 годы. Францией правят нотабли. Третья республика с самого начала своего существования оказалась более солидной, нежели Вторая империя, от которой даже в годы благоденствия попахивало авантюрой. В период президентства Адольфа Тьера власть принадлежала частью родовой аристократии, частью денежной олигархии. Средние классы под водительством Гамбетты только начинают завоевывать республику. Светская жизнь не утратила блеска; известные клубы — Жокей-клуб, Юньон — по-прежнему сохраняют свой престиж. Герои Дюма-сына еще не вышли из моды.

Сам Дюма-сын становится одним из персонажей своих драм. Журналисты, которые наносят ему визиты в его особняке на авеню де Вильер, 98, поражены «внутренним видом» дома. Строгий вестибюль кажется скорее порталом храма, чем входом в квартиру. Симметрично расставлены пузатые вазоны с экзотическими растениями. На потолке — чугунный фонарь, на стене — большое полотно Бонингтона «Улица Руаяль в 1825 году». Бюст Мольера. В столовой, обитой кордовской кожей, висят часы работы Буля. Стены гостиной, обтянутые атласом в золотую и красную полоску, обрамлены деревянными панелями. В рабочий кабинет льется поток света сквозь два больших окна, открывающихся в сад. Посреди комнаты — огромное бюро в стиле Людовика XIV. Океан бумаг загромождает бюро. В этом беспорядке есть свой порядок... Возле большого книжного шкафа вы видите восхитительную модель надгробия Анри Реньо из обожженной глины *в натуральную величину*. Главное украшение дома — большая галерея, очень просторная, разделенная на две гостиные; в одной стороне стоит бильярд, другую облюбовала для бесед госпожа Дюма». В этой галерее — бюсты Александра и Надин Дюма работы Карпо; в настоящее время они находятся в Малом дворце.

В доме более четырехсот картин, хороших и плохих: Диаса, Коро, Добиньи, Теодора Руссо, Воллона. Порт-

рет молодого Виктора Гюго кисти Девериа; кошечки Эжена Ламбера, розы Мадлен Лемер, «Спящая девушка» Лефевра, «Чудесная» Лемана. Картина Мейсонье «В мастерской художника» изображает бесстыдную Луизу Прадье, которая нагая позирует своему мужу. Воспоминания «юных лет, так быстро минувших». Статуэтки Гудона рядом с набросками Прюдона. На бюро — бронзовая рука, рука Дюма-отца. На всех столиках и полках — руки, гипсовые, мраморные; руки убийц, актрис, герцогинь. Странная коллекция!

Дюма рано встает и рано ложится. Утром он сам разжигает огонь и греет себе суп — на первый завтрак он кофе и чаю предпочитает суп. Потом он садится за стол, на котором уже лежат приготовленные голубая глянцеви́тая бумага и пучок гусиных перьев, и работает до полудня. За вторым завтраком он встречается с женой и двумя дочерьми: Коlette в 1875 году было четырнадцать лет, Жаннине — восемь¹.

Он с гордостью цитирует их остроты, достойные того, чтобы звучать со сцены. Одна дама спросила у его старшей дочери, за кого она хотела бы выйти замуж.

— Я? — переспросила Коlette. — За дурака. Я пожалела бы об этом, только встретив еще более глупого, — пожалела бы, что не выбрала этого, второго.

— Успокойся! — воскликнула Жаннина. — Уж глупее того, кто на тебе женится, не найдешь!

Как-то после одной из семейных ссор Дюма-сын спросил у Коlette:

— Если твой отец и твоя мать в один прекрасный день разойдутся, с кем из нас ты останешься?

— С тем, кто не уедет отсюда.

— Почему?

— Потому что не хочу трогаться с места.

За столом он пьет простую воду, но велит подавать ее в бутылке из-под минеральной воды — «чтобы обмануть свой желудок».

После обеда он никогда не работает. Он присутствует на аукционах, заходит к торговцам картинами или вешает на стены приобретенные полотна. Когда его спрашивают, какой подарок доставил бы ему удовольствие, он отвечает: «Набор столярных инструментов». Да

¹ Ольга Нарышкина 28 августа 1872 года вышла замуж за Шарля-Констана-Никола маркиза де Тьерри де Фаллетан.

и на что ему подарки? Он богат, очень богат. Его гонорары весьма солидны, а гонорары его отца, с тех пор как старого сатира не стало и проматывать их некому, копятя у Мишеля Леви, и текущий счет Дюма-отца снова стал вполне кредитным.

Хотя Дюма-сын выказывает изрядное презрение к господствующему режиму, новые законы его интересуют. У него все те же навязчивые идеи: защита порядочных девушек от негодяев, вместе с тем установление отцовства и наследственных прав для внебрачных детей; защита порядочных мужчин от негодяек, вместе с тем борьба с проституцией замужних женщин и кампания за разрешение развода. Политические или экономические реформы его не занимают. В этих вопросах он плохо разбирается. Любовь, взаимоотношения мужчины и женщины, родителей и ребенка — вот его неизменные темы. Как бы мог он правдиво изображать рабочих, крестьян или мелких буржуа? Он живет в самом модном из богатых кварталов (равнина Монсо), среди мягкой мебели, статуй, растений. Таков его мир и его обстановка; таковы его границы.

Он вполне овладел своим ремеслом. «Господин Альфонс», поставленный в 1873 году в театре Жимназ, где Бланш Пьерсон, разумеется, получила роль, предназначенную несчастной Эме Декле, — крепко сшитая пьеса. Она принесла Дюма особую честь; он обогатил французский язык новым словом. Слово «альфонс» будет впредь обозначать сперва продажного мужчину, потом — сутенера. Каков сюжет пьесы? Молодой развратник Октав сделал ребенка девушке по имени Раймонда. Он отвез ребенка в деревню и навещает его под именем господина Альфонса.

Раймонде удалось выйти замуж за морского офицера, значительно старше ее, капитана второго ранга де Монтельена; он ничего не знает о ее прошлом. Октав испытывает такую острую нужду в деньгах, что готов жениться на бывшей служанке кабачка Виктории Гишар, которая разбогатела, выйдя *in extremis*¹ замуж за кабатчика. Он всячески старается скрыть от своей будущей жены, что у него есть внебрачная дочь. Но он вверяет ребенка попечению Монтельена, который, разумеется, не подозревает, что маленькая Адриенна — дочь и

¹ В последний момент (лат.).

его супруги тоже. Нетрудно догадаться, что Виктория Гишар и Марк де Монтельен узнают всю правду, что они прощают Раймонду, что ребенок остается с матерью, а Октав, или господин Альфонс, с презрением изгоняется всеми. Развязка была благополучная, и публика осталась довольна.

Предисловие — весьма существенное — содержит новую речь в защиту совращенной девушки и обличает совратителя, а в особенности — законодателя, который снимает ответственность с отца и заявляет ему: «Ты хочешь остаться в тени? Очень хорошо, ты останешься в тени, ты сможешь произвести на свет других детей (законных), и никто не посмеет что-либо сказать тебе по этому поводу».

Однако человек, который уклоняется от своих отцовских обязанностей, — это дезертир куда более опасный, чем тот, который уклоняется от служения родине. Где средство против этого? Равноправие женщины и мужчины в сфере гражданской и даже политической. «Почему бы нет? Она живое существо, мыслящее, трудящееся, страдающее, любящее, наделенное душой, которой мы так гордимся, платящее налоги, как вы и я...»

Разве такое равноправие не вошло уже в обычай в Америке? Разве оно не прокладывает себе дорогу в Англии?

Противники Дюма обвиняли его в противоречиях, ибо он хотел, чтобы женщина имела равные права с мужчиной в политической сфере и подчинялась мужчине в семье. Он отвечал, что подчинение супруги супругу-покровителю должно быть добровольным и что он, Дюма, выступает в защиту огромного числа женщин, лишенных семьи. Женщине он говорил: «Мужчина создал две морали: одну — для себя, другую — для тебя; такую, что разрешает ему любить многих женщин, и такую, что разрешает тебе любить одного-единственного мужчину в обмен на твою навсегда отнятую свободу. Почему?» Потом, поддавшись своей склонности к апокалипсическим пророчествам, он предсказывал конфликты между Востоком и Западом, битвы миллионов людей, в сравнении с которыми война 1870—1871 годов покажется деревенской потасовкой; он предвидел сражения под водой, битвы в воздухе, «молнии, которые испепелят целые города, мины, от которых взлетят на

воздух целые материки». Сколько родится внебрачных детей в этом неслыханном столпотворении народов? Так не следует ли правительствам составить единую огромную семью со всеми теми, кто лишен семьи?

Этим страницам нельзя отказать ни в красноречии; ни в мудрости. Одним из первых воздал им должное на редкость преданный Дюма читатель, его преподобие господин Дюпанлу, орлеанский епископ и депутат Национального собрания. Епископ был незаконнорожденным, и это обстоятельство делает понятной снисходительность прелата к безбожнику. Господин Дюпанлу был внебрачным сыном бедной девушки из Шанбери, — покинутой ее соблазнителем. Эта героическая мать не только вырастила сына сама, но и дала ему отличное воспитание. Поступив в возрасте двадцати лет в Сен-Сюльпис, он стал священником, ректором семинарии, наставником сыновей Луи-Филиппа, членом Французской академии. В Национальном собрании и левые и правые одинаково уважали его за его достойное поведение во время войны. У него были грубые, словно топором тесанные черты лица, и в своей лиловой сутане он весьма внушительно выглядел на ораторской трибуне. Человек независимого ума, он сочувственно следил за борьбой Дюма-сына. Он беседовал с Дюма о том, чтобы ввести в гражданский кодекс закон об установлении отцовства. Гонкур записал слова орлеанского епископа, сказанные им в беседе с Дюма:

«— Как вы находите «Госпожу Бовари»? — спросил г-н Дюпанлу.

— Прекрасная книга.

— Шедевр, сударь!.. Да, шедевр, это особенно очевидно тем, кто исповедовал в провинции».

Господин Дюпанлу всячески убеждал Дюма выставить свою кандидатуру во Французскую академию, где это предложение было принято чрезвычайно благосклонно. Имя кандидата было вдвойне прославлено, его человеческое достоинство — безупречно. Женщины, которых он так часто бичевал, стояли за него горой. «Этот Александр Дюма поистине счастливчик, — пишет Гонкур с некоторой горечью, — а всеобщая симпатия к нему безмерна...» Даже Гюго приехал в Академию, впервые по возвращении на родину, чтобы голосовать за сына своего старого товарища. Впрочем, эти двое не любили друг друга. Дюма-сын утверждал, что Виктор Гюго очень

плохо вел себя по отношению к Дюма-отцу и что «Мария Тюдор» — плагиат «Христины». Гюго, считавший отца вульгарным, но гениальным, признавал за сыном только талант. Состоялось голосование. Дюма-сын был избран большинством в двадцать два голоса — в их числе был и голос Гюго. Вечером новоиспеченный академик приехал благодарить, но, не застав Гюго, написал на своей визитной карточке: «Дорогой учитель! Свой первый визит в качестве академика я хотел нанести Вам. Кесарю — кесарево... Целую Вас...» То был холодный поцелуй примирения.

Дюма-сын был причислен к лику «бессмертных» 11 февраля 1875 года графом д'Оссонвилем. Эдмон де Гонкур, никогда не присутствовавший при приеме в Академию, хотел «увидеть собственными глазами и услышать собственными ушами всю эту китайскую церемонию». День выдался очень холодный, но Дюма «сделал аншлаг», и прикатившие в экипажах разодетые дамы теснили мужчин с орденскими ленточками. Принцесса Матильда, которая привезла Гонкура, занимала небольшую ложу, откуда был виден весь зал.

«Зал совсем невелик, а парижский свет так жаждет этого зрелища, что не увидишь ни пяди потертой обивки кресел партера, ни дюйма деревянных скамей амфитеатра — до того жмутся и теснятся на них сановные, чиновные, ученые, денежные и доблестные зады. А сквозь дверную щель нашей ложи я вижу в коридоре элегантную женщину, которая сидит на ступеньке лестницы, — здесь она прослушает обе речи...

Люди, близкие к Академии, — несколько мужчин и жены академиков, — помещаются на круглой площадке, напоминающей арену маленького цирка и отделенной от остального зала балюстрадой. Справа и слева на двух больших трибунах рядами чинно восседают, словно выставленные напоказ, облаченные в черное действительные члены Академии. Солнце, решившее выглянуть, освещает лица, воздетые горé с той умильной гримасой, какая в церковных скульптурах обычно выражает небесное блаженство. Чувствуется, что мужчин обуревают восхищение, которое им не терпится выплеснуть наружу, а в улыбках женщин есть что-то скользкое. Раздается голос Александра Дюма. Тотчас же наступает набожная сосредоточенность, потом слышатся одобрительные смешки, ласковые аплодисменты, блаженные возгласы «ах!»...»

Начиная свою речь, Дюма сказал, что если двери Академии сразу так широко распахнулись перед ним, едва он в них постучался, то объясняется это отнюдь не его заслугами, а фамилией, «которой вы давно уже собирались воздать почести и искали лишь повода для этого и которую вы можете теперь почитать только в мо-

ем лице... Позволяя мне сегодня возложить своими руками венец славы на этого дорогого усопшего, вы оказываете мне самую большую честь, о какой я только мог мечтать, и единственную честь, на которую я действительно имею право».

Воздав, таким образом, должное своему отцу, он перешел к своему предшественнику Пьеру Леброну, поэту стиля Империи, напыщенному и жеманному, который в двенадцатилетнем возрасте, в 1797 году, написал трагедию о Кориолане; умер он в 1873 году, в возрасте восьмидесяти восьми лет. Наполеон когда-то оказывал ему покровительство. «Этот Ахилл мечтал иметь при жизни своего Гомера. Ему было суждено обрести его только после смерти». Комплимент Виктору Гюго. Великой литературной битвой Леброна была его драма «Сид Андалузский», однако победа так и не досталась ему. Несмотря на участие Тальма и мадемуазель Марс, пьеса была сыграна всего четыре раза... Это послужило для Дюма поводом заговорить о другом «Сиде» — корнелевском, отзыве о котором Ришелье требовал у Академии.

«Замешательство было велико. Вы были всем обязаны основателю Академии и опасались не угодить ему; вам было известно, что он жаждет отрицательного отзыва, но вы в то же время не хотели своим пристрастным суждением преградить дорогу тому, чей первый опыт был произведением мастера...»

Дюма спрашивал себя, за что Ришелье преследовал Корнеля? Из зависти к собрату по перу? Следует ли подобным толкованием принижать двух великих людей?

«Я убежден, что великий кардинал призвал к себе великого Корнеля и сказал ему: «Как! В то самое время, когда я пытаюсь изгнать и истребить все испанское, теснящее Францию со всех сторон, ты намерен прославлять на французской сцене литературу и героизм испанцев!.. Присмотрись к твоему «Сиду»: да, с точки зрения драматической — это шедевр; с точки же зрения моральной и социальной — это уродство. Какое общество смогу я основать, если девушки будут выходить замуж за убийцу своего отца, а командующие армией пожертвуют родиной, если их любовь останется без ответа?.. Ты и в самом деле утверждаешь, что храбрость великого военачальника и судьба великой страны в большей или меньшей степени зависят от того, насколько сильно любит молодая девушка?.. Ступай, поэт, и опиши героев, достойных подражания». И тогда Корнель замыслил «Горация», то есть антитезу «Сиду», и эту трагедию он посвятил Ришелье».

К несчастью, продолжал Дюма, верх одержала идея «Сиды», а не «Горация».

«В самом деле, все битвы, в которых сражаются герои наших произведений, ведутся ради обладания какой-нибудь Хименой; она — награда победителю. Добившись цели, он женится на своей Химене и счастлив — тогда это комедия; если ему это не удастся, он приходит в отчаяние и умирает — тогда это трагедия или драма... Театр становится храмом, где славят женщину; там мы восхищаемся ею, жалеем и прощаем ее; там она берет реванш у мужчины и слышит обращенные к себе слова, что вопреки законам, которые созданы мужчинами, она царица и повелительница своего тирана... Все благодаря ей! Все ради нее!

Да, господа, такова наша слабость... Между нами и театральной публикой существует молчаливое соглашение. что мы будем говорить о любви... Жизнь, даруемая любовью, или смерть от любви — вот наша тема, всегда неизменная, и вот почему некоторые серьезные люди считают, что мы — люди несерьезные. Но если и не все мужчины на нашей стороне, то у нас есть могучий стихийный союзник — женщина... Кто бы она ни была — девушка, любовница, супруга, мать — ею владеет один инстинкт, одна мысль, одно стремление — любить... Вот почему она без ума от театра; вот почему, завоевав женщин, мы уверены в успехе, вот почему Корнель был прав, написав «Сида», а Ришелье, как государственный деятель, был прав, когда выступил против него...»

Когда Грез писал портрет Бонапарта, он придавал императору черты мадемуазель Бабюти; Дюма-сын, намереваясь говорить о Лебрене, возвратился к своим излюбленным идеям. Он напомнил, что Лебрен в 1858 году, посвящая в академики Эмиля Ожье, сказал: «В театре появилась склонность реабилитировать некоторых лиц, изгнанных из общества, склонность, которую я столь же мало могу понять, как и разделить. Вошло в моду предлагать вниманию публики павших и обесчещенных женщин, которых страсть обеляет и возвышает... Этих женщин возводят на пьедестал, а нашим женам и дочерям говорят: «Смотрите! Они лучше вас».

Это было недвусмысленное осуждение «Дамы с камелиями». Дюма-сын защищал творение своей юности.

«Театр, — сказал он, — не создан для молодых девушек. Ни Агнеса, ни Джульетта, ни Дездемона, ни Розина не смогут служить для них нормой поведения... И все же было бы весьма прискорбно, если бы из-за родителей, которые непременно желают водить своих дочерей в театр, не существовало бы ни Агнесы, ни Розины, ни Джульетты, ни Дездемоны. Одним словом, господа, — это говорит вам человек театра, — никогда не приводите к нам ваших юных дочерей... Я слишком уважаю их, чтобы позволить им слышать все, что я имею сказать; я слишком уважаю искусство, чтобы низводить его до того, что им дозволено слышать...»

Так он взял некоторый реванш у своего предшественника. В конечном счете Лебрен не очень преуспел в

театре. Не оттого ли, что он слишком считался с условной моралью? «Если быть откровенным до конца, господа, — но я говорю вам это шепотом, — то мы — революционеры». Лебрен слишком мало доверял своему искусству, публике и себе самому. В этом причина его поражения и преждевременного отхода от театра. «Да, господа, мы собрались здесь сегодня, чтобы почтить память писателя, которого нельзя назвать гениальным. Боже упаси меня от того, чтобы не оказать ему должного уважения, а я поступил бы так, поставив его выше того, что он есть на самом деле, пусть даже только в академическом похвальном слове».

Похвальное слово? Нет. То был смертный приговор. Но он был встречен аплодисментами и топотом зала, опьяненного восторгом. После короткого перерыва, говорит Гонкур, до ложи принцессы донесся «скрипучий голос старика д'Оссонвиля».

«И тут началась... экзекуция кандидата, со всевозможными приветствиями, реверансами, ироническими ужимками и злобными намеками, прикрытыми академической вежливостью. Г-н д'Оссонвиль дал понять Дюма, что, по сути дела, он ничтожество, что молодость он провел среди гетер, что он не имел права говорить о Корнеле; в его насмешках презрение к творчеству Дюма смешалось с презрением вельможи к богеме. И, начиная каждую фразу с поношения, которое он выкрикивал звучным голосом, воздев лицо к куполу, жестокий оратор затем понижал голос и переходил на невнятное бормотанье, чтобы произнести под конец фразы пошлый комплимент, которого никто не мог расслышать. Да, мне казалось, что я сижу в балагане и смотрю, как Полишинель приседает в насмешливом реверансе, стукнув свою жертву палкой по голове...»

Должно быть, это впечатление было вызвано тоном речи, так как текст ее не кажется суровым. Граф д'Оссонвиль прежде всего опроверг утверждение, что избрание Дюма в Академию — это дань его отцу. «Мы не чувствуем за собой никакой вины по отношению к автору «Антони»... Не мы забыли его... Ваш знаменитый отец, без сомнения, получил бы наши голоса, если бы попросил их у нас...» Что касается господина Лебрена, то его критика наверняка не была направлена против «Дамы с камелиями», ибо в 1856 году на заседании имперской комиссии он предложил присудить премию Дюма-сыну, «как самому нравственному драматическому поэту своего времени». Лично он, д'Оссонвиль, не боится в театре ни смелых выпадов, ни революционеров.

«Как это несправедливо — обвинять ваши пьесы в недостатке морали! Я скорее сказал бы, что мораль в них бьет ключом!.. Что бы там ни было, вы, сударь, вправе сказать себе, что вы сделали все возможное, дабы внушить женщинам сознание их долга и показать последствия их ошибок... Вы действовали убеждением и нежностью, но также огнем и железом... Поймите, однако, их смущение. В последнем акте «Антони» любовник, чтобы спасти честь Адели, закалывает ее, восклицая: «Она сопротивлялась мне — я ее убил!» Вы говорите мужу недостойной супруги: «Убей ее немедленно». Но как же так? Если все женщины должны погибнуть — одни за то, что они сопротивлялись, другие — за то, что они этого не сделали, — то их положение становится поистине трудным...»

Анри Бек, не питавший особой склонности к Дюма-сыну, сказал об этом заседании, что это был прием Клавароша герцогом де Ришелье. «Ибо у Дюма есть нечто от Клавароша — нечто от победителя и воина, любезного, блистательного, грубого и хвастливого». Выходя, марселец Мери заметил: «Разве это не забавно? Два человека обмениваются пулями — и вот один из них мертв. Они обмениваются речами — и вот один из них бессмертен». Маре сказал: «Д'Оссонвиль считает себя умным, потому что ему удалось жениться на мадемуазель де Брольи на условиях общности имущества». Парижские остроты.

Глава четвертая

ПЛОЩАДЬ ФРАНЦУЗСКОГО ТЕАТРА

Долгие годы Дюма хранил верность театру Жимназ. Следом за Французской академией его пожелал заполучить и Французский театр. Он в одно и то же время хотел и боялся этого. Боялся — ибо широкая, покрытая ковром лестница, швейцары с цепью на шее, по-монашески строгие билетерши, фойе, уставленное мраморными бюстами, придавали театру вид храма. Это был первый театр мира, дом Мольера, Корнеля, Расина, Бомарше. Дюма считал более благоразумным дебютировать там посмертно. Хотел, ибо дом был достославный. Классика служила для актеров этого театра постоянной школой мастерства, поддерживая их вкус и талант на очень высоком уровне. В другом месте отдельный одаренный актер — какой-нибудь Фредерик Леметр, какая-нибудь Мари Дорваль, Роза Шери или Эме Декле — мог до-

стичь совершенства; но только в Комеди Франсез была труппа, был выдающийся ансамбль, способный на несколько вечеров придать современной пьесе очарование классики.

Подобно тому, как барон Тейлор (которому теперь было восемьдесят пять лет) открыл некогда двери этого храма перед Дюма-отцом, так другой генеральный комиссар, Эмиль Перрен, ввел во Французский театр Дюма-сына. Перрен был высокий худощавый человек, неизменно одетый в черный пиджак. В театре его можно было застать с часу дня до шести вечера и с девяти до полуночи. Он принимал людей с ледяной вежливостью. Из-за его необычайного косоглазия никогда нельзя было понять, куда он смотрит. Дебютант, поймав на себе косою взгляд Перрена, начинал нервно тереть галстук. «Что это вы делаете? — спрашивал Перрен. — Ведь у вас не в порядке ботинки». Его суровость порой оскорбляла, но он снял театр с мели — он ввел абонементы на определенные дни, которые очень охотно раскупали, и возродил трагедию, пригласив Муне-Сюлли. В его программу входило привлечь в Комеди Франсез современных авторов. Сначала он предложил Дюма снова поставить «Полусвет», потом, после блестящего успеха этой старой пьесы, потребовал у Дюма новую. Дюма дал ему «Иностранку» — еще одно воплощение апокалипсического Зверя.

Героиня — американка, миссис Кларксон. Будучи любовницей вконец разорившегося герцога де Сетмона, она ищет ему богатую невесту и встречает негоцианта Морисо, мультимиллионера, который предлагает герцогу свою дочь Катрину и значительное приданое. В первом акте Катрина дает благотворительный бал; у миссис Кларксон хватает наглости туда явиться, а у герцога хватает дерзости представить свою любовницу жене. С точки зрения Дюма, миссис Кларксон и герцог де Сетмон «способствуют гибели общества». Герцог — существо бесполезное, вредоносное — должен быть убит, это мера общественной безопасности. Муж миссис Кларксон, американец, стреляющий из пистолета так, как это умеют делать на Дальнем Западе, и совершает казнь. Таким образом Катрина получает возможность выйти замуж за инженера Жерара, сына своей учительницы, которого любит с юных лет. Все к лучшему благодаря лучшему из преступлений.

Пьеса такая же странная, как сама иностранка. Негоциант Морисо, который принес свою дочь в жертву снобизму, и Катрина, согласившаяся на эту сделку, — чем они лучше герцога де Сетмона? А этот последний — заслуживает ли он смерти? «Он мог бы ее избежать, — отвечал Дюма критикам, — в обществе, допускающем развод». Нерасторжимый брак обрекал недостойного мужа на гибель.

«Пусть Палаты, наконец, дадут нам закон о разводе, и одним из непосредственных результатов этого акта будет неожиданное и полное преобразование нашего театра. Со сцены сойдут мольеровские обманутые мужья и несчастные жены из современных драм, ибо в условиях расторгимого брака было возможно лишь тайное мщение или публичные сетования жены-прелюбодейки... Если Сганареля действительно обманула жена, он с нею разведется; Антони больше не понадобится убивать Адель; полковник Эрве, узнав, что она изменила ему и ждет ребенка, вернет себе свободу и лишит ее своего имени. Клавдию уже не придется стрелять в Цезарину, словно в какую-нибудь волчицу, и нам не понадобится привозить из Америки мистера Кларксона, чтобы избавить бедняжку Катрину от ее гнусного супруга. Наконец, эстетика театра переживет полное обновление, и это будет не самое малое из благ, проистекающих из нового закона...»

Пресса негодовала. Сарсе задышался от злости. Даже «Ревю де Дё Монд» выпустило залп. Однако все эти неистовые нападки разожгли любопытство публики. Она толпой повалила в театр, где превосходно играли эту пьесу с блестящим диалогом. Комеди Франсез предоставила новому автору свои лучшие силы: герцогиню де Сетмон играла Софи Круазет, женщина редкостной гордой красоты, с рыжей шевелюрой, удлиненными косящими глазами, грубым отрывистым голосом. «У нее, — говорил Сарсе, — такая постановка головы, такие модуляции голоса, что она способна околдовать крокодила». Ее девиз гласил: «До победного конца!» Она окончила Консерваторию, где ее преподаватель Брессан ради нее вскоре забросил всех остальных учеников ее класса. Получив ангажемент в Комеди Франсез, она привлекла множество зрителей на спектакль «Сфинкс» по пьесе Октава Фейе, где с чудовищным натурализмом играла сцену агонии. Для этого она заставила себя наблюдать, как умирает собака, отравленная стрихнином. Казалось, что Софи Круазет самым провидением предугазано играть миссис Кларксон, но Перрен поручил эту роль Саре Бернар и уговорил Дюма дать Круазет роль Катрины. За то долгое время, что

шли репетиции, автор и актриса стали добрыми друзьями.

Софи Круазет — Дюма-сыну: «Я считаю, что наше положение становится крайне тягостным; у меня совершенно такое же чувство, как если бы я находилась в зале ожидания и смотрела в окно на готовый к отправлению поезд. Мне хочется сесть в него,— ведь я для того и пришла на вокзал, и я не люблю ждать, но в то же время сердце у меня сжимается оттого, что я вот-вот уеду и впереди неведомое. И это неведомое для меня — герцогиня... Скажите, что будет, если я сойду с рельс? Ах, Боже мой, Боже мой!.. Что касается Вас, то я хорошо Вас понимаю. Все это Вам безразлично. Пусть Ваши несчастные паяцы волнуются — Вы только смеетесь, упиваясь своей силой. Знайте же! Я думаю о Вас гораздо больше, чем Вы — о бедной Круазет...»

Актрисы считали Дюма очень сильным человеком, так как он держался от них на почтительном расстоянии.

В 1879 году Поль Бурже, молодой двадцатисемилетний критик, рано завоевавший авторитет, который все возрастал, нанес визит Дюма-сыну, собираясь писать о нем очерк. Он увидел человека «могучей и великолепной зрелости», с плечами атлета и взглядом хирурга, с повадкой военного. Голубые навывкате глаза словно заглядывали в душу собеседника. Полю Бурже, одержимому психологизмом, он сказал: «Вы производите на меня впечатление человека, у которого я спрашиваю, сколько времени, а он вынимает часы и разбирает их у меня на глазах, чтобы показать, как работает пружина». И он разразился звонким смехом. Знаменитый драматург и молодой романист стали друзьями. Супруги Бурже были приглашены в Марли.

Дюма-сын — Полю Бурже: «Дорогой друг! Получив Ваше вчерашнее письмо, я послал Вам телеграмму, где указал время отправления поезда: 10 часов 5 минут. Но я не подумал, что для г-жи Бурже это слишком рано и лучше ехать поездом в 11 часов 15 минут. Только желание скорее увидеть Вас побудило меня совершить эту психологическую ошибку. Когда молодая женщина, живущая на улице Мсье и желающая позавтракать на лоне природы, имеет возможность выбрать один из двух поездов, которые отправляются с Западного вокзала с интервалом в час, ее не заставляют ехать первым. Еще раз простите меня за это. Итак, если Вы можете приехать, я буду встречать поезд, отправляющийся из Парижа в 11 часов 15 минут.

Ваше письмо тронуло меня до глубины души. Я Вас очень, очень люблю за Ваш талант, за Ваш характер,— все, что я говорил Вам в прошлый раз, служит тому доказательством. Я опасался — и не зря, ибо это едва не случилось,— что могут задеть Ваше писательское и человеческое достоинство. Что касается нас

с Вами, то мы никогда не поссоримся. Когда такие люди, как мы, любят друг друга, они не ссорятся. Нежно любящий Вас...»

Он охотно завтракал также с молодым Мопассаном, сожалея, что не ему довелось воспитать этот талант. «Ах, если бы ко мне в руки попало такое дарование, я сделал бы из него моралиста!» Флобер пытался сделать из него художника. «Флобер? — говорил Дюма. — Великан, который валит целый лес, чтобы вырезать одну шкатулку. Шкатулка превосходна, но обошлась она поистине дорого». Флобер, в свою очередь, ворчал:

«Господин Дюма метит в депутаты... Александр Дюма украшает газеты своими философскими сентенциями... В театре — то же самое. Его интересует не сама пьеса, а идея, которую он собирается проповедовать. Наш друг Дюма мечтает о славе Ламартина, или, скорее, о славе Равиньяна. Не позволять задирать юбки — вот что стало у него навязчивой идеей...»

Очевидно, что морализующий пафос Дюма не мог не раздражать Флобера. «Какова его цель? Исправить род людской, написать прекрасные пьесы или стать депутатом?» Флобер с отвращением говорил о «позах великого человека, о нотациях публике, от которых несет Дюма». Бурже был более проницателен. За менторским тоном он угадывал сомнения и глубокую усталость. Несмотря на успех своих пьес, Дюма не был счастлив. Этот верный друг видел, как уходят друзья — один за другим. Несчастный «Мастодонт» — Маршаль, потеряв поддержку Жорж Санд и чувствуя приближение слепоты, в 1877 году покончил с собой. Моралист, осуждавший адюльтер, имел любовницу, красавицу Оттилию Флаго. В ее замок Сальнёв, возле Шатийон-сюр-Луэн, в департаменте Луаре, он частенько наезжал, чтобы поработать. «Я полагаю, — писал он капитану Ривьеру, — что если в жизни есть какая-то видимость счастья, то это любовь. Только кто любит?.. У всех женщин теперь одинаковый почерк, одинаковый цвет волос, одинаковые ботинки и одинаковый телеграфный стиль в любви...» Его враги говорили, что он «самый аморальный из моралистов», и называли его «Дунайским Тартюфом», что было совершенно несправедливо. Жизнь терзала его, как она поступает со всеми людьми. Княгиней овладевала все более черная тоска; у нее случались приступы отчаяния и ревности, граничившие с безумием. Тем не менее каждое утро он заходил к ней в комнату, садился к ней на кровать и подолгу терпеливо с ней

беседовал. Каждый вторник они давали обед для друзей, восседая за столом как хозяин и хозяйка.

Горести его падчерицы Ольги печалили Дюма, который предвидел их, но не смог предотвратить. Невзирая на предостережения отчима и матери, «Малороссия», едва достигнув совершеннолетия, обвенчалась с неким охотником за приданым, расточительным и развращенным. От этого злосчастного брака родились две девочки, а отец семейства понемногу проматывал наследство Нарышкина. Ольга играла в жизни, ни мало, ни много, роль принцессы Жорж или Катрины де Сетмон и, без сомнения, обогатила эти персонажи некоторыми чертами.

Дюма выезжал в свет один. Он служил украшением салона госпожи Обернон, охотницы за львами, которая носила в волосах миниатюрный бюст Дюма наподобие диадемы. Госпожа Арман де Кайяве (за брата которой в 1880 году вышла Колетта), исподволь подбирившая знаменитостей для своего будущего салона, видела в Дюма звезду первой величины. Он ходил также, как говорит Леон Доде, «систематически принимать яд у принцессы Матильды в обществе Тэна, Гонкура и Рена...» За столом «он отпускал колючие словечки», сопровождаемые «охами» и «ахами» обедающих дам. Он разговаривал, как персонажи его комедий.

Некая наглая особа спросила его по поводу пьесы, в которой он изображал светских женщин: «Где вы могли их узнать?» — «У себя дома, сударыня», — отвечал Дюма. Какой-то скучный человек, которого Дюма прозвал «индийской почтой» за то, что рассказам его не было конца, начинает очередную историю, потом останавливается и говорит: «Простите, дальше не помню...» На это Дюма со вздохом облегчения: «Ах, тем лучше!» Говорят о Дюрантене, чью пьесу «Элоиза Паранке» Дюма переделал. Кто-то спрашивает: «Кто он такой, этот господин Дюрантен?» — «Видный адвокат, — отвечает Дюма, — и драматург — в мое свободное время». Он рассказывает, что недавно встретил мадемуазель Дюверже, которую знал тридцать лет тому назад. «Да, — замечает он, — она мне напомнила мою молодость, но отнюдь не свою».

После такого фейерверка Вистлер говорил с сатанинским смехом: «Он хочет подобрать патроны, хе, хе, но некоторые из них уже отсырели...»

Леон Доде, слегка раздраженный нападками великого человека на адюльтер, находил, что в нем есть что-то от «неудавшегося протестанта», но признавал за ним отвагу и независимость: «Он не лизал пятки высокопоставленным лицам... Он твердо держался своей манеры — угрюмо принимать комплименты... В общем, несмотря на некоторые оговорки, которые можно сделать, у него было много обаяния...»

Это обаяние могущественно действовало на женщин. Он по-прежнему противился их домогательствам. С Леопольдом Лакуром, молодым преподавателем из Невера, написавшим очерк о его пьесах, он был откровенен. Дюма пригласил его к себе побеседовать. Лакур был очень взволнован встречей с этим истинным королем французской сцены.

«Я воспользовался пасхальными каникулами (1879 г.), чтобы отправиться по его приглашению на авеню Вильер, 98, где у него был особняк средней величины и весьма простого вида — он напоминал загородный дом среднего буржуа. Единственную его роскошь составляла довольно изрядная картинная галерея на втором этаже, но в первое свое посещение я ее не видел и должен сразу же сознаться, что в тот день, когда он повел меня туда, очень гордый своей коллекцией, мне понравилась в ней едва половина картин. Наряду с картинами, пейзажами и портретами бесспорной ценности (а именно, если мне не изменяет память после стольких лет, полотнами Теодора Руссо, Дюпре, Бонна) в большинстве своем там были вещи, ценные не сами по себе, а по стоящим под ними именам, которые высоко котировались во времена Второй империи. Они были не более чем любопытны. Но сам он — с той минуты, как мы с ним остались с глазу на глаз в его рабочем кабинете, где вместо каких бы то ни было украшений над обыкновенным черным бюро висела прекрасная картина Добиньи, — сам он восхитил меня необыкновенно. Я никогда не видел его раньше. Высокий, широкоплечий, очень стройный, он выглядел величественно; вьющиеся волосы с едва заметной проседью — ему было всего пятьдесят пять лет — обрамляли лицо властителя, лицо, о котором я уже писал и которое в такой мере способствовало его репутации гордеца. Впрочем, никакого сходства с отцом. Его незаконнорожденный брат, гигант Анри Бауэр — вот кто позднее явил мне живой портрет автора «Монте-Кристо»... После новых изъявлений благодарности, без всякой лести, он спрашивает меня о моей преподавательской работе, о любимых книгах, затем вдруг, к моему изумлению, задает вопрос: «Известно ли вам, почему Иисус завоевал мир?» — «Прежде всего, — осмеливаюсь я возразить, — он завоевал не весь мир, а только его часть». — «Пусть так! Но эта часть как раз и представляет наибольший интерес с точки зрения современной цивилизации. Итак, я повторяю свой вопрос». — «Да потому, что Иисус был распят за проповедь своего учения о бесконечном милосердии и всеобщей любви». — «Несомненно, но главным образом потому, что, проповедуя любовь, он умер девственником». (Дюма был

одержим идеей — я не знал этого — написать пьесу под названием «Мужчина-девственник».)

«Лучшая из женщин, самая преданная, рано или поздно причинит Вам сильное зло. Г-жа Литтре, святая женщина, ждала сорок лет; к смертному ложу атеиста, которого она боготворила, она привела священника, и тот покрыл бы имя Литтре позором, вернув его в лоно церкви, если бы удалось обмануть общественное мнение. Существуют Далилы исповедальни и Далилы алькова. Непобедим только мужчина-девственник. Вот почему я повторяю вам: если бы Иисус не умер девственником, ему не удалось бы покорить мир».

«Мужчина-девственник» — Дюма давно мечтал об этой пьесе. «Я вложу в нее всего себя», — сказал он Леопольду Лакуру. «Всего себя? — подумал тот. — Для самоочищения? Но не подвергается ли искушению самоочищающийся?»

На деле Дюма любил и боготворил то, что на словах предавал анафеме; поэтому он был любим столькими женщинами. Удивительное зрелище являл собою этот драматург, выступавший перед актрисами в роли прорицателя, — зрелище в общем трогательное, ибо чтобы не пасть, он вынужден был читать проповеди самому себе.

В зрелые годы Дюма-сын беспрестанно возвращается к теме «Мужчина, бегущий от Искусительницы». Существует любопытная коллекция его писем к неизвестной Грешнице. Начинается она с ответа на просьбу устроить ангажемент:

«Мое дорогое дитя... Я ничего не могу сделать для Вас во Французском театре. Вот уже два года, как я добиваюсь у Перрена ангажемента для одной актрисы, который рассчитывал получить без всякого труда, но до сих пор так и не получил. Я больше не могу и не хочу у него ничего просить...»

За сим следует прекрасное письмо о мадемуазель Делапорт — очаровательной и скромной инженеру, одной из ближайших приятельниц Дюма, которую без всяких к тому оснований считали его любовницей.

«Мадемуазель Делапорт имеет полное основание так говорить обо мне. Это женщина, которую я, несомненно, уважаю больше всех других. Я не встречал женщины более примерной, более достойной, более мужественной. Мы питали друг к другу очень большую привязанность и очень высокое уважение. Каких только отношений нам не приписывали, — но ничего подобного не было; и я рад, что люди заблуждались. Вообще мнение о том, что для действительного обладания женщиной необходимо обладать ею физически, — одно из великих человеческих заблуждений. Как раз наоборот: материальное обладание — если только оно не облагорожено

и не освящено браком, взаимными обязательствами, семьей — несет в себе причину и зародыш взаимного отталкивания. Правда, при сближении одних только душ не бывает опьянения; но нет также и пресыщения, и впечатления, возникающие при этом. Такие чистые и свежие, что они, так сказать, не дают физически состариться двум людям, их испытавшим...»

Этот портрет, по мысли Дюма, должен был служить образцом для Грешницы, но какая женщина согласится признать, что другая достойна подражания? Грешница дала понять, что ей скучно, что любовник, а в особенности знаменитый любовник, мог бы вдохнуть в ее жизнь дыхание романтики. Ее поставили на место:

«Я долго изучал жизнь; знаю ее не хуже, а быть может, и лучше других. Результат моих наблюдений таков — самые большие шансы на счастье сулит благополучие. Вы материально независимы; пользуйтесь этим. Вы питаете ко мне доверие, это единственное слово, которое я, в моем возрасте, могу употребить. Вы называете это любовью, потому что Вы женщина. Вы молоды и восторженны; а так как Вы восторженны, молоды и Вы женщина, то Вы способны понять что-либо только через любовь. Все, что есть в Вас хорошего и чему никто не нашел применения, открылось мне по первому моему слову — искреннему и доброжелательному, — и за это Вы благодарны мне настолько, что полагаете, будто никого, кроме меня, не любили. А я должен воспользоваться этим, чтобы попытаться сделать Вас в будущем более счастливой, чем Вы были в прошлом, и если мне это удастся, разве не все средства окажутся хороши?»

Доброй ночи, мадемуазель, спите спокойно...»

Она упрекала его, что он внушил ей любовь к себе. Он оправдывал это тактическими соображениями:

«Прежде всего надо было привлечь к себе эту душу, внушить ей доверие; а единственным средством, которым он располагал, чтобы воздействовать на женщину в Вашем положении, была любовь. Женщины легче поддаются впечатлению, чем доводам рассудка, лучшая политика по отношению к ним — это внушить любовь к себе. Стоит им только полюбить, как они готовы все понять, ибо человек, которого они любят, в их глазах соединяет в себе все обаяние и весь ум...»

Это приключение кончилось так же, как история с несчастной Декле. Грешница, разочарованная сопротивлением своего кумира, отдалась недостойному фату, продолжая, по ее словам, любить Дюма. Моралист произнес над этой любовью суровое надгробное слово:

«Старая пословица гласит: «Из мешка с углем не добудешь муки». По отношению к Вам это значит: нечего сразу ждать любви, добродетели, верности, искренности и платонических чувств от женщины, которая целых пятнадцать лет жила так, как Вы. В такой жизни некоторые струны души неизбежно глохнут. Вы

жертва Вашей семьи (если такое можно назвать семьей), Вашего происхождения, Вашего нездорового воспитания, Вашей развращенной среды; жертва неудачной первой любви, продажной любви в дальнейшем. Поскольку Вы лучше большинства окружающих Вас женщин, поскольку у Вас еще осталось немного души, Вы прилагали немалые усилия к тому, чтобы вылезть из той грязи, в которой Вы увязли. Высоко над вершиной горы виднелся клочок голубого неба... но чтобы взобраться на эту гору в одиночку, у Вас не хватало сил. Женщина ни на что не способна, пока у нее нет партнера. В лице одного из наших собратьев Вы обрели спасителя, спутника. Он, конечно, женился бы на Вас или хотя бы удержал возле себя. Но Вы ухитрились скомпрометировать себя с комедиантом, с фиглярром, и Ваш спаситель покинул Вас; Вы пали снова... Ваше сердце, которое еще не до конца развращено, и чувство собственного достоинства, которое иногда пробуждается в Вас, в равной мере страдают от этой связи, а Ваше несчастное тело, служащее во всех этих перипетиях полем битвы, страдает в свою очередь. Вы зовете на помощь — напрасно. На дороге больше нет ни одного прохожего. Сделайте огромное усилие: спасайте себя сами, ибо если Вы опуститесь и на сей раз, Вы, безусловно, пойдете на дно, туда, где тина...

Если у Вас не хватает мужества посвятить себя работе и ребенку — не Вашему ребенку — и если у Вас в самом деле есть мистические склонности, бросайте все и отважно идите в монастырь. Будьте Ла Вальер от сцены. Это место еще свободно...»

Последний листок из этой переписки содержит соболезнующие слова, которые Дюма адресует Грешнице в связи с каким-то несчастьем:

«Я никогда не верил в Вашу любовь; я никогда не сомневался в Вашем сердце. Поэтому я глубоко сочувствую Вам в постигшем Вас горе...»

По сути дела, он мало изменился со времен «Дамы с камелиями». Да и меняемся ли мы вообще?

ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ

ЗАНАВЕС

Бог придумал начало; он сумеет придумать и развязку, и вряд ли она окажется в духе Анисе-Буржуа.

Дюма-сын
Письмо к Анри Ривьеру

Глава первая

НА ПОКОЙ

До последнего года своей жизни Дюма-отец ни разу не почувствовал себя старым — ни как писатель, ни как любовник. Дюма-сын, еще не достигнув шестидесяти лет, начал поговаривать об уходе на покой. Уже в предисловии к «Иностранке» он выражал грусть и разочарование.

«С годами,— писал он,— по мере того, как драматург обогащается знанием человеческого сердца, его почерк теряет живость, яркость, энергию... Нам хочется тогда все глубже проникать в характеры и анализировать чувства. Мы часто становимся тяжеловесными, непонятными, напыщенными, утонченными — скажем без обиняков: скучными. Когда драматург достигает определенного возраста — увы, того самого, в каком я нахожусь сейчас, лучшее, что он может сделать,— это умереть, как Мольер, или отказаться от борьбы, как Шекспир и Расин. Это дает возможность хоть в чем-то уподобиться великим. Театр можно сравнить с любовью. Он требует хорошего настроения, здоровья, сил и молодости. Стремиться быть неизменно любимым женщинами или обласканным толпой — значит подвергать себя самым горьким разочарованиям».

Мрачная мудрость. Уходить на покой — тягостно и далеко не всегда благотворно. Дюма перестал писать предисловия, но заменил их открытыми письмами Альфреду Наке (о разводе) или Гюставу Риве (об установлении отцовства). Вопреки своему решению он вновь обратился к драматургии, написав в 1881 году «Багдадскую принцессу». Пьеса имела посвящение: «Моей любимой дочери, г-же КоLETTE Липпман¹. Будь всегда по-

¹ 2 июня 1880 года Коlette Дюма вышла замуж за Мориса Липпмана (1847—1923), брата госпожи Арман де Кайяве, урожденной Леонтины Липпман (1844—1910). От этого брака у нее родились два сына. Александр и Серж Липпман. 25 мая

рядочной женщиной — это основа основ». Мысль верная; стиль плоский.

Премьера пьесы вызвала большой шум; пресса была неблагоприятной. Дюма объяснял неудачу политической неприязнью; ему-де не могут простить его «Писем о разводе». Может быть, в этом действительно заключалась одна из причин возмущения светского и буржуазного общества; но главной причиной было другое: «Багдадская принцесса» страдала той нереальностью, которую сам Дюма так осуждал в творчестве стареющих писателей. Где и когда существовал набоб, подобный Нурвади? Этот Антони-миллионер казался более старомодным, чем Антони, созданный полвека назад. Разве какая-нибудь женщина когда-либо произносила такие слова, как Лионетта де Юн — дочь багдадского короля и мадемуазель Дюрантон? Связь с действительной жизнью оказалась нарушенной.

Лучшие пьесы Дюма были автобиографическими. «Дама с камелиями», «Диана де Лис», «Полусвет», «Внебрачный сын», «Блудный отец» были основаны на воспоминаниях. Несомненно, что Маргарита Готье, баронесса д'Анж, как и всякий драматический персонаж, которому суждено жить на сцене, представляли собою не портреты, а упрощенные фигуры, четко определенные типы. Иногда они были плодом непосредственных наблюдений. Лионетта де Юн (так же как миссис Кларксон — «Иностранка») была уже не типом, а символом, аллегорией. Как мог Дюма, ясно сознавая всю опасность такой ошибки, все же допустить ее?

«Достигнув определенного возраста, или скорее — определенного успеха, — писал Фердинанд Брюнетьер, — многие авторы изолируют себя от окружающего мира, перестают наблюдать и смотрят уже только в самих себя. Они покончили с тем, что Гёте называл «Годами учения»; они дают волю фантазии». Автор «Багдадской принцессы» дал волю фантазии. Однако фантазия плохо развивается в пустоте; так же как кантовской голубке, для полета ей необходимо сопротивление среды. Что знал, достигнув зрелого возраста, этот король сцены? Литературный мир и высший свет. Ничтожную

1892 года Колетта разошлась с мужем. 2 октября 1897 года она вторично вышла замуж за румынского врача Ашиля Матца (1872—1937).

часть Парижа. Общество «изысканное в пороке и утонченности». Литература, создаваемая писателями этого мирка, есть не что иное, как «коллекция патологических случаев... Ничего по-настоящему здорового и по-настоящему простого».

В «Багдадской принцессе» вновь зазвучали навязчивые идеи Дюма — те же, что в свое время подсказали ему не имевшую успеха «Иностранку»: преклонение, смешанное со страхом, перед разлагающей властью денег; преклонение, смешанное с ужасом, перед властью женщины. Но идеи бессильны породить живые существа.

Барбе д'Ореви́льи сурово осудил «Багдадскую принцессу»:

«Пьеса провалилась, как будто написал ее не г-н Дюма. Вещь столь же удивительная, как если бы с потолка театрального зала свалилась люстра и разбилась вдребезги... На следующий вечер, на абонементном спектакле, провалившаяся пьеса так и не нашла костылей, чтобы подняться. Не означает ли это конец некоего царствования? По праву или не по праву общественное мнение сделало из г-на Дюма маленького драматического Наполеона нашей эпохи, тоскующей по своему Наполеону. Я, конечно, не говорю, что «Багдадская принцесса» — его битва при Ватерлоо, но это его Прощание в Фонтенбло».

После этого провала Дюма долгое время хранил молчание. За четыре года из-под его пера не вышло ни пьесы, ни романа. Жил он по-барски: зимой — на авеню Вильер, летом — в Марли, в имении «Шанфлур», которое предоставил ему в пользование старейший друг его отца Адольф де Левен, собираясь со временем завещать его Дюма. Он приобретал картины, давал обеды или, подобно Виктору Гюго, собирал у себя «элиту своего времени», а также писал своим «официальным» почерком, унаследованным от отца, бесчисленные письма. Письма, интересные своею откровенностью и высокомерным тоном. Это был Юпитер, громыхавший со своего Олимпа.

Неизвестному писателю: «Мой дорогой собрат! Я не мог бы объяснить себе Ваше письмо, не зная я, что бедность обидлива. Вы бедны, Вы трудолюбивы, у Вас в тысячу раз больше достоинств, чем у некоторых людей, которые преуспевают; поэтому у Вас есть все основания удивляться, обижаться, даже жаловаться, когда кто-либо из Ваших счастливых братьев, богатый, преуспевающий, по всей видимости, избегает Вас и не делает для Вас того, что, по Вашему мнению, обязан был бы сделать, что было бы естественно от него ждать. Дело обстоит именно так, не правда ли?»

Теперь соблаговолите войти в мое положение.

Таких писем, как Ваше, я получаю, без преувеличения, от сорока до пятидесяти в месяц. Вы не единственный в мире человек, кому приходится работать, ждать, чей талант пропадает втуне. Вы не единственный, кто обращается ко мне. Если я отправляюсь на два дня на охоту, то смею Вас заверить,— я это честно заслужил. Какой помощи хотите Вы от меня? Чтобы я предложил Французскому театру или еще какому-нибудь театру поставить одну из Ваших пьес? Знаете, что мне ответят? «Вы считаете ее хорошей?» — «Да». — «Ну что же, тогда поставьте под нею свое имя. Мы немедленно ее сыграем». Однако ни Вы, ни я не хотим, чтобы я ставил под нею свое имя. Вы хотите побеседовать со мной? Я не желаю ничего лучшего. Назначьте день, час, я буду Вас ждать. Что еще? Скажите, чего Вы хотите от меня. Я готов это сделать. Я сделал бы это для Вас, если бы во всем мире были только Вы да я — и если бы мир принадлежал мне. Я с превеликим удовольствием отдал бы Вам полмира, даже три четверти его.

Но существуют другие люди, и у других людей есть свои интересы, свои пристрастия, свои заблуждения, свои привычки. Над другими я не имею никакой власти... Все, что я сам в силах сделать, я делаю; но я не люблю и не хочу получать отказ, даже прося за другого».

Написано не без изящества — лучше, чем «Багдадская принцесса». А вот письмо журналисту монархистского толка, которого шокировала пьеса, написанная Дюма-сыном по мотивам романа «Жозеф Бальзамо» Дюма-отца.

Пюи, 24 сентября 1878 года: «Мы живем в такое время, когда никто не может сказать правду, не рискуя оскорбить убеждения какой-либо группы... Поскольку мы живем в республике, в настоящее время среди роялистов принято считать, что все монархи были ангелами — даже Людовик XV. Нашлись люди, заявившие мне, что г-жа Дюбарри была очень хорошо воспитанной особой и что, приписывая несколько скабрёзные слова этой женщине, говорившей королю: «Франция, твой кофе сбежал к чертовой матери» — а г-же де Лавальер, когда последняя после восшествия на престол Людовика XVI принесла ей приказ об изгнании: «Чертовски скверное начало царствования», — нашлись люди, заявившие, что я оклеветал эту бывшую публичную девку, о которой так замечательно сказал Ламартин: «Так умерла эта женщина, обесчестив одновременно и трон и эшафот».

Что я, по-вашему, должен ответить на это? С одной стороны, нарисовав Жильбера, я оклеветал народ, добрый народ, который, убив г-жу де Ламбаль, тут же отрубил ей голову и надругался над останками. В настоящее время считается также, что все люди из народа, поскольку все они избиратели, тоже ангелы. Всеобщий рай! Другие заявили, что, изобразив Марата и приписав ему слова, которые я, кстати, заимствовал из романа — ибо в конце концов пьеса написана по книге, которая принадлежит не мне, — я призывал к организации Коммуны. Все мы в настоящий момент ходим на голове, ногами кверху. Что я могу поделать? Это прой-

дет. Следующая революция восстановит равновесие, отрубив ноги вместо голов.

Моей стране, чтобы быть счастливой, достаточно всеобщего избирательного права, речей Гамбетты и «Корневильских колоколов». Я не восстаю против этого и не претендую на то, чтобы развлекать ее моими пьесами, романами и идеями...»

Когда Наке провел в Палате закон о разводе, которого так долго ждал и добивался Дюма-сын, сенатор от Воклюза в письме, опубликованном газетой «Вольтер», призвал Дюма отдать свои симпатии республике, которой Франция обязана такой важной реформой. Но писатель упорно держался за свою независимость.

«Я никогда не давал никаких обязательств. Я не принадлежу ни к какой партии, ни к какой школе, ни к какой секте, не поддерживаю ничьих честолюбивых замыслов, ничьей ненависти, ничьей надежды... Вы, сударь, один из тех людей, которые особенно ратовали за всеобщую свободу, можете быть горды и счастливы: я обладаю этой свободой — полной, окончательной, неприступной, и каждый мог бы обладать ею, как я, без прокламаций, без шума, без мятежей и насилия. Для этого требуется ни много, ни мало — труд, терпение, уважение к себе и к другим...»

Он не верил в политические этикетки и отказывался носить на себе какую-либо из них.

«Что касается правительства, которое будет управлять нашей страной, то меня мало заботит его название и его структура. Пусть оно будет, каким хочет или каким может быть, — лишь бы оно сделало Францию великой, почитаемой, свободной, единой, спокойной и справедливой. Если республика достигнет этого результата — я буду с республикой и готов поручиться, что в этом случае на ее стороне окажутся все честные люди».

И в этом он был искренен, хотя в глубине души и сожалел о мире Второй империи, который был миром его юности.

Глава вторая «ДЕНИЗА»

Атлетическая фигура Дюма, его суровость, его слава, память о «Даме с камелиями», романтический брак с русской княгиней — все это продолжало притягивать к нему женщин, искавших общения с писателем. Среди них одной из самых интересных была Адель Коссен, очень богатая коллекционерка, которая жила на Тильзитской улице в особняке с четырьмя фасадами и с сот-

ней окон, смотревших на Триумфальную арку, особняке, наполненном произведениями искусства. Ей суждено было вдохновить Дюма на создание новой пьесы. Он вернулся в театр.

Адель Коссен, которую чаще называли Кассен, дочь красильщика, родилась в Коммерси в 1831 году и в юности была чтицей у одной знатной сицилианки. Как подлинная героиня Дюма-сына, компаньонка забеременела от старшего из четырех сыновей семейства Монфорте (потомка того Монфора, которого Карл Анжуйский привез с собой в Сицилию в XIII веке). На время родов она укрылась в родной Мёзе, и там появилась на свет девочка — Габриель.

Тогда-то и началось существование «Госпожи Кассен» — женщины умной, честолюбивой и очень красивой. Банкир Эдуард Делессер, кое-кто из Ротшильдов и основатель Галереи Жорж Пети дали ей возможность приобрести один из прекрасных «маршальских особняков» между Елисейскими Полями и площадью Звезды. Там она собрала свою знаменитую коллекцию картин, где, кроме работ итальянских и испанских мастеров, были «Каштановая аллея» Теодора Руссо и «Саломея» Анри Реньо. Портрет самой Адели в атласном платье цвета слоновой кости и портрет ее дочурки с распущенными волосами были подписаны именем Гюстава Рикара¹.

Госпожа Кассен не была баронессой д'Анж. Она вела жизнь по видимости безупречную. У нее обедали люди из высшего света, правда, они не приводили на Тильзитскую улицу своих жен. Министры республики, например Гамбетта и Рибо, художники, например Гюстав Доре и Леон Бонна, были ее друзьями. Она добилась того, что некий благонамеренный бордосец, носивший полуаристократическое имя, узаконил ее дочь, и в 1869 году госпожа Кассен выдала ее замуж за графа Руджьеро Монфорте — самого младшего брата ее собственного бывшего любовника, который теперь стал герцогом Лаурито. Таким образом, Габриель в замужестве получила то имя, которое должна была носить по рождению. Получив богатое приданое, она поселилась во Флоренции

¹ Эти две картины были переданы в Малый дворец маркизом Ландольфо Каркано. «Каштановая аллея» Руссо находится в Лувре; «Саломея» Реньо — в нью-йоркском музее «Метрополитен».

и почти порвала со своей матерью, которая сама дала себе прозвище «матери Горио».

В 1880 году госпожа Кассен познакомилась с Дюма, чьи пьесы она давно любила. Они беседовали о живописи; она показала Дюма свою галерею; он ей — своего Мейсонье, Маршала и Тассера. Он очень носился с этим художником, который в 1874 году покончил с собой, будучи всю свою жизнь живописцем слез — как бы Грезом во вкусе Дюма. Полотна Октава Тассера назывались: «Несчастливая семья», «Старый музыкант», «Две матери». В течение второго периода своего творчества он писал обнаженных женщин («Купающаяся Сусанна», «Купающаяся Диана»). Самоубийство повысило его престиж: Дюма-сына, который купил для него навечно участок на кладбище Монпарнас, с гордостью заявлял: «У меня сорок полотен Тассера, в их числе его автопортрет, более прекрасный, чем прекраснейшие вещи Жерико». На авеню Вильер одна большая комната — все четыре стены — была расписана Тассером. Дюма чрезвычайно этим гордился.

После визита к Дюма Адель Кассен отправила ему картину Тассера и свое первое письмо:

«Позвольте мне положить эту вещь к Вашим ногам... Она принадлежит Вам по праву. Весь Тассер должен быть у Вас». Она добавляла, что не решилась принести картину сама: «Мой нотариус донес бы на Вас моим наследникам, а герцогам де Монфор любо все, что принадлежит мне...».

Дюма хотел, в свою очередь, преподнести дарительнице какую-нибудь картину; она воспротивилась: «Прошу Вас, не посылайте мне никаких картин. Прошу Вас, оставайтесь для меня тем же, кем Вы были до сих пор, — человеком, который ничем не обязан мне, а которому, напротив, я обязана пережитыми волнениями. Как это плохо, что Вам ничего не надо от меня! Чем я заслужила такую суровость? Уделите мне хотя бы одну стотысячную долю Вашей дружбы — и это будет для меня щедрым даром...» Несколько дней спустя она писала: «Вы, сударь, самый справедливый и уравновешенный человек из всех, кого я знаю... А главное — Вы человек, которого я уже сильно люблю».

— Потом она разоткровенничалась:

«Это будет благословение Божье, если Вы уделите мне частицу Вашей дружбы, мне — женщине, которая всегда внушала мужчинам лишь то, что Вы называете любовью!.. Мне кажется, толь-

ко я одна никогда не знала того, что испытывают другие женщины,— как следом за любовью приходит дружба. Я всегда вижу, как самые преувеличенные и фальшивые чувства сменяются ненавистью. Трудно представить себе, какую необычайную привязанность может внушить богатая женщина! Прошли годы. Я успела стать бабушкой, а вокруг меня по-прежнему разыгрываются все эти комедии, делающие мою жизнь до крайности печальной и пустой, ибо в основе ее нет искренности. Мне бы ничего не стоило считать себя счастливой, если бы я послушала тех, кто уверяет меня, будто деньги дают все! Господь Бог, создавая меня, сказал: «Ты будешь богата, все твои начинания ждет успех. тебе будет нечего желать, но сверх этого ты не получишь ничего...» Вот Вам, сударь, совершенно интимное письмо. Г-жа Кассен просит у Вас прощения за него — она вроде тех замерзших растений, что жаждут капельки тепла...»

Ей не повезло — она встретила с человеком, который обладал достаточной мерой тепла, но кичился тем, что не передает его другим. Напрасно рассказывала она ему о своих страданиях — страданиях «матери Горио» — и описывала жестокость Габриели. Дюма вперял в нее свои «стальные зрачки», которые, как она говорила, «насквозь пронзали душу». Позднее он сказал ей, что ответственность за воспитание дочери несет она одна. «Вы больно хлещете, когда беретесь за это дело!» — отвечала она, но, как все другие, униженно покорялась.

Адель Кассен — Дюма-сыну: «Через несколько дней я уезжаю в Биарриц. Вы будете очень любезны, если напишете мне, как Ваше здоровье, а также скажете, что за все это время Вы не забыли меня. Вы знаете, что нужны мне. Вы — могучее дерево, на которое я теперь опираюсь. Не оставляйте меня, это было бы поистине слишком печально. В великом одиночестве моей жизни в настоящее время Вы — всё. Я знаю, что в наших отношениях нет ничего от секса, но я все-таки женщина и нуждаюсь в Вашей защите — чисто моральной...»

Она описывала ему своих многочисленных поклонников. В пятьдесят лет она была еще достаточно богата и красива, чтобы привлекать их. Лорд Паулетт, шестой earl¹ Паулетт, увез ее в Хинтон-Сэнт-Джордж, графство Соммерсетшир, где у него был замок и поместье площадью в 22 129 акров, приносящее ежегодный доход в 21 998 фунтов стерлингов. Этот благородный лорд представил Адель своей матери и всему gentry² графства и умолял очаровательную француженку выйти за него за-

¹ Граф (англ.).

² Дворянство (англ.).

муж (он дважды овдовел, обе его графини умерли молодыми). Госпожа Кассен рассказала Дюма об этой победе. Хоть она и благодарила его за то, что он не ухаживает за ней, она выказывала бешеную ревность к госпоже Флаго¹. Он резко выговаривал ей за чрезмерную чувствительность; она возмущалась цинизмом, который он выставлял напоказ.

20 сентября 1881 года: «Неужели вы можете говорить подобные гнусности: «Любовных огорчений не бывает»? Вот опять что-то новое, и Вам придется взять на себя труд объяснить мне это. Я Вам поверила с грехом пополам, когда Вы написали мне, что не бывает моральных страданий. Это может показаться истиной, потому что Вы прибавили к этому: «Бывают только органы, не способные переносить боль» и т. д. Но заявить, что не бывает любовных огорчений! «Какое варваричество!» — сказал бы герцог Оссун². И это говорите Вы! И Вы смеете говорить это мне! Либо Вы смеялись, когда писали мне это, либо Вы были до сего времени счастливейшим из счастливых! Как? Вы никогда не знали сердечных мук?»

По правде говоря, он знал их, но гордость заставляла его их подавлять; он хорохорился, чтобы не впасть в отчаяние. Они долгое время оставались друзьями. Адели были известны нелады в семействе Дюма, капризы «Княгини», которую она так же, как когда-то Жорж Санд, называла «Особой», постоянные угрозы свихнувшейся Надин покончить с собой. Быть может, Адель уже несколько лет лелеяла мечту занять место «Особы» в жизни Дюма. Но он развеял все ее иллюзии. Тогда она стала подумывать о браке с герцогом де Монфором, которого настоятельно требовала ее дочь Габриель.

Коммерси, 6 мая 1886 года: «Я ищу путь, который вывел бы меня из этого печального положения. Я вижу только одно средство: перестроить свою жизнь на совершенно новый лад, выйдя замуж за герцога, если он еще желает этого,— ведь я уже много лет вожу его за нос. Быть может, тогда я обрету покой, необходимый моему несчастному измученному сердцу...»

Дюма резко порицал ее: «Бронзовые двери высшего света,— сказал он (как выразился бы Оливье де Жа-

¹ Оттилия Гендли вышла замуж за художника Леона Флаго. У госпожи Флаго, женщины бесспорно скульптурной красоты, был длинный нос. Ее прозвали «дочерью Венеры и Полишинеля».

² Педро де Алькантара — тринадцатый в роде герцогов д'Оссун, испанский гранд (1812—1898), был своим человеком на Тильзитской улице.

лен), — окажутся закрыты перед Вами!» Она незамедлительно ответила:

Отель Кайзергоф, Киссинген: «Сдается мне, что Вы поставили тебе целью унижать меня в моих собственных глазах. Ах, как Вы жестоки!.. Разумеется, мне не чужд дух смирения (он был у меня всегда), однако Вы заходите слишком далеко.

Я буду герцогиней, говорите Вы, только для моих поставщиков и слуг. Подобную вещь могла бы сказать себе я, но зачем Вы говорите мне это с такой жестокостью? Для моих внучек¹ я наверняка буду герцогиней де Монфор, а это все, на что я могу трезво рассчитывать в этом мире. Если бы дядей моих дорогих девочек был какой-нибудь Жак или Жан, я испытывала бы те же чувства: он в такой же мере был бы корнем дерева, под сенью которого я должна укрыться. Но он ведет свой род от Пантагенета. Вы считаете, что я поступаю «глупо», выйдя за него замуж? Надеюсь, что мои внучки будут другого мнения. К своей незамужней бабушке они не придут никогда, а к супруге своего дяди герцога побегут бегом!

Возможно, что мое теперешнее положение внушает мне иллюзии; очень возможно также, то Вы из дружбы ко мне сгущаете мрачность того будущего, которое я себе уготовила. Но если я и заблуждаюсь, то во имя простительной цели, и если на меня обрушатся все те несчастья, которые Вы предрекаете, то никто не будет от них страдать, а чтобы утешиться, мне достаточно будет вспомнить последние, недавно пережитые мною годы и убедиться, что все еще обернулось к лучшему.

Госпожа де Лавальер говорила: «Если в монастыре кармелиток я буду чувствовать себя несчастной, мне понадобится только вспомнить, сколько страданий причинили мне все эти люди...»

Как же Вы не понимаете этого и не помогаете мне своей дружбой, коль скоро Вы питаете ко мне дружбу? Что же это за дружба, если она отказывает мне в утешении?»

Авторитет Дюма взял верх. Госпожа Кассен не вышла замуж за герцога. Тем не менее Дюма, отчасти вдохновленный воспоминаниями своей приятельницы — хотя после «Багдадской принцессы» он и поклялся порвать с театром, — написал, наконец, новую пьесу, «Дениза», которую отдал в Комеди Франсез. Клятвы драматурга стоят не больше, чем клятвы пьяницы. Сюжет? Вариант «Взглядов госпожи Обрэ». Молодая служанка, соблазненная сыном своих хозяев, родила ребенка; ребенок этот умер. Это обстоятельство хранится в тайне, известно оно только родителям Денизы Бриссо. Через несколько лет ей случилось полюбить порядочного человека — Андре де Барданна; и он полюбил ее. Она чест-

¹ У госпожи Кассен были три внучки (Джованна, Каролина, Маргарита), старшей из них в 1886 году было шестнадцать лет.

но и откровенно рассказывает ему о своей ошибке. Он женится на ней — развязка, которая в 1885 году казалась чудовищной дерзостью.

В Комеди Франсез «Дениза» была поставлена очень хорошо. Совсем юная актриса Юлия Барте продемонстрировала в спектакле высокое и трогательное благородство; Вормс наделил Барданна своим красивым голосом; Коклен и Го оставались Кокленом и Го. Бланш Пьерсон, покинувшая Жимназ, показала себя достойной своих новых товарищей.

Публика приняла спектакль куда более благосклонно, чем «Багдадскую принцессу», потому что эта пьеса была более человечна и потому что — так объяснил бы Дюма — моралист на сей раз решал конфликт в пользу женщины.

Граф Примоли, старый друг автора, писал в одном из итальянских журналов: «Дама с камелиями» — произведение молодого человека. «Дениза» — произведение зрелого человека. Пьесы эти между собой никак не связаны, но, быть может, для того, чтобы понять Денизу, надо было любить Маргариту...» А главное — для этого надо было быть сыном одной Денизы, побежденной, не сумевшей начать свою жизнь заново, и поверенным другом Денизы — победившей и все же отчаявшейся.

Успех был такой блестящий, какого, по словам Перрена, Комеди Франсез не знала в течение тридцати лет. Во время последнего действия публика рыдала. Каждый раз, как давали занавес, Дюма вытаскивали на сцену и устраивали ему овацию. Президент республики Жюль Гриви пригласил его в свою ложу, чтобы поздравить. После спектакля автор поехал ужинать к Бребану со своей дочерью Колеттой, зятем Морисом Липпманом и своим другом Анри Каэном, который крикнул, садясь в фиакр: «Кучер, в Пантеон!»

Надин Дюма, вынужденная по нездоровью остаться в Марли, получила двадцать восемь телеграмм, в которых ей после каждой картины сообщались впечатления публики.

Министр почт Кошери приказал не закрывать телеграфа. Премьера пьесы Дюма стала событием национального значения.

Глава третья
ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!

В 1880 году был организован комитет под председательством Адольфа де Левена для сооружения на площади Мальзерб памятника Дюма-отцу. Но публика выказала себя неблагодарной по отношению к писателю, который так сильно и так долго волновал ее чувства: подписка не оправдала ожиданий. Тогда Гюстав Доре великодушно предложил свой труд *в дар* и создал проект монумента, до воплощения которого он, к несчастью, не дожил: Доре умер незадолго до торжественного открытия памятника, состоявшегося 3 ноября 1883 года.

Гюстава Доре вдохновил сон Дюма-отца, когда-то рассказанный им сыну: «Мне приснилось, что я стою на вершине скалистой горы, и каждый ее камень напоминает какую-либо из моих книг». На вершине огромной гранитной глыбы — точно такой, какую он видел во сне, сидит, улыбаясь, бронзовый Дюма. У его ног расположилась группа: студент, рабочий, молодая девушка, навеки застывшие с книгами в руках. С другой стороны, присев на цоколь, несет караул д'Артаньян.

Дюма-сын с глазами, полными слез, слушал речи ораторов, сидя рядом с женой и двумя дочерьми. Жюль Кларети сказал:

«Говорят, что Дюма развлекал три или четыре поколения. Он делал больше: он утешал их. Если он изобразил человечество более великодушным, чем оно, быть может, есть на самом деле, не упрекайте его за это: он творил людей по своему образу и подобию...»

Эдмон Абу:

«Эта статуя, которая была бы отлита из чистого золота, если бы все читатели Дюма внесли по одному сантим, эта статуя, господа, изображает великого безумца, который при всей своей жизнерадостности, при всей своей необычайной веселости заключал в себе больше здравого смысла и истинной мудрости, чем все мы, вместе взятые. Это образ человека беспорядочного, который посрамил порядок, гуляки, который мог бы служить образцом для всех тружеников; искателя приключений — в любви, в политике, в войне, — который изучил больше книг, чем три бенедиктинских монастыря. Это портрет расточителя, который, промотав миллионы на всякого рода дорогостоящие затеи, оставил, сам того не ведая, королевское наследство. Это сияющее лицо — лицо эгоиста, который всю жизнь жертвовал собой ради матери, ради детей, ра-

ди друзей, во имя родины; слабого и снисходительного отца, который отпустил поводья своего сына и тем не менее имел редкое счастье еще при жизни наблюдать, как его дело продолжает один из самых знаменитых и блестящих людей, которым когда-либо рукоплескала Франция...

...Дюма-отец однажды сказал мне: «Ты не зря любишь Александра; это человек глубоко гуманный, сердце у него такое же большое, как голова. Не будем ему мешать; если все пойдет хорошо, из этого малого выйдет Бог-Сын». Сознал ли этот замечательный человек, произнося эти слова, что тем самым он присвоил себе имя Бога-Отца? Возможно, ведь у Дюма его собственное «я» никогда не вызывало отвращения, потому что он был всегда наивен и добр. Доброта составляет не менее трех четвертей в той удивительной, сложной и хмельной смеси, которую являл собой его гений... Этот писатель, могучий, пылкий, неодолимый, как бушующий поток, никогда не делал ничего из ненависти или из мести; он был милостив и великодушен по отношению к своим самым жестоким врагам; потому-то он оставил в этом мире одних только друзей... Такова, господа, мораль настоящей церемонии...»

Это был радостный день для Дюма-сына. После смерти Дюма-отца газеты поспешили опустить слово «сын», но он сразу же запротестовал: «Это слово — неотъемлемая часть моего имени; это как бы вторая фамилия, дополняющая первую».

Александр Второй увидел, как между его особняком и домом, где жил Александр Первый, вырос памятник его отцу, окруженному любовью, восхищением, поклонением. Все ораторы в своих речах объединяли этих двух людей. Сын на какое-то мгновение позволил себе быть счастливым. В тот день он пожимал руки тем, с кем накануне не хотел здороваться. Вспомнили, что отец называл его «своим лучшим произведением» и что он, почти единственный среди сыновей великих художников, не только не был раздавлен своим именем, но еще приумножил его славу. Отныне каждый день, возвращаясь домой, он будет видеть это широкое доброе лицо и говорить статуе: «Здравствуй, папа!»

Вечером в Комеди Франсез артисты возложили венок на бюст Дюма-отца и сыграли его пьесу «Мадемуазель де Бель-Иль».

Единственной фальшивой нотой прозвучал голос Гайярде, соавтора «Нельской башни», — он возражал против того, чтобы название этой пьесы в числе других было высечено на пьедестале. Дюма ответил ему, что заранее разрешает использовать это название при сооружении памятника Гайярде.

В наши дни трудно даже представить себе, какое положение занимал Александр Дюма-сын в восьмидесятые годы в Париже. Всемогуший в театре, он царил также в Академии, где вел себя, как мушкетер. Когда Пастер выставил свою кандидатуру, Дюма написал Легуве: «Я не допущу, чтобы он пришел ко мне,— я сам приду благодарить его за то, что он пожелал быть среди нас...»

Луи Пастер — Дюма-сыну: «Сударь, не могу выразить, как я тронут Вашей поддержкой и той поистине благосклонной и непосредственной манерой, с какою Вы по своей доброте мне ее предложили. Ваше письмо к г-ну Легуве стало семейной реликвией. Его с радостным рвением переписывают для отсутствующих... Благодарю Вас, сударь, и с нетерпением жду того дня, когда, Бог даст, смогу с превеликой гордостью называть себя и подписываться «Ваш преданнейший собрат...».

По четвергам в Академии эти два человека, которых тянуло друг к другу, выбирали себе места по соседству. Пастер оценил «чуткость этого сердца, которое открывалось тем шире, чем достойнее был повод...». Однажды Дюма, слушая прения, сделал из листка бумаги птичку. Пастер выпросил у него эту игрушку для своей внучки. Дюма отдал ему птичку, написав на крыле: «Одна из моих героинь, пока неизвестная».

Пастер знал, что Дюма, когда ему сообщали о чьем-то действительно бедственном положении, бывал щедр. Он слыл «прижимистым». Враги ехидно говорили о нем: «сын мота — жмот», и эти слова они приписывали Жорж Санд. Это ложь; госпоже Санд лучше, чем кому-либо, было известно бескорыстие человека, который написал за нее множество пьес и отказался от гонорара. Наученный горьким опытом отца, Дюма-сын считал деньги. Благоразумие — не скупость.

Врагов у него хватало. Его остроты, подчас жестокие, оскорбляли людей. У своего приятеля, барона Эдмона Ротшильда, он однажды спросил: «Не оттого ли, что я написал «Полусвет», вы сажаете меня за один стол с моими героинями?»

Госпоже Эдмон Адам (Жюльетте Ламбер), которая хотела свести его с Анри Рошфором, он написал:

«Дорогой друг! Говорю Вам совершенно откровенно... Этот человек, вечно восстающий против всех и вся только потому, что все и вся стоят выше его; человек, оскорбляющий всех и вся только потому, что он всех и вся ненавидит; человек, который брызжет ядовитой слюной на своих прежних друзей, когда не может их

укусить; человек, самым своим существованием обязанный людям, которых он готов убить; чья признательность тем, кто его спас, выражается не иначе, как руганью и клеветой; человек, выпускающий гнусную газету и сознающий, что она гнусная,— только ради того, чтобы зашибить деньгу и обеспечить себе благополучие, которым он попрекает других,— этот человек достоин презрения и презираем по заслугам. Вы обладаете способностью дышать в подобной атмосфере,— это особое органическое свойство; что касается меня, то я выбил бы стекла, чтобы глотнуть воздуха...

Вы находите очень забавным сажать за один стол бывших сторонников империи и Вашего монстра, с которым, пользуясь случаем, Вы хотели бы примирить Вашего друга Дюма, так как Вам надоело и Вас раздражает, что первый так оскорбляет второго. Но есть типы, чьи оскорбления — благо, ибо в конце концов существуют люди порядочные и существуют совсем другие. Ваш приятель Рошфор — среди последних, и как бы Вы ни старались, Вам не удастся извлечь его из этого круга.

Что может делать такое чистое и светлое существо, как Вы, в обществе этого детища хаоса и грязи? Неужели же Вы надеетесь очистить эту клоаку и оздоровить это болото?»

Если гнев рождает стихи, то полемика заостряет прозу. Однако остроты Дюма, в то время приносившие ему все большую славу, нередко кажутся нам посредственными. Он украшал ими свои обеды по вторникам (там бывали Детай, Мейсонье, Лавуа, Миро, Мельяк) и обеды у госпожи Обернон.

— Я глухой, хоть и сенатор,— сказал ему маршал Канробер.

— Это самая большая удача, какая может выпасть сенатору,— ответил Дюма.

Молодой актрисе, которая, вернувшись со сцены, сказала ему: «Потрогайте мое сердце,— слышите, как оно бьется? Как вы его находите?» — он ответил: «Я нахожу его круглым».

Когда ему сказали, что его приятель Нарре, став чересчур толстым, теперь немного поубавил в весе, он заявил: «Да, он худеет с горя, что толстеет».

Принцу Наполеону, который за глаза поносил одну из его пьес, а при встрече с автором поздравлял его с удачей, он заметил: «Ваше высочество поступили бы лучше, говоря другим о достоинствах моей пьесы, а мне — о ее недостатках».

Так как его пьесы все еще шли с успехом, новые постановки всецело занимали и молодили его.

Знаменитому стареющему писателю отрадно предоставить свой опыт и свое мастерство в распоряжение молодых людей, таких, каким когда-то был он сам. Те-

перь «Даму с камелиями» играла Сара Бернар. В этой роли она была неподражаема и всякий раз вносила что-то новое. Когда по ходу действия пьесы понадобилась гербовая бумага, она сымпровизировала: «Не ищите — у меня ее сколько угодно». Дюма-сын ее баловал и дарил конфетами с ликером, которые она очень любила.

Когда Комеди Франсез возобновила «Иностранку», Дюма настоял, чтобы роль, которую играла Сара, поручили Бланш Пьерсон. Роль Круазет получила Барте. Пьеса звучала по-иному — пожалуй, даже лучше. Драматург понимает, что жизнь пьесы зависит не только от нее самой, но и от прочтения, и ему приятно сознавать, что после его смерти его произведения будут меняться, а значит — жить.

Комеди Франсез стала теперь, как в свое время Жимназ, домом Дюма-сына. Смерть генерального комиссара Эмиля Перрена была для Дюма большой утратой. Этих двух людей — холодных и высокомерных — связывала прочная дружба. Когда Перрен заболел неизлечимой и мучительной болезнью, Дюма часто приходил к нему, стараясь его ободрить. В один июньский день 1885 года Перрен послал сказать Дюма, что он хочет как можно скорее увидеть его: «Я умру с минуты на минуту — я хотел бы пожать Вашу руку, проститься с Вами и поблагодарить Вас за последнюю большую радость моей жизни — успех «Денизы». Вернувшись домой, Дюма сказал своей дочери: «Нельзя умереть более стойко, чем он».

Другим горем была смерть Адольфа де Левена — старейшего друга семейства Дюма. Страдавший раком желудка, Левен отказался от пищи и умирал с голоду, окруженный своими четырьмя собаками, которые лизали ему руки, и птицами, певшими в большой вольтере. Дюма приходил к нему три раза в день.

— Как вы себя чувствуете? — спрашивал он.

— Как человек, уходящий из этого мира. Я уже предвкушаю иной мир. Я прожил достаточно; ничто из нынешних событий меня не занимает.

Дюма требовал, чтобы он принял хоть немного пищи.

— Зачем? Мне выпало счастье умирать без мук. Если я восстановлю свои силы — кто знает, что со мною будет потом?

В свои восемьдесят два года Левен был худощавый, стройный старик с удлинённым, чуть красноватым ли-

цом; он носил слегка набекрень шляпу с очень высокой тульей, большой отложной воротник и длинный галстук, несколько раз обвязанный вокруг шеи. Он одевался так же, как во времена Луи-Филиппа; его борода в восемьдесят лет упрямо оставалась черной. Нервный, раздражительный, он тем не менее отлично ладил сначала с Дюма-отцом, а потом и с Дюма-сыном. Он сделал Дюма-сына своим единственным наследником и оставил ему свое имение Марли в память тех счастливых лет, что они провели там вместе. Он приказал Дюма держать у себя его лошадей до их естественной смерти, чтобы им никогда не пришлось ходить в упряжке, тащить фиакр или телегу. Каждой из своих собак он назначил содержание. Отпевали его в Марли, похоронили на кладбище Пек. Дюма произнес речь и зачитал отрывок из «Мемуаров» Дюма-отца, где автор «Антони» рассказывал о своей встрече со шведом, который сделал из него французского драматурга.

«Все, кто знал Левена,— сказал Дюма-сын,— даже те, кто впервые увидел его в последние годы жизни, сразу же узнают его в этом портрете, где он изображен молодым. Напоминая ели своей суровой северной родины, которые всегда остаются стройными и зелеными,— всегда, даже когда они покрыты снегом,— наш друг до восьмидесяти двух лет оставался все тем же невысоким, стройным человеком, с изящной осанкой, аристократически непринужденными манерами, гордым и твердым взглядом. Что касается достоинств его души и его ума, о которых мой отец так часто говорит в своих «Мемуарах», то с годами они только умножились. Несколько холодный внешне, как все те люди, которые хотят знать, кого они дарят своей дружбой, ибо не могут дарить ее без уважения к человеку, дабы не лишиться его потом ни того, ни другого,— несколько холодный внешне, Левен был самым надежным, самым преданным, самым нежным другом для тех, кому удалось растопить лед первого знакомства...

Утром 14 апреля мне показалось по некоторым признакам, что смерть решила вскоре дать ему покой, которого он от нее ждал. Я больше не отходил от него. «Если бы сегодня была хорошая погода!» — это последние слова, которые он был в силах прошептать, и это единственное из его последних желаний, которое не могло быть исполнено. С этой минуты — только легкое пожатие руки, все более шумное дыхание, движения головы и взгляды, означавшие последнее прощанье... День угас, умолкли птицы; наступили сумерки. Его спокойное лицо со строгими чертами освещал теперь лишь слабый свет ночника. Дыхание его становилось все ровнее, все реже, все тише, и мне пришлось склониться над ним, чтобы увериться, что он уснул вечным сном, без малейшего содрогания и без всякой борьбы. Я закрыл ему глаза, поцеловал его и не покидал до тех пор, пока слуги, плача и читая молитвы, не одели его в костюм, в котором он пожелал покоиться вечным сном.

Вот как покинул мир этот бесценный человек. Невозможно представить себе смерть более простую, более спокойную, более благородную, более достойную того, чтобы служить поучительным примером для людей беспечных и слабых. Что касается меня, то я исполнил его волю: он покоится рядом со своей женой. Друга моего отца, которого он более шестидесяти лет тому назад нашел на живописной дороге, окаймленной боярышником и маргаритками, я с благоговением похоронил там, где он пожелал,— среди друзей, под холмом из цветов...»

После смерти Тейлора и Левена остался в живых только один свидетель молодости Дюма-отца — самый великий из них, Виктор Гюго. И он, в свою очередь, покинул мир в 1885 году. Дюма-сын не слишком скорбел о нем. Сначала этих двух людей разъединили неприятные воспоминания, потом — политика. Гюго верил в прогресс, в республику; Дюма — в упадок, в тщетность всех усилий. Театральное шествие от Триумфальной арки до Пантеона раздосадовало Дюма.

«Если бы произведения Виктора Гюго,— сказал он,— были враждебны республике, вместо того чтобы быть враждебными империи, стихи его от этого не стали бы хуже, зато ему не устроили бы национальных похорон... Если бы он жил возле Тронной площади, а не возле площади Звезды, его талант не оскудел бы, но его тело не провезли бы под Триумфальной аркой. На похоронах Мюссе, который тоже был великим поэтом, не набралось и тридцати человек...»

В Академии по поводу похорон Гюго велись долгие споры. Должен ли Максим дю Кан, тогдашний старейшина, произнести речь от имени академиков? Некоторые из них полагали, что ввиду политических взглядов Максима дю Кана лучше не рисковать — возможна враждебная демонстрация.

«Академия,— сурово изрек Дюма,— должна быть выше общественного мнения. У нее есть свои правила. Пусть она их соблюдает». В этой высокомерной и воинствующей непримиримости был он весь.

Глава четвертая

«ФРАНСИЙОН»

На место Перрена в Комеди Франсез пришел Жюль Кларети. Это был еще не старый, ловкий человек с крючковатым носом. Он первым придумал раздел еженедельной хроники. Его «Парижская неделя», которую

печатала «Тан», забавляла читателей резкими и неожиданными переходами. В Комеди Франсез он после сурового Перрена казался бесхарактерным. Он всем все обещал. Ему дали несколько прозвищ: «Фридрих Барбарис», «Да-Если-Нет», «Антрепренер госпожи Церемонии». Карикатуристы изображали, как он бежит по коридору, спасаясь от сосъетеров. Но он продержался двадцать восемь лет.

Вступив на пост администратора, он первым делом обратился к Дюма за новой пьесой. «Гвардию, введите в дело гвардию!» — кричал он. Дюма — «светоч надежды и светоч мысли» — начал для него пьесу «Фиванская дорога», но работа подвигалась медленно. Он хотел довести замысел до совершенства. «Когда ты близок к тому, чтобы покинуть этот мир, надо говорить только то, что стоит труда быть сказанным...» Старость начинается в тот день, когда умирает отвага. Близился срок, назначенный им самим для передачи театру «Фиванской дороги», Дюма понял, что пьеса не может быть готова к этому времени. Однако Кларети на него рассчитывал. Как быть? Он вспоминает, что когда-то написал один акт на смелый и легкий сюжет. Женщина говорит мужу: «Если ты мне изменишь, я возьму себе любовника». Муж ей изменяет; она едет на бал, увозит первого попавшегося молодого человека, ужинает с ним и, возвратившись домой, заявляет: «Я отомстила». Это неправда, но муж верит. Жена довела бы свою игру до конца и пошла бы даже на развод, если бы тот самый молодой человек не появился вновь на сцене в качестве нотариального клерка, вызванного для составления необходимых для развода документов. Он лучше кого бы то ни было знает, что ничего серьезного не случилось. Он заявляет об этом, и ему удается убедить мужа. Драма исчерпана; комедия кончается, как ей положено.

Дюма послал Кларети «Франсийона» со следующей запиской:

«Кончено.
Очень опасно.
Очень длинно.
Очень устал.
Ваш

А. Д.»

Тема была не нова. Луи Гандера когда-то давал Дюма читать пьесу «Мисс Фанфар» на тот же сюжет. Дю-

ма перестроил ее первое действие. Гандера, которому больше нравилась его собственная версия, сам разрешил Дюма воспользоваться для себя переделанным действием, которое и стало отправной точкой для «Франсийона». Шедевр ли это? Нет, но это удачная пьеса, одна из самых приятных в наследии Дюма-сына. Сам Гандера великодушно одобрил мастерство виртуоза.

«Александрю Дюма — третьему носителю этого славного имени, уже исполнилось шестьдесят два года, но энергия его племени еще не истощилась в нем. Какой человек! Какой великолепный Негр! Он обращается с нами, как с белыми. Он дает нам почувствовать свою силу, а иногда и жестокость; нас это вполне устраивает. Ведет он публику по правильной или по ложной дороге, он делает это рукою мастера. Он владеет и управляет ею примерно так же, как его дед управлял лошадьми. Если и есть какая-либо разница между молодым и сегодняшним Дюма, она состоит не в том, что теперь он слабее; она состоит в том, что, вволю насладившись своими природными данными и своим искусством, он предпочитает теперь упражнения одновременно и более простые и более трудные...»

Мир, который Дюма живописал в «Франсийоне», был его обычным миром, где мужчины при белом галстуке из гостиной своей супруги едут в клуб, а оттуда попадают в спальню «небезызвестных девиц». Фауна Дюма-сына здесь представлена полностью: тут и бессовестный муж, и оскорбленная жена, и друг — завсегда-тай клуба, но при этом философ, и приятельница-резонерка; тут и аппетитная особа — наполовину традиционная инженерю, наполовину просвещенная девица образца 1887 года. Однако диалог был искрометный, действие стремительное, и публика бурно приветствовала своего покорителя.

«Франсийон» прошел на «ура». При поднятии занавеса публика рукоплескала художнику. «Станный аппарат из дерева и никеля» привлек все взгляды: еще ни разу до этого памятного вечера на сцене Французского театра не видели телефона! «Ну и смельчак этот Кларети!» — шептались зрители.

«Я был очарован, увлечен, взволнован не меньше, чем публика, — писал Сарсе. — Первое действие ослепляет... Фейерверк острот. Остроты, обыгрывающие ситуацию, характер, блестящие каламбуры! Богатство, не поддающееся описанию!» Франсина де Ривероль в исполнении Юлии Барте походила на «задорную козочку, бьющую копытами».

Дюма-сын — Юлии Барте: «Все целуют Вам руки, Вам, победившей в двойне,— получают стихи, которые я не способен продолжать. Оставайтесь долгие годы такой же. Это пожелание человека, который может теперь только желать...»

«Ах, уж этот Дюма, этот Дюма! — злословили в гостиных.— Он хочет убедить нас в том, что светская женщина, будучи обманута мужем, способна подцепить первого встречного и на другой же день начать хвастаться тем, что стала любовницей этого незнакомца. Ну и история!» Другие усматривали в пьесе определенный тезис: «Око за око, зуб за зуб!» — вот девиз Вашей героини, и Вы его одобряете. Вы провозглашаете право женщины на возмездие. «Убей ее!» — говорили Вы прежде, и по Вашей команде под аплодисменты присяжных вытаскивались револьверы... «Измени ему!» — говорите Вы теперь — и ночные рестораны сразу же распахивают свои двери и отпирают отдельные кабинеты».

Дюма не говорил: «Измени ему!» Наоборот. Однако он утверждал, что, хотя адюльтер не имеет для мужчины тех последствий, какие он имеет для женщины, и для него это далеко не пустяк.

Читателя нашего времени, видевшего немало куда более рискованных пьес, удивляет, что эту пьесу считали «грубой». В ней все же была правда. Общество, описанное в «Франсийоне», — это не общество Сен-Жерменского предместья, еще менее — общество квартала Марэ. Это мир Елисейских Полей и равнины Монсо. «В этом районе Парижа добродетель встречается не так редко, как стыдливость. Там есть порядочные женщины, но жаргон, на котором они изъясняются, нередко с примесью площадных словечек, бросает вызов приличию. Файф-о-клок в одной из гостиных этого мирка, или, вернее сказать, в холле, у молодой супружеской четы, в кругу близких друзей, вот тот маленький праздник, на который нас приглашает г-н Дюма...» — писал Луи Гандера.

И в заключение Гандера еще раз напоминал о происхождении Дюма, зная, что это не может не понравиться его другу:

«Еще больше, чем само произведение, поражает нас его автор — его сила, которую мы ощущаем в его виртуозности; его жизнерадостность, непосредственным выражением которой является бьющее через край веселье. Мы все — кто бы мы ни были — восхищаемся г-ном Дюма; мы его любим, и если нам есть за что

прощать его, мы с радостью это делаем, ибо внук победителя при Бриксене спустя сорок лет — или около того — после своего литературного дебюта все еще являет нам с истинно негритянским темпераментом самый язвительный ум и самое блестящее, самое беспощадное и самое меткое остроумие, какое только может явить парижанин».

Глава пятая ЛЮБОВЬ И СТАРОСТЬ

Талант не возмещает того, что уничтожает время. Слава молодит только наше имя.

*Шатобриан.
Письмо к Анри Ривьеру*

Действительно, в то время Дюма иногда казался необычайно веселым. Этот созерцатель любви вынужден был наконец сознаться себе, что влюблен, как шестидесятилетний мужчина может быть влюблен в молодую женщину — с отчаянной страстью, внушающей последнюю надежду.

С очень давних пор он вел дружбу со старым, ушедшим на пенсию актером — почетным старшиной Комеди Франсез — Ренье де ла Бриером, которого называли просто *Ренье*. Трудно представить себе более привлекательную чету, чем супруги Ренье. Муж, в прошлом актер высокого класса, затем архивариус Французского театра, профессор Консерватории, режиссер и, наконец, заведующий постановочной частью Оперы, прошел хорошую школу у ораторианцев. Это был маленький человек, любезный и саркастичный; его непосредственная и отточенная актерская игра в свое время и волновала и развлекала публику. «Он не гнался за эффектами, они сами шли к нему». Он написал несколько превосходных книг, в том числе «Тартюф и актер».

Его жена, женщина удивительной красоты, была дочерью Луизы Гревдон из Жимназ, некогда обожаемой любовницы Скриба.

Его дочь — еще одно чудо — в восемнадцать лет вышла замуж за архитектора Феликса Эскалье, который был в то же время и живописцем. Дюма-сын знал восхитительную Анриетту еще ребенком. Он наблюдал, как вместе с нею растут ее очарование и изящество, — он

восторгался ею. Ее брак с архитектором был прискорбной ошибкой. Казалось, только один этот каменный человек не боготворил эту женщину — свою жену, за которой безуспешно ухаживало столько других мужчин. Немало выстрадав, она разошлась с ним и теперь, разочарованная, упавшая духом, жила у родителей. Анриетта всегда восхищалась Дюма, но он внушал ей робость; перед ним она «чувствовала себя маленькой девочкой». Она спрашивала у него совета, что читать, и благодарила за жалость к ней. «Чувство, которое я питаю к Вам, вовсе не жалость, — отвечал он, — это самая безграничная нежность». Она жаловалась на одиночество и просила увенчанного славой драматурга, который, по ее мнению, был «прекрасен, как бог», чтобы он проводил с нею время и развлекал ее.

Дюма-сын — Анриетте Эскалье, ноябрь 1887 года: «Мой прелестный маленький друг! Вы просите у меня золотую монету на одну из Ваших благотворительных затей — но отчего же Вы просите так мало? Неужто Вы верите в легенду, что я скуп? Во всяком случае, по отношению к Вам я таковым не буду. Пользуйтесь моим кошельком вволю; он во всех случаях окажется больше, чем Ваши маленькие ручки. Я всегда буду счастлив творить добро вместе с Вами, потому что Вы не захотите делать зла. Мой прелестный маленький друг, я у Ваших ног, — они, наверное, не больше Ваших ручек...

Если у Вас есть фотографии, где Вы похожи на себя, — дайте мне одну. Я верну ее Вам в книге, рассказывающей историю богини, на которую Вы, по-моему, похожи. Вы увидите, что все Ваши друзья придут к тому же мнению, но первым открыл это сходство я. Передайте Вашей матушке мой самый почтительный привет».

Портрет действительно был возвращен Анриетте в книге Лафонтена «Психея». Дюма переплел два томика в бирюзовый сафьян и наклеил фотографию Анриетты на внутреннюю сторону верхней обложки. К книгам было приложено следующее письмо:

«Мой дорогой маленький друг! Созовите семь греческих мудрецов, соберите судей ареопага, присоедините к ним Фидия, Леонардо, Корреджо, Клодиона и скажите им: «Мой друг Дюма утверждает, что я похожа на Психею». Все они ответят — каждый на своем языке: «Что ж! Это правда».

Вот почему я преподношу Вам сегодня историю этой царской дочери, которую Амур сделал богиней, и прилагаю к ней Ваш портрет (который, я надеюсь, Вы мне возместите), дабы те, в чьи руки попадет эта книга, когда ни Вас, ни меня уже не будет в живых, убедились, что ни мудрецы, ни судьи, ни художники, ни я не ошиблись. Не ошиблись, открыв в Вас божественные черты той, что сделала Венеру ревнивой, а Купидона — постоянным.

Мой маленький друг, в награду за свои преподношения я позволю себе поцеловать Вам руки».

Пораженный тем интересом, который совершенно явно выказывало к нему столь молодое и столь желанное создание, он не смел сорвать цветок улыбнувшегося ему счастья. Давно уже он не верил в искреннюю любовь. Стоило ему начать анализировать чувства какой-нибудь женщины, как он обнаруживал гордость, тщеславие, потребность в защите, но никогда не находил той абсолютной и гордой верности, которая все еще оставалась для этого седовласого человека юношеской мечтой. Поэтому он безжалостно отталкивал от себя всех, кто его осаждал: актрис и светских женщин, грешниц и кающихся. Примерно в то же время он отвечал одной юной девушке из Сета, предложившей ему себя:

«Дорогое дитя! Я понял Вас, хотя не желал понимать, потому, что не должен... Боже упаси меня от того, чтобы поставить всю Вашу жизнь в зависимость от Вашего первого увлечения и от моей последней иллюзии! Я давно уже покончил с любовью, Вы могли быть моей дочерью. Вы обаятельны и обладаете тем, что я ценю превыше всего,— девственностью. Я не сделаю Вас похожей на других женщин, не ввергну во все беды, весь ужас падения и раскаяния. Я слишком хорошо знаю, что это такое и к чему ведет.

Я не хочу, чтобы Вы имели повод когда-либо жаловаться на меня или краснеть за себя. В сердце моем я отвел Вам достойное место — единственное, какое Вы можете занять там с честью.

Не искушайте меня на что-либо, превышающее дружбу; Вам принадлежит то, что есть во мне лучшего.

Обнимаю Вас...»

Однако Анриетта Эскалье, искренне влюбленная, ослепленная авторитетом, славой и внешностью Дюма-сына, не теряла надежды победить его сопротивление. Ее решимость укрепляли сведения о раздорах в семье Дюма, о княгине с расстроенными нервами, о том, что отношения Дюма с Оттилией Флаго (которая стала бабушкой) приняли характер дружбы, и она отважно устремилась на приступ своего героя. В 1885 году Ренье умер, и Дюма теперь часто виделся с его женой и дочерью, удрученными скорбью, помогал им советом и делом. Вскоре он уже не сомневался в возможности одержать победу — отсветы ее горели в глазах Анриетты.

Победа? Не было ли это для него скорее поражением? Конечно, его искушало лучезарное лицо Анриетты,

ее восхитительное тело, пленительная молодость. Воспоминания о маленькой девочке, которая еще так недавно плескалась в море у него на глазах, невинная и не осознавшая себя, смешивались с образом находившейся рядом цветущей женщины. Но что сулит Анриетте, думал он, связь со старым любовником, слишком хорошо знающим женщин, чтобы не испытывать безумной ревности? Как она сможет вынести грусть, мизантропию, приступы отчаяния сложной природы художника, считающего, что у него уже не хватает дыхания?

Он навсегда запомнит одну дату: 13 апреля 1887 года — день, когда она отдалась ему после первого поцелуя. *«13 апреля 1887 года я слил свою судьбу с твоею на твоих губах»*. Она могла бы ответить, как Джульетта: *«Я была слишком нежна, и вы, пожалуй, могли опасаться, что, когда вы на мне женитесь, мое поведение станет очень легкомысленным»*. — «Я все время спрашивал себя в тот день, искренне ли это смятение, или наигранно, или же с тобою так бывает всегда и надо было только решительно подойти к тебе, чтобы взять?.. Ах! Если я впервые смутил твои чувства, то ты могла бы похвастать тем, что впервые посрамила мои психологические познания, ибо ты единственная женщина, которую я не могу постичь...» Единственная! О наивность Оливье де Жалена!

Позднее он старался увидеть в той удивительной легкости, с какою Анриетта предложила ему себя, счастливое предзнаменование: «Когда меня охватывают сомнения, то непосредственность, с какою ты отдалась мне душою и телом, убеждает меня в твоей невинности. Женщина, которая уже отдавалась другому мужчине, не отдалась бы так скоро... Она опасалась бы, что, уступив так легко, вызовет подозрения и выдаст себя...»

Дюма-сын — Анриетте Ренье, октябрь 1887 года: «До чего мы дойдем таким путем? До какого решения? До какой катастрофы? Я ничего об этом не знаю... Прошло уже полгода с того дня, как ты бросилась в мои объятия с тайным предчувствием, что во мне — твое счастье и несчастье. Сколько бы мне ни осталось жить, я все мои силы и весь мой ум употребляю на то, чтобы сделать тебя счастливой. Не спорь, не задавайся вопросами, не мучай себя. Живи, не думая, и позволь обожать тебя, как женщину, как ангела, как богиню, как ребенка — как мне захочется. Ты больше не принадлежишь себе. Ты хотела иметь повелителя, и у тебя не может быть лучшего, чем тот, что есть. Чувствуешь ли ты, что ни одно создание в этом мире не любимо так, как ты?..»

Он действительно любил ее так, как не любил никого со времен Мари Дюплесси и Лидии Нессельроде, даже сильнее, ибо Анриетта Ренье больше всех походила на ту Сильфиду, которую он, как многие мужчины, тщетно искал.

«Ты неожиданно вошла в мою жизнь, дав моему идеалу самое лучезарное воплощение... Ты была для меня не только женщиной, которую я обожал с момента ее появления, но и той, которую я всегда обожал втайне, вопреки всем образам, какие принимала человеческая самка, стоявшая между мной и Ею...»

Это была большая физическая страсть. Благодаря Анриетте он узнал на закате жизни счастье приходит с трепетом на свидания, которых она никогда не пропускала. К пылу любовника примешивалась почти отеческая нежность, с какою он опекал это молодое существо, следил за ее здоровьем, ее поступками. Если ему случилось присутствовать при том, как Анриетта, выйдя из себя, говорила резкости матери, которую она тем не менее обожала, на другой день он писал ей, предупреждая, что со временем она жестоко раскается, что огорчала госпожу Ренье. В 1890 году Анриетта развелась с мужем. Поскольку она уже много лет не жила с Эскалье, она, несомненно, надеялась сразу же связать свою жизнь с Дюма. Но как он мог на ней жениться? Мог ли он оставить шестидесятилетнюю, тяжело больную госпожу Дюма? Мог ли поставить под угрозу будущее их незамужней дочери Жаннины? Противник адюльтера увидел, что обречен на длительную тайную связь. Глубоко тревожась за репутацию своей возлюбленной, он обставил свои отношения с ней наивными предосторожностями и телеграммы, которые посылал ей, когда разлучался с нею, уезжая на отдых, подписывал именем «Дениза».

Счастье его отравляло, как всегда в этом мире, полном разлада, смутное недовольство собой. Эта любовь, на которую у него уже не хватало сил, взбаламутила его жизнь — а ведь он хотел, чтобы она была безупречной!

«Вот уже семь лет,— писал он в 1893 году,— как не было ни единого часа, чтобы я не думал о тебе. Если бы звезда упала в море, она не произвела бы большего волнения, чем произвела ты, ворвавшись в мою жизнь. Все, что я думал о любви, будучи убежден в том, что никогда не познаю ее в действительности, я познал в тебе: физическое совершенство и возможность морального совер-

шенства,— если верить тому, что ты утверждаешь... Ах! Сюзон, Сюзон, как ты заставляешь меня страдать!..»

Человек театра цитировал Бомарше. Просто человек страдал. Почему? Потому что он не верил в свое счастье: «Вся моя жизнь уходит на то, чтобы воссоздать твою. Я ищу тебя в твоём прошлом, следую за тобой из года в год, говоря себе: «Что делала Анриетта в то время? Почему она была там-то и там-то?» И если мне что-нибудь неясно, если ты, как Феба, у которой ты позаимствовала перламутровую белизну, скрываешься за облаком, я терзаюсь подозрениями, тревожусь, страдаю...»

Госпожа Ренье сняла на лето домик в Лион-сюр-Мер, и дочь поехала туда с нею. Анриетта скучала на этом курорте, где безраздельно царила Жип. Дюма опасался молодых людей, игр на песке и в воде, ловушек, которые расставляет безделье. Чтобы успокоить его, Анриетта послала ему свой девичий дневник, где она уже много говорила о нем.

Дюма-сын — Анриетте Ренье, 22 сентября 1893 года: «Напрасно ты не любишь море. Ведь как раз у моря я увидел тебя в первый раз на твоём ослике (в 1864 году)... Так начинаются английские романы. Почему Бог не дал себе труда спуститься и шепнуть мне на ухо: «В один прекрасный день эта девочка полюбит тебя. Береги себя для нее». И тебе какой-нибудь ангел мог бы сказать: «Со временем этот человек будет бесконечно обожать тебя. Береги себя для него». Бог не сделал того, что должен был сделать; ангел прошелестел крыльями над тобой, не сказав ни слова, но ты все же заметила его, и у тебя осталось предчувствие. Когда я возвращаюсь к твоему прошлому благодаря тетрадам, которые ты мне дала читать, письмам, с которыми ты меня познакомила, я время от времени встречаю там свое имя,— оно притягивало тебя все более и более, пока ты не упала в мои объятия, чтобы никогда из них не вырваться...»

Но несмотря на эти трогательные предвестия, он продолжал терзаться. За свою жизнь он наблюдал столько поводов для ревности, что клятвы Анриетты ничуть его не успокаивали. «В самом деле, твои письма говорят за то, что это был *первый раз*, но Меркурий так коварен, а ты настолько женщина, от корней волос до кончиков ногтей...»

К кому он ревновал? К мужу? Меньше всего. «Тот, кому ты была отдана в семнадцать лет, не ведая, что за этим кроется, ничего для меня не значит...» Нет, он ревновал к мужчинам, которых она могла выбирать сама,— к композитору Паладилю, который обучал ее пению, к

салонным тенорам; одинаково ревновал к прошлому и к настоящему, ужасно страдая при мысли о «малейшем осквернении». Она упрекала его в несправедливом недоверии к ней, в то время как она силилась избегать всех «искушений и покушений». Он оправдывался. Мог ли он быть другим?

«Я никогда не видел вокруг себя ничего, кроме порока, лжи, разложения во всех видах и формах. Мне удалось бессознательным, но могучим усилием вырваться из этого круга самому, без чьей-либо помощи... Но во мне осталось глубокое недоверие. Я встретил тебя в ту пору моей жизни, когда я должен был бы покончить со всеми иллюзиями, но ты в такой мере воплощала мечты моей ранней юности, что я не мог сопротивляться... От того, как поступали со мной и как еще могут поступить женщины, прошедшие через мою жизнь,— в том числе и та, что стала моей спутницей,— я не страдал, ибо не любил их. Я не был счастлив, но благодаря работе я был покоен. Не встретить я тебя, я вскоре забыл бы вообще, что на свете существуют женщины. Я никогда не отдавал им и частицы моей души, а мое тело испытывало отвращение и омерзение... Я родился целомудренным... Я не встречал женщины, которая не лгала бы. Почему бы и тебе не лгать, как другие?»

Когда госпожа Ренье почувствовала, что она очень больна и конец ее недалек, она призвала к себе Дюма и с тревогой сказала ему: «Анриетта остается одна на свете...» Ему было крайне тяжело, что в такой момент он не может стать постоянной законной опорой для растерявшейся молодой женщины. Он дал слово жениться на ней, если он когда-либо окажется свободным. Это было вероятное предположение, так как в 1891 году Надин Александр-Дюма, обезумев от ревности, покинула особняк на авеню де Вильер и поселилась у своей дочери Колетты. Тем не менее Дюма не мог требовать развода у женщины с расстроенной психикой, у которой врачи определили неизлечимую душевную болезнь. Да и кроме того, был ли он уверен в том, что желает этого? Оливье де Жален снова колебался в выборе развязки.

Дюма-сын — Анриетте Ренье: «Помимо всего, возникло еще это осложнение — возможность свободы для меня. Ты не заблуждаешься касательно того, на какие размышления навела меня эта возможность. Я стал бояться этого события как несчастья, хотя вполне заслужил право желать его как реванша... Вот уже двадцать восемь лет, как я имел глупость исполнить свой долг: это едва не стоило мне жизни и, что еще страшнее, разума, но меня спасло сознание, что я чему-то посвятил себя, и я верил в свой труд, в славу...»

Этому гордому человеку понадобилось пережить сильное потрясение, дабы сознаться в том, что он всегда

скрывал от своих друзей, даже от Жорж Санд,— в трагической неудаче своего брака с зеленоглазой княгиней.

Глава шестая «ФИВАНСКАЯ ДОРОГА»

После «Франсийона» Дюма не написал ни одной новой пьесы. Восемь лет молчания — большой срок для знаменитого драматурга, находящегося еще в расцвете сил и настойчиво осаждаемого лучшими театрами. Но этого великана всегда легко было обескуражить. Внезапно нападавшая на него усталость напоминала неожиданные приступы подавленности, которые переживал в Италии и в Египте его дед-генерал. «С семилетнего возраста,— говорил он молодому Полю Бурже,— я сражаюсь с жизнью. В моем тоне не надо искать меланхолию — это усталость. Бывают моменты, когда я сыт всем этим, сыт по горло, и я охотно улегуся бы лицом к стене, чтобы не слышать больше никаких разговоров, в особенности разговоров обо мне».

Его интимная жизнь усугубляла его мрачность, но, кроме того, он сомневался и в своем искусстве. Некоторые из его младших собратьев преследовали его ядовитой ненавистью, в которой была и доля зависти.

В кулуарах Французского театра, поставившего недавно «Парижанку», Анри Бек, «коренастый, с жестким взглядом из-под густой соломы бровей, с усами щеткой и кривой усмешкой», читал эпиграммы, пересыпая их звучными: «А? Каково?»

Как было два Корнеля,
Так есть и два Дюма,
Но эти двое схожи
Не с Пьером, а с Тома.

Дюма ответил на это:

Тома Корнель, прости за дерзость Бека,
Ему и Пьер Корнель не по зубам:
Зевает Бек. Так повелось от века,
Когда зевать всех заставляешь сам.

Однако, если Бек находил горькую сладость в таких шутках, то Дюма, уставший от всего, считал их жалкими и пустыми. Он слишком хорошо знал, что восходит

звезда Бека и Ибсена. Он знал, что молодые критики теперь с презрением говорят о «хорошо сделанной пьесе», слишком хорошо сделанной. Успех его прежних пьес — «Свадебного гостя», в котором Барте играла вместо Декле и талантливо выплевывала знаменитое «Фу!»; «Друга женщин», где она воплощала Джейн де Симроз, умело соединяя нежность и дерзость, — не вернул ему веры в себя. Старая пьеса — не новая. Он написал одно действие пьесы «Новые сословия», о котором говорил: «Это будет мой Фигаро» — и четыре действия «Фиванской дороги», где их должно было быть пять, — но так и не закончил ни одной из этих пьес.

Дюма-сын — Полю Бурже: «Я снова взялся за «Фиванскую дорогу», но я не вижу развязки и очень боюсь, что никогда ее не увижу. Нет больше ни энтузиазма, ни увлеченности. Я хорошо знаю, что хочу сказать, но я без конца повторяю себе: «К чему говорить что бы то ни было?» Все дело в том, что я слишком давно знаю род человеческий...»

В действительности он проецировал на человечество свою собственную неудовлетворенность и считал весь мир дурным оттого, что, несмотря на весь свой жизненный и творческий успех, очень много страдал. Он мог бы отнести к себе реплику одного из своих персонажей: «Вы, несомненно, человек очень сильный. — Да, но очень несчастный».

Был ли он сам очень сильным человеком? Леопольду Лакуру, который в 1894 году спрашивал его о «Фиванской дороге» — ее с таким нетерпением ждали в Комеди Франсез, — он ответил:

«Окончу ли я когда-нибудь эту пьесу? Я все больше и больше сомневаюсь в этом. В нее надо вложить так много, слишком много! Для театрального писателя, который стремится не только развлечь зрителя, но и заставить его думать, ибо сам он думал, жизненный опыт, со всеми размышлениями, которые он влечет за собой, понемногу становится чересчур требовательным советчиком. Ведь у него уже нет той бесстрашной уверенности в себе, которая двадцатью годами раньше, возможно, позволила бы ему удовлетворить эти высокие требования. И кроме того, я никогда не был гордецом, заверяю Вас в этом, вопреки легенде, которая пришла по вкусу слишком многим людям, чтобы с нею можно было покончить. Но все-таки, даже не будучи слишком самоуверенным, я мог бы строить себе иллюзии насчет действительной ценности моих произведений, мог бы надеяться, что, умирая, не все их унесу с собой, я мог бы заблуждаться по причине — боже мой! — да, по причине моего успеха, а в особенности из-за того уважения, которое выказывали мне светлые и могучие умы, как, например, Тэн. Однако я вижу, как меняется вкус публики, как

одна часть молодежи переходит на сторону Бека и его учеников, другая приветствует Ибсена. Я присутствую при том, как приходят в упадок определенные формы искусства. Мой театр, весь мой театр погибнет...»

Его отец тоже говорил подобные вещи в последние месяцы жизни, но рядом с Дюма-отцом, утешая его, находился сын, который им восхищался. Леопольд Лакур был растроган слабой и печальной улыбкой, которой сопровождались эти признания. Он сказал старому мэтру, что «Даму с камелиями», «Полусвет» будут играть всегда. Разве Сара Бернар не возобновила с успехом «Жену Клавдия»? Разве некий критик не писал: «Дюма был Ибсеном до Ибсена»? Грустная улыбка появилась снова.

«Вы говорите искренне,— сказал Дюма,— и я вам благодарен. Но только я жил слишком долго; я слишком часто видел, как удача возвращается к человеку, чтобы потом покинуть его снова, уже навсегда. Наверное, только Саре — она много выше Декле — я и обязан этим реваншем, и было бы неблагоприятно считать его окончательным. Победы великих артистов, неожиданно возрождающие уже погибшую пьесу, сладостны для автора. Они не должны вводить его в заблуждение. Ему надо знать, подтвердит ли их будущее... Что случилось с драматургией Вольтера? Ее теперь даже не читают. А вместе с тем, каким драматическим поэтом восхищались больше, кому еще так курили фимиам, как автору «Заиря» и «Меропы»? Да и означает ли это продолжение жизни для драматурга, если у него еще находятся читатели и если в том некрополе, который нередко представляет собою история литературы, красуется, с позволения сказать, его памятник в прозе?

Продолжать жить в искусстве для такого автора не значит остаться в книгах; это значит жить на сцене по крайней мере в двух или трех подлинных шедеврах. И во французской драматургии XIX века я нахожу едва три-четыре таких шедевра; это не «оперы» Виктора Гюго — их словесное великолепие не спасет их для вечности — нет, это некоторые комедии Мюссе. Я ничего не говорю о моем отце; его талант был так же присущ ему, как хобот слону...»

Возвратившись к себе, Леопольд Лакур отметил, что, несмотря на грустные речи, эта высоко поднятая голова была по-прежнему величественна:

«Холодный блеск его светло-голубых глаз не потускнел. Слегка покачивающаяся походка, когда-то модная, напоминающая идеал изящества во времена Наполеона III, заставляет его по-военному резко размахивать руками. Стало все-таки несколько меньше гибкости в движениях этого «кавалера», речь его теперь не так стремительна». Меланхолия сгущала сумерки этой жизни, прежде казавшейся столь блестящей.

Другой журналист, Филипп Жиль, вынес такое же впечатление. Он спросил Дюма:

— Мы увидим «Фиванскую дорогу»?

— Подумайте сами! — ответил Дюма. — В моем возрасте отважиться на борьбу, зная, что меня ждут только колотушки! Нет! Лучше уж я оставляю «Фиванскую дорогу» у себя в ящике. Я полагаю, что это одна из самых удачных моих пьес; я полагаю также, что никогда не отдам ее в театр.

Потом он заговорил о своих опасениях:

— Перед лицом никчемности нашей жизни, тщетности наших усилий, безнадежности обращений к так называемому провидению, которое ничего не провидит для нас, я всерьез помышлял о том, чтобы уйти в монастырь... Там по крайней мере человек далек от жизни. О! Успокойтесь: у меня никогда не хватит на это мужества... Стали бы говорить, что я ударился в религию под влиянием священников и женщин... И кроме того, я бы до смерти скучал.

Тем не менее Эмиль Бержера, зять Теофиля Готье, нашел, что Дюма одержим идеями христианства.

— Дорогой друг, вы совершаете две ошибки — курите и исповедуете пантеизм... Свет идет с Голгофы.

— Да, — ответил Бержера, — Магдалина — это Дама с камелиями в пустыне.

— Не будем говорить о «Даме с камелиями» — это юношеское произведение... Настоящую женщину вы найдете в Евангелии.

Вошел лакей и сказал, что Х*** просит луидор.

— Ах, бедняга! — сказал Дюма. — Дайте ему пять, это избавит его от четырех хождений.

Жюлю Кларети, комиссару Комеди Франсез, он прочитал четыре акта «Фиванской дороги», которые были уже написаны, и рассказал содержание пятого. Каков сюжет пьесы? На Фиванской дороге Эдип встретил Сфинкса... Ученый-медик Дидье в конце своего жизненного пути встречает загадочную и опьяняющую красавицу Мириану Дюбрейль, сестру всех тех чудовищ женского пола, которыми изобилует драматургия Дюма-сына. Знаменитый врач Дидье олицетворяет автора. Писатель, дабы не изображать писателей, превращает их в художников и врачей, но маски оказываются прозрачными.

У Дидье, материалиста-безбожника, есть верующие жена и дочь¹ и неверующий ученик Матиас. Дочь Дидье, Женевьева, любит Матиаса, но тот груб с нею и насмехается над ее верой.

— Твоя душа,— говорит он ей,— это лишь совокупность функций мозгового вещества... Если я ударю тебя вот сюда, в висок, что скажет твоя душа?

— Она простит тебя,— отвечает Женевьева.

В первом действии в доме Дидье, который в это время отсутствует, Матиас принимает молодого провинциала Доминика де Жюниака, переживающего тяжелый душевный кризис. Его отсюда из материальных соображений противится его женитьбе. Будучи страстно влюблен, молодой человек без колебаний нарушил бы запрет, но его невеста дала ему понять, что не выйдет за него замуж вопреки воле его отца. Потом она скрылась вместе со своей матерью, не оставив адреса. Доминик разыскивает беглянок в Париже, где, как он подозревает, они прячутся. Он сообщает врачу свою навязчивую идею: овладеть любимой девушкой или убить ее. Матиас дает чрезмерно возбужденному юноше несколько добрых советов и отпускает его, ни в чем не убедив. Возвращается доктор Дидье, и почти в ту же минуту на улице раздаются выстрелы. Матиас бросается к окну и узнает в стрелявшем Доминика; тот убегает.

Вводят пострадавшую — очаровательную молодую девушку; Дидье осматривает ее. Рана не опасна. Доктор предлагает девушке остаться у него в доме до выздоровления. Появляется полицейский комиссар. Выясняется, что имя молодой особы Милиана Дюбрейль; ей двадцать лет. Ее мать уклоняется от прямого ответа: она якобы не знает стрелявшего. Она дает заведомо неверное описание молодого преступника.

Три недели спустя, во втором действии, выздоровевшая Милиана вместе со своей матерью живет в загородном доме Дидье. Никто и не помышляет об отъезде. Дидье поручает Милиане переписывать его труды; Матиас охотно беседует с нею на философские темы. Женевьева признается своей матери, что ревнует к незнакомке. Госпожа Дидье умоляет мужа не оставлять у них этих двух женщин. Он просит совета у Матиаса, который отвечает: «Вы влюблены в Милиану, сами того не зная». И действительно, доктор, которому и в голову не приходит просить девушку уехать, говорит ей: «У меня есть потребность чувствовать ваше присутст-

¹ Жаннина Дюма, воспитанная в духе вольнодумства, с большой горячностью приняла католическую веру. Ее бракосочетание с родовитым офицером Эрнестом де Отеривом было совершено по обряду в приходской церкви Марли преподобным д'Юльстом. Одна фраза в проповеди этого священника, произнесенной во время венчания, вызвала безудержный смех публики: «И когда наступит час неизбежного расставания...» Колетта Дюма в то время уже была близка к разводу; ее родители разошлись и больше не жили под одной крышей; ее мать когда-то бросила Нарышкина, а ее сводная сестра Ольга жила в постоянном разладе со своим развратным мужем.

вие». Возмутительница спокойствия соглашается отложить свой отъезд.

Тем временем Дидье принимает делегацию скандинавских студентов, прибывшую засвидетельствовать ему свое почтение. Руководитель делегации, по имени Стефен, производит на учителя прекрасное впечатление, и он невольно начинает думать о том, что такой славный парень мог быть прекрасным мужем для его дочери Женевьевы.

Проходит два дня. В третьем действии снова появляется Доминик де Жюниак. Отец его умер; теперь ничто больше не препятствует его женитьбе. Матиас спешит сообщить об этом Милиане; та, неприятно удивленная, решительно отказывается выйти замуж за человека, который хотел ее убить. Доминик размахивает на сей раз не револьвером, а письмами своей невесты, как будто бы очень нежными и обличающими известную близость... Тогда Милиана смело нападает на Матиаса:

— Вы принимаете меня за сфинкса и стараетесь разгадать мою загадку. У меня ее нет. Вы уверены, что я полна коварных и преступных замыслов. Вы ошибаетесь.

И все же ассистент ее спрашивает, как бы она поступила, если бы ей предложили пятьсот тысяч франков, с тем чтобы она убралась отсюда. Она холодно отвечает:

— Потребовала бы миллион.

Четвертое действие. Женевьева изливает перед отцом душу, поверяет ему свое смятение. В ее сердце закрались сомнения. Она спрашивает ученого:

— Что находится за гранью этой жизни?

— Неизвестность.

— Неужели твоя наука не подтверждает ни одну из надежд, которые нам дает религия?

— Ни одну.

— Это может привести в отчаяние.

— Иногда.

Тем не менее Дидье удастся утешить дочь, и она уходит от него несколько успокоенная. Потом он обращается к неизменно загадочной Милиане. Конечно, она заметила его восхищение; она даже заявляет ему, что готова сделать все, что он захочет: все. И он отвечает:

— Я люблю вас. Вот уже три недели, как благодаря вам я снова чувствую себя двадцатилетним, а ведь в свое время я и не заметил, что мне было двадцать... Вы молоды, а я уже нет... Вы свободны, я — нет. Вы не можете меня любить. Так уезжайте, уезжайте и найдите благословенного богами молодого человека, который станет вашим супругом и которого я буду любить как сына...

Здесь рукопись обрывается.

2 апреля 1895 года в возрасте шестидесяти восьми лет на авеню Ньель, в доме своей дочери Колетты, умерла госпожа Дюма, а через несколько дней началась агония у госпожи Ренье, в маленьком, построенном Эскалье особняке на Римской улице, где она жила вместе со своей дочерью Анриеттой. Дюма похоронил княгиню в Нейи-сюр-Сен, рядом с Катриной Лабе, а 26 июня, мень-

ше чем через три месяца с того дня, как он овдовел, женился на Анриетте в Марли-ле-Руа. Он любил ее с отчаянной страстью. В течение восьми лет он каждый день писал ей. И тем не менее от его соседа Сарду, с которым он делился, мы знаем, что, предпринимая этот решительный шаг, он терзался сомнениями. Не безумие ли со стороны человека, которого так давно преследовало апокалипсическое видение Греха, за порогом семидесятилетия связывать свою жизнь с молодой женщиной такой редкостной красоты? Он знал это, но сдержал данное слово. У него было высокое и суровое понятие о чести.

27 июля 1895 года он написал завещание:

«Сегодня я вступаю в семьдесят второй год своей жизни. Пришло время составить завещание, тем паче что по некоторым признакам мне представляется более чем вероятным, что конца этого года, в который вступаю, я не увижу... И все же ровно месяц назад я женился на женщине много моложе себя; я считаю своим долгом доказать ей таким образом мое уважение и мою привязанность, которых она во всех смыслах достойна. Я уверен, что она будет с честью носить мое имя столько времени, сколько ей суждено носить его после того, как меня не станет. Кроме того, она человек энергичный и мужественный и сумеет выполнить мою волю, которую я выражу в этом завещании:

Я желаю твердо и определенно, чтобы меня похоронили без всякого церковного обряда; я хочу, чтобы над моей могилой не произносили никаких речей, и освобождаю Академию от воздания мне воинских почестей. Таким образом, моя смерть причинит беспокойство только тем, кто сам пожелает побеспокоиться.

Я желаю быть похороненным на кладбище Пер-Лашез¹ в склепе, содержащем только два отделения, где — чем позднее, тем лучше — рядом со мною упокоится госпожа Дюма. Я желаю, чтобы после моей смерти меня одели в одну из моих полотняных рубашек с красной каймой и в один из моих простых рабочих костюмов. Ноги пусть останутся голыми...

Все мои бумаги, письма, рукописи я оставляю госпоже Анриетте Александр-Дюма, которая приведет их в порядок и знает, как с ними поступить...»

Он не боялся смерти, но мучился, думая о будущем Анриетты, о возможных конфликтах между его дочерьми и женой, о своем незаконченном произведении. В августе он писал из Пюи Жюлю Кларети:

¹ Не на кладбище Пер-Лашез, а на кладбище Монмартр покоятся Александр Дюма-сын и его вторая жена (умершая в 1934 году) под каменным сводом монумента, созданного скульптором Сен-Марсо. По странной случайности могила Мари Дюплесси находится в нескольких шагах от этого внушительного мавзолея,

«Ваше письмо застало меня за переделкой последней сцены четвертого действия — главной сцены для всей пьесы и для Муне-Сюлли. Если нам суждено провалиться, то мы провалимся именно в этой сцене; если же она удастся — нас ждет большой успех, несмотря на неблагоприятную развязку...»

В другом письме он писал о «Фиванской дороге»: «Вы получите ее через год, или я умру». Жорж Кларети, сын Жюля, рассказал в одной статье содержание пятого акта, который Дюма в его присутствии «читал в совершенно законченном виде» генеральному комиссару Французского театра:

«Внезапно Милиана влюбляется в Стефена — красивого и элегантного шведа, который возглавляет делегацию иностранных студентов. В тот самый день, когда она должна была бежать с Дидье, она покидает Париж с молодым скандинавом. Парижанка следует за соотечественником Ибсена. Любовь — это привилегия молодости, — такова мораль драмы. Кризис миновал. Сфинкс исчез. Дидье, глядя на свою дочь Женевьеву, качает головой и бормочет: — Быть может, и в самом деле существует душа?»

А Матиас в своем углу играет на флейте в перерыве между двумя опытами, как Фридрих II между двумя сражениями, и отвечает учителю насмешливыми звуками своего визгливого инструмента...»

Нет ничего невозможного в том, что Дюма, пребывая в глубокой печали, в которую его ввергло нездоровье, подумывал о подобной развязке. Но 1 октября он слег, и ему стало ясно, что его последняя пьеса останется неоконченной.

«Представьте себе, что я уже умер, — сказал он Кларети, — и больше на меня не рассчитывайте».

Своей дочери КоLETTE он признался: «Не пойму, что со мной; весь день у меня в ушах трещит сверчок». Кровь заставляла вибрировать его утратившие эластичность артерии. Вскоре у него начались головные боли, и временами он впадал в странное забытие, пугавшее его жену. Профессора не могли поставить диагноз. Одни предполагали кровоизлияние, другие — опухоль мозга. В конце ноября крупнейшие врачи, собравшиеся в Марли у его постели, объявили, что он безнадежен. Как когда-то его отец, умиравший на морском берегу Пюи, он проводил целые дни в смутных сновидениях.

Несколькими месяцами раньше, взявшись написать предисловие к роскошному изданию «Трех мушкетеров», он с нежными словами обратился к своему отцу, который был его гордостью и отчаяньем:

«Вспоминают ли в том мире, где ты пребываешь теперь, о делах нашего мира — или же так называемая вечная жизнь существует только в нашем воображении, порожденная нашим страхом перед небытием? Мы с тобой никогда об этом не говорили, когда жили вместе, и я думаю, что метафизические размышления никогда тебя не тревожили...»

Потом он вспомнил о нескольких месяцах, проведенных ими после отъезда Иды вдвоем, в братской дружбе:

«Ах! То было прекрасное время. Мы были ровесниками, хотя тебе исполнилось сорок два года, а мне — двадцать. Наши веселые разговоры, взаимные излияния чувств!.. Мне кажется, это было вчера... А ты почти уже четверть века спишь под вековыми деревьями кладбища в Вилле-Коттре, между твоей матерью, которая служила тебе образцом для всех нарисованных тобою порядочных женщин, и твоим отцом, который дал право на существование всем твоим героям. Я же, кого ты, да и я сам, всегда считал ребенком в сравнении с тобой, сейчас сед как лунь, — каким ты никогда не был... Земля вертится быстро. До скорого свидания».

Пророческая ностальгия. Сыну суждено было вскоре последовать за отцом. 28 ноября ему как будто стало лучше. Осеннее солнце освещало красивые деревья парка. Сознание вернулось к нему, и он улыбнулся дочерям.

— Ступайте завтракать, — сказал он, — оставьте меня одного.

Врач только что вышел из комнаты, когда Колетта позвала его:

— Идите скорей! У папы конвульсии...

Последняя судорога потрясла его тело. Он был мертв.

На следующий день газеты были полны им. Его брат по отцу Анри Бауэр написал прекрасную статью:

«В нем была властная сила — воля... Он не уступал, будучи совсем иным, величайшему гению своей династии. До появления «Дамы с камелиями» девицы легкого поведения были отверженными, париями... Ни одно произведение не оказало такого влияния на людей, заставляя одних искупать свои грехи, других — прощать... И сто лет спустя бедные молодые люди с сердцем, трепещущим от любви, будут оплакивать Маргариту Готье...»

Оттого, что с первых дней своей жизни он был жертвой, оттого, что его мать много страдала, он выступал в защиту невинных и делал это талантливо. Если позднее он взял на себя роль укротителя, это произошло потому, что он увидел себя в окружении хищных зверей. Он должен был укротить львицу или быть растерзанным

ими. Гордость покрыла его сердце — самое уязвимое из сердец — тонким слоем льда. Его последняя любовь — пылкая и мучительная — была для него глубоким потрясением. В конце ноября 1895 года борьба была окончена. Стоял прохладный день поздней осени. В парке Марли теснились друзья, собратья, журналисты, политические деятели, элегантные женщины и толпы простонародья. Поезда, пришедшие из Парижа, выплескивали на платформу маленькой станции потоки почитателей и любопытных, которые вереницей устремлялись в «Шанфлур».

Там их вводили в комнату, где на инкрустированной бронзой кровати в стиле ампир, которая словно плыла на двух лебедях, вырезанных из лимонного дерева, покоился Александр Дюма-сын, одетый, как он пожелал, в свой рабочий костюм. Ноги были голые. Как генерал Дюма, он всегда гордился их изяществом. На стене висел большой портрет его отца и маленький рисунок, изображавший Катрину Лабе на смертном одре.

В течение целого столетия семейство Дюма разыгрывало на сцене Франции прекраснейшую из драм — свою жизнь. Последний из трех остался один «перед опущенным занавесом, в молчании ночи». Его молодая вдова и дочери, уже облаченные в траур, думали об умершем и о своем трудном будущем. Эпическая мелодрама завершалась буржуазной комедией, а быть может, и трагедией.



НОВЕЛЛЫ

БИОГРАФИЯ

Лампы, освещавшие большую столовую, были затенены — в этом году в Лондоне была мода обедать в полумраке. Эрве Марсена, отыскав свое место за столом, увидел, что его посадили рядом с очень старой дамой в жемчугах — леди Хемптон. Эрве ничего не имел против такого соседства. Дамы преклонных лет обычно бывают снисходительны и нередко рассказывают забавные истории. А леди Хемптон, судя по насмешливому выражению ее глаз, была наделена к тому же живым чувством юмора.

— На каком языке вы предпочитаете говорить, господин Марсена? На французском или на английском?

— Если вы не возражаете, леди Хемптон, я предпочитаю французский.

— Однако пишете вы на английские темы. Я читала вашу «Жизнь Джозефа Чемберлена». Она меня позабавила, я ведь знала всех этих людей. А над чем вы работаете сейчас?

Молодой француз вздохнул.

— Моя мечта — написать книгу о Байроне, но о нем уже столько написано... Правда, найдены новые материалы — письма Мэри Шелли, бумаги графини Гвиччиоли. Но все это уже опубликовано. А я хотел бы обнаружить какие-нибудь неизвестные документы, но ничего не могу найти.

Старуха улыбнулась.

— А что, если я открою вам одно совершенно неизвестное похождение Байрона...

Эрве Марсена весь невольно подобрался, словно охотник, внезапно заметивший в кустах оленя или кабана, словно биржевик, которому вдруг открыли, какие акции подскочат на бирже.

— Совершенно неизвестное похождение Байрона? Да разве это мыслимо, леди Хемптон, когда написаны груды исследований?

— Пожалуй, я преувеличила, назвав его совершенно неизвестным, потому что имя героини уже упоминалось биографами. Я имею в виду леди Спенсер-Свифт.

Эрве разочарованно скривил губы:

— Ах, вот кого... Да, да, я слышал... Но ведь об этой истории никто ничего не знает наверняка.

— Дорогой господин Марсена, разве о подобных вещах можно вообще что-нибудь знать наверняка?

— Конечно, леди Хемптон. В большинстве случаев мы располагаем письмами, документами. Правда, порой письма лгут, а свидетельства не вызывают доверия, но на то существует критическое чутье исследователя...

Обернувшись к своему собеседнику, леди Хемптон поглядела на него в старинный лорнет.

— А что вы скажете, если я предоставлю вам дневник леди Спенсер-Свифт (ее звали Пандора), который она вела во время своей связи с Байроном? И письма, которые она от него получала?

Молодой француз вспыхнул от удовольствия.

— Я скажу, леди Хемптон, как говорят индусы, что вы — отец мой и мать моя. Благодаря вам я напишу книгу... Но у вас действительно есть эти документы?.. Простите мой вопрос... Все это настолько невероятно...

— Нет, — ответила она. — У меня этих документов нет, но я знаю, где они находятся. Они принадлежат нынешней леди Спенсер-Свифт, Виктории, моей подруге по пансиону. Виктория до сих пор никому не показывала этих документов.

— Почему же она вдруг покажет их мне?

— Потому что я попрошу ее об этом... Вы еще плохо знаете нашу страну, господин Марсена. Здесь на каждом шагу вас подстерегают тайны и неожиданности. В подвалах и на чердаках наших загородных вилл хранятся истинные сокровища. Но владельцы ничуть ими не интересуются. Вот когда кто-нибудь разоряется и дом продают с молотка, архивы выходят на свет Божий.

Если бы не предприимчивый и упорный американец, обнаруживший пресловутые бумаги Босуэлла, они так и остались бы навсегда в ящике от крокетных шаров, где их спрятали.

— Вы полагаете, что предприимчивый и упорный француз может добиться такого же успеха, хотя он и не располагает теми тысячами долларов, которыми американец оплатил бумаги Босуэлла?

— Вик Спенсер-Свифт долларами не прельстишь. Она моя ровесница, ей за восемьдесят, и ей вполне хватает своих доходов. Вик покажет вам бумаги из расположения к вам, если вы сумеете его заслужить, а кроме того, в надежде, что вы нарисуете лестный портрет прабабки ее мужа.

— Лорда Спенсер-Свифта нет в живых?

— Не лорда, а баронета... Сэр Александр Спенсер-Свифт был последним в роду носителем этого титула. Виктория все еще живет в том самом доме, где гостил Байрон... Это прелестная усадьба елизаветинских времен в графстве Глостер. Хотите попытать счастья и поехать туда?

— С восторгом... если я получу приглашение.

— Это я беру на себя. Я сегодня же напишу Вик. Она наверняка вас пригласит... Не пугайтесь, если письмо будет составлено в резких выражениях. Виктория считает, что привилегия нашего преклонного возраста — говорить все, что вздумается, напрямик. С какой стати церемониться? Чего ради?

Несколько дней спустя Эрве Марсена ехал на своей маленькой машине через живописные деревушки графства Глостер. Минувшее лето было по обыкновению дождливым, и это пошло на пользу деревьям и цветам. В окнах даже самых скромных коттеджей виднелись роскошные букеты. Дома, сложенные из местного золотистого камня, были точно такими, как во времена Шекспира. Эрве, весьма чувствительный к поэтическим красотам английского пейзажа, пришел в восторг от парка Виндхерст, как называлось поместье леди Спенсер-Свифт. Он проехал по извилистым дорожкам мимо поросших густой травой, аккуратно подстриженных лужаек, исполинские дубы обступали их со всех сторон. Среди зарослей папоротника и хвоща поблескивал пруд. Наконец Эрве увидел замок и с бьющимся

сердцем затормозил у входа, увитого диким виноградом. Он позвонил. В ответ ни звука. Прождав минут пять, Эрве обнаружил, что дверь не заперта, и толкнул ее. В темном холле, где на креслах лежали груды шарфы и пальто, — ни души. Однако из соседней комнаты слышался монотонный голос, бубнивший, казалось, заученный текст. Француз подошел к двери и увидел продолговатую залу, увешанную большими портретами. Группа туристов сгрудилась вокруг величественного butler'a¹ во фраке, темно-сером жилете и полосатых панталонах.

— Вот это, — говорил butler, указывая на портрет, — сэр Уильям Спенсер-Свифт (1775—1835). Он сражался при Ватерлоо и был личным другом Веллингтона. Портрет кисти сэра Томаса Лоуренса, так же как и портрет его супруги, леди Спенсер-Свифт.

Среди слушателей пробежал шепот:

— Той самой...

Дворецкий с заговорщическим видом едва приметно кивнул головой, не теряя при этом достоинства и важности.

— Да, — добавил он, понизив голос до шепота, — той самой, что была возлюбленной Байрона. Той, которой он посвятил знаменитый сонет «К Пандоре».

Двое туристов начали декламировать первую строфу. Дворецкий величественно кивнул головой.

— Совершенно верно, — подтвердил он. — А это — сэр Роберт Спенсер-Свифт, сын предыдущего (1808—1872). Портрет писан сэром Джоном Миллесом.

И склонившись к своей пастве, он доверительно сообщил:

— Сэр Роберт появился на свет через четыре года после того, как Байрон гостил в Виндхерсте.

Молодая женщина спросила:

— А почему Байрон приехал сюда?

— Он был другом сэра Уильяма.

— Ах, вот что! — сказала она.

Эрве Марсена остановился позади группы, чтобы получше рассмотреть оба портрета. У мужа, сэра Уильяма, было широкое, красное от вина, обветренное лицо. Он производил впечатление человека вспыльчивого и высокомерного. В воздушной красоте его жены сочета-

¹ Дворецкий (англ.).

лись величавость и целомудрие. Однако, приглядевшись повнимательней, в чистом взгляде леди можно было уловить и затаенную чувственность и не лишенное жестокости кокетство. Туристы уже устремились к выходу, а молодой человек все еще задумчиво разглядывал портреты. Дворецкий деликатно шепнул, наклонившись к нему:

— Простите, сэр, у вас есть билет? Вы пришли позже других... Все уже заплатили. Поэтому, если позволите...

— Я не турист. Леди Спенсер любезно пригласила меня провести здесь уик-энд и обещала показать интересные меня документы...

— Извините, сэр... Стало быть, вы и есть молодой француз, рекомендованный леди Хемптон? Минутку, сэр, я только провожу этих людей и тотчас уведомлю ее милость... Комната вас ждет, сэр. Ваши вещи в машине?

— У меня только один чемодан.

В дни, когда леди Спенсер-Свифт открывала двери своего замка иностранным туристам — эти посещения освобождали ее от уплаты налогов, — сама она уединялась в гостиной, расположенной во втором этаже. Туда и провели молодого француза. Старая леди держалась горделиво, но без чопорности. Ее надменную осанку смягчала насмешливая прямота.

— Не знаю, как вас благодарить, — начал Марсена. — Принять незнакомого человека...

— Nonsense¹, — объявила леди. — Какой же вы незнакомец? Вы явились по рекомендации моей лучшей подруги. Я читала ваши книги. Я давно жду человека, который мог бы тактично поведать миру эту историю. Думаю, что вы как раз подходящее лицо для этого.

— Надеюсь, миледи. Но я не верю своему счастью: возможно ли, что ни один из блестящих английских биографов Байрона не опубликовал ваших документов?

— Ничего удивительного в этом нет, — объяснила леди. — Мой покойный муж не разрешал показывать дневник своей прабабки ни одной живой душе. На этот счет у него были старомоднейшие предрассудки.

¹ Чепуха (англ.).

— А разве эти бумаги содержат нечто... ужасное?

— Понятия не имею,— сказала она.— Я их не читала. От этого бисерного почерка можно ослепнуть, да к тому же все мы прекрасно знаем, что пишут в дневниках двадцатилетние женщины, когда они влюблены.

— Но может случиться, миледи, что я обнаружу в этих бумагах доказательство... м-м... связи Байрона с прабабкой вашего мужа. Могу ли я считать, что и в этом случае я имею право ничего не скрывать?

Леди бросила на француза удивленный взгляд, в котором мелькнуло легкое презрение:

— Разумеется. Иначе для чего бы я стала вас приглашать?

— Вы — само великодушие, леди Спенсер-Свифт... А ведь многие семьи, вопреки всякой очевидности, защищают добродетель своих предков до тридцатого колена.

— Nonsense,— повторила старуха.— Сэр Уильям был чурбан, он не понимал своей молодой жены и вдобавок обманывал ее со всеми окрестными девками. Она встретила лорда Байрона, который был не только великий поэт, но и мужчина с ангельской внешностью и сатанинским умом. Леди выбрала лучшего. Кому придет в голову ее порицать?

Эрве почувствовал, что не стоит дальше обсуждать эту тему. Однако, не удержавшись, добавил:

— Простите, леди Спенсер-Свифт, но раз вы не читали этих дневников, откуда вы знаете, что Байрон гостил в Виндхерсте не только в качестве друга хозяина дома?

— Так гласит семейное предание,— решительно ответила она.— Мой муж знал об этом от своего отца, а тот от своего. Впрочем, вы сами сможете во всем удостовериться, потому что, повторяю, бумаги в вашем распоряжении. Сейчас я вам их покажу, а вы мне скажете, где вам удобнее работать.

Она вызвала великолепного дворецкого.

— Миллер, откройте красную комнату в подземелье, принесите туда свечи и дайте мне ключи от сейфа. Я провожу туда господина Марсена.

Обстановка, в которой очутился Марсена, не могла не подействовать на воображение. В подземелье, распо-

ложенном под нижним этажом здания и обитом красным штофом, в отличие от остальных помещений не было электричества. Пламя свечей отбрасывало вокруг дрожащие тени. К одной из стен был придвинут громадный сейф, отделанный под средневековый сундук. Напротив стоял широкий диван. Старая леди величественно спустилась в подземелье, опираясь на руку француза, взяла ключи и быстро повернула их в трех скважинах замка с секретным шифром, после чего Миллер широко распахнул тяжелые створки сейфа.

Перед глазами Марсена блеснуло столовое серебро, мелькнули какие-то футляры из кожи, но хозяйка протянула руку прямо к толстому альбому в белом сафьяновом переплете.

— Вот дневник Пандоры,— сказала она.— А вот письма, которые она собственноручно перевязала этой розовой лентой.

Она обвела взглядом подземелье.

— Погодите-ка... Где бы нам вас пристроить... Вот за этим большим дубовым столом вам будет удобно? Да? Ну что ж, отлично... Миллер, поставьте два подсвечника по правую и левую руку от господина Марсена... Теперь закройте сейф и пойдём. А молодой человек пусть себе работает...

— Могу ли я остаться здесь за полночь, миледи? Времени у меня немного, а мне хотелось бы прочитать все.

— Дорогой господин Марсена,— сказала леди.— Спешка ни к чему хорошему не приводит, но делайте как знаете. Вам принесут сюда обед, и больше вам никто мешать не будет. Утром подадут завтрак в вашу комнату, потом вы опять можете работать. Мы встретимся с вами в час за ленчем... Подходит вам такое расписание?

— Я в восторге, леди Спенсер-Свифт! Не могу выразить...

— И не надо. Спокойной ночи.

Эрве остался один. Он вынул из портфеля авторучку, бумагу, сел за стол и с замирающим сердцем открыл сафьяновый альбом. Старуха была права — почерк и в самом деле был мелкий и неразборчивый. Должно быть, Пандора сознательно стремилась к тому, чтобы ее записи было трудно прочитать. Альбом мог попасть в руки мужа. Разумнее было принять меры предо-

сторожности. Но Марсена был искушен в расшифровке самых замысловатых почерков. Он без труда разобрал каракули Пандоры. С первых же строк он не мог удержаться от улыбки. В манере изложения чувствовалась совсем молодая женщина, почти ребенок. Пандора часто подчеркивала слова — признак горячности или волнения. Дневник был начат в 1811 году, через несколько месяцев после свадьбы.

«25 октября 1811. Нынче я устала, больна и не могу сидеть в седле. Уильям уехал на охоту. Не знаю, чем заняться. Начну вести дневник. Этот альбом мне подарил мой нежно, нежно любимый батюшка. Как я сожалею, что покинула его! Боюсь, что мой муж никогда меня не поймет. У него не злое сердце, но он не догадывается, что женщине необходима нежность. Я не знаю даже, думает ли он когда-нибудь обо мне? Он чаще говорит о политике, лошадях и фермерах, нежели о своей жене. Со времени нашей свадьбы он, кажется, ни разу не произнес слово «любовь». Ах нет, произнес. На днях он сказал Бриджит: «До чего же трогательно любит меня моя жена». Я и глазом не моргнула».

Эрве пробежал одну за другой страницы, полные жалоб и насмешек. Пандора была беременна и без всякой радости ждала появления ребенка. Он должен был еще теснее связать ее с человеком, который не сумел внушить ей ни малейшей привязанности. Из наивных замечаний молодой женщины постепенно складывался весьма непривлекательный портрет сэра Уильяма. Малейшее проявление его эгоизма, тщеславия, вульгарности безжалостно заносилось на бумагу свидетелем, затаившим на него горькую обиду. Меж тем сквозь строки дневника все яснее проступал другой образ — соседа, лорда Петерсона, столь же любезного, сколь отвратительным был сэр Уильям.

«26 декабря 1811. Вчера, на Рождество, лорд Петерсон принес мне в подарок обворожительного щенка. Я была, как всегда, одна, но приняла лорда Петерсона — ведь он гораздо старше меня. Он говорил со мной о литературе и об искусстве. Если бы я могла записать все его блистательные мысли! Какое наслаждение слушать его! У него изумительная память. Он читал мне

наизусть стихи Вальтера Скотта и лорда Байрона. Это доставило мне громадное удовольствие. Я знаю, что, будь я женой такого человека, как лорд Петерсон, я сделала бы огромные успехи. Но он стар, и к тому же я навеки связана с другим. Увы! Несчастливая Пандора!»

Из дальнейших записей явствовало, что на Пандору произвела большое впечатление поэма Байрона «Паломничество Чайльд Гарольда». Она даже сказала об этом мужу и услышала в ответ:

— Байрон? Да я с ним коротко знаком. Мы встречались в те времена, когда он, как и я, странствовал по свету... Мы провели вместе немало веселых ночей в Италии... По возвращении он приглашал меня к себе в Ньюстедское аббатство, где он содержит целую труппу нимф, о которых я мог бы порассказать немало забавных анекдотов,— да только они не предназначены для целомудренного слуха моей супруги... Ха-ха-ха!

Вслед за этим на глазах читателя белого альбома Пандора, которая решила заставить мужа пригласить Байрона к ним в Виндхерст, плела целую сеть хитроумных уловок. Вначале муж противился:

— Ну что он здесь станет делать? — твердил он. — Ему будет скучно. Из-за хромой ноги он не сможет сопровождать меня в далеких прогулках. К тому же он не охотник.

Жена настаивала:

— Я постараюсь его развлечь.

Сэр Уильям приходил в негодование:

— Вы?! Развлекать этого бабника, этого донжуана... Не хватает еще, чтобы я позволил жене оставаться наедине с человеком вроде Байрона. Да у меня нет ни малейшей охоты разрешать этому бездельнику браконьерствовать в моих владениях.

Однако чем громче становилась слава Байрона в Лондоне, тем охотнее деревенский эсквайр похвалялся своей дружбой с поэтом. Он начал рассказывать о ней соседям. Рождение дочери подсказало леди Спенсер-Свифт великолепную мысль — почему бы не попросить лорда Байрона быть крестным отцом малютки? Разве не лестно, если воспитателем маленькой леди будет прославленный поэт? Сэр Уильям сдался: «Хорошо, я ему напишу, но он никогда не согласится. У него и без

того довольно хлопот с женщинами и стихами». Но Байрон согласился. Он любил контрасты и диссонансы. Мысль о том, что его, демонического поэта, хотят сделать крестным отцом младенца, да еще вдобавок девочки, позабавила и соблазнила его.

Эрве Марсена был настолько увлечен чтением, что не чувствовал ни голода, ни жажды, ни усталости. Но великолепный Миллер явился к нему в сопровождении лакея, несшего обед.

— Леди Спенсер-Свифт свидетельствует вам свое почтение и спрашивается, не угодно ли вам чего-нибудь, сэр?

— Ничего. Передайте леди, что документы настолько интересны, что я буду работать всю ночь.

Во взгляде дворецкого мелькнуло сдержанное неодобрение.

— Всю ночь, сэр? В самом деле? В таком случае я пришлю вам запасные свечи.

Эрве почти не прикоснулся к истинно английскому обеду и вновь схватился за альбом. Приезд Байрона был описан в лихорадочном возбуждении — почерк Пандоры стал еще более неразборчивым.

«Сегодня поутру в 11 часов приехал лорд Б. Как он красив и бледен. Должно быть, он несчастлив. Он стыдится своей хромоты. Как видно, поэтому он не ходит, а бегаёт, чтобы ее скрыть! И напрасно! Хромота делает его еще интереснее. Странно... Уильям предостерегал меня, говорил, будто лорд Б. несносно развязен с женщинами. Но со мной он не сказал и двух слов. Между тем он время от времени украдкой поглядывает на меня, один раз я перехватила его взгляд в зеркале. Но в разговоре он обращается только к Уильяму и лорду Петерсону, а ко мне — никогда. Почему?»

Всю ночь напролет следил Эрве Марсена, как Пандора мало-помалу поддавала под обаяние поэта. Судя по всему, юная и неопытная простушка не поняла причины столь небайронического поведения гостя. Байрон приехал в Виндхерст с твердым намерением вести себя добродетельно, во-первых, потому, что был безнадежно влюблен в другую женщину, во-вторых, потому, что считал неблагородным соблазнить жену своего хозяина, к тому же Пандора показалась ему такой наивной,

юной и хрупкой, что он не хотел причинять ей страданий. В глубине души он был сентиментален и маскировал цинизмом природную чувствительность.

Вследствие всех этих причин Байрон не заговаривал с Пандорой о любви. Но мало-помалу интрига начала завязываться. Сэр Уильям напомнил Байрону о Ньюстедском аббатстве и его обитательницах-нимфах, созданиях более чем доступных. Одна из них когда-то пришлась по вкусу деревенскому эсквайру, и он выразил желание вновь ее увидеть.

— Скажите-ка, Байрон, отчего бы вам не пригласить меня в Ньюстед? Само собой разумеется, без жены.

Байрон укорил его:

— Стыдитесь! Ведь вы женились совсем недавно! А что, если жена вздумает отплатить вам той же монетой?

Сэр Уильям расхохотался:

— Моя жена? Ха-ха-ха! Да ведь она святая, и к тому же обожает меня!

Пандора, которая все время была настороже, услышала издали этот диалог и не преминула занести его в свой дневник, снабдив негодующими комментариями: «Она меня обожает!» Глупец! Неужели я обречена всю свою жизнь прожить подле этого чурбана! А почему бы и впрямь не отплатить ему той же монетой? После этого разговора меня охватила такая ярость, что, вздумай лорд Байрон нынче вечером в парке обнять и поцеловать меня, я, пожалуй, не стала бы противиться».

Было уже за полночь. Эрве торопливо покрывал заметками страницу за страницей. В полутемном подземелье при догоравших свечах, которые отбрасывали все более тусклый свет, ему чудилось, будто его окружают живые тени. Он слышал раскатистое «ха-ха-ха» краснолицего хозяина замка, следил по выражению тонкого лица леди Пандоры, как нарастают ее нежные чувства, а в темном углу ему мерещился Байрон, с саркастической усмешкой наблюдающий эту столь неподходящую пару.

Французу пришлось сменить догоревшие свечи, после чего он вновь взялся за чтение. Теперь он следил за попытками сближения, которые предприняла Пандора, стремясь вывести Байрона из его сдержанной задумчивости; она проявила при этом смелость и изобре-

тательность, неожиданные в такой молодой женщине. Задетая его равнодушием, она подзадоривала его. Под предлогом игры на бильярде она осталась наедине с поэтом.

«Нынче вечером я сказала ему: «Лорд Байрон, когда женщина любит мужчину, который не оказывает ей никакого внимания; как ей следует поступить?» Он ответил: «А вот как!» — с необыкновенной силой заключил меня в свои объятия и...» Тут одно слово было тщательно вымарано, но Эрве без большого труда удалось его разобрать: «поцеловал».

Эрве Марсена облегченно вздохнул. Он едва верил своему счастью. «Может быть, я сплю? — думал он. — Ведь только во сне с такой полнотой сбываются порой наши самые заветные желания». Он встал и ощупал рукой громадный сейф, диван, стены, чтобы удостовериться в реальности обстановки. Никаких сомнений — все предметы вокруг него существовали на самом деле и дневник был подлинным. Он вновь погрузился в чтение.

«Я испугалась и сказала ему: «Лорд Б., я вас люблю, но я недавно родила ребенка. Он нерасторжимо связал меня с его отцом. Я могу быть для вас только другом. Но вы мне необходимы. Помогите же мне». Он выказал удивительную доброту и сочувствие. С этой минуты, когда он остается наедине со мной, всю его горечь как рукой снимает. Мне кажется, что я врачую его душу».

Молодой француз не удержался от улыбки. Он хорошо изучил Байрона и никак не мог представить его в роли терпеливого платонического вздыхателя хрупкой молодой женщины. Ему так и чудился голос поэта: «Если она воображает, что мне по вкусу часами держать ее за руку, читая ей стихи, — ох, как она ошибается. Мы уже на той стадии, когда пора приблизить развязку».

Потом ему пришло в голову, что в связке писем, врученной ему леди Спенсер-Свифт, может найтись документ, свидетельствующий о подлинном расположении духа Байрона. Он торопливо развязал ленту. В самом деле, это были письма Байрона. Эрве сразу узнал темпе-

раментный почерк поэта. Но в пачке были еще какие-то другие бумаги, написанные рукой Пандоры. Эрве наскоро пробежал их. Это были черновики писем леди Спенсер-Свифт, сохраненные ею.

Погрузившись в чтение переписки, Эрве с удовольствием убедился, что не ошибся в своих предположениях. Байрону очень быстро наскучили платонические отношения. Он просил Пандору назначить ему свидание ночью, когда все обитатели замка спят. Пандора противилась, но без особенной твердости. Эрве подумал: «Если вот это письмо, черновик которого я сейчас прочел, было отправлено Байрону, он должен был почувствовать, что победа недалека». В самом деле, простодушная молодая женщина приводила только один довод: «Это невозможно, потому что я не представляю себе, где мы могли бы увидаться с вами, не привлекая внимания всех в замке».

Эрве вновь взялся за альбом. Пандора записала, что для того, чтобы обмениваться письмами с Байроном, она делала вид, будто дает ему книги из своей библиотеки. Таким образом она могла в присутствии marito¹ передавать поклоннику книги, в которые были вложены записочки. «И это в двадцать лет!» — подумал Эрве.

«Сегодня Уильям уехал на охоту, и я целый день провела вдвоем с лордом Б., хотя и на глазах прислуги. Он был очарователен. Кто-то рассказал ему о подземелье замка, и он пожелал осмотреть его. Я не решилась спуститься с ним, но попросила гувернантку миссис Д. показать гостю подземелье. Вернувшись, он сказал странным тоном: «В один прекрасный день этому подземелью суждено стать уголком, о котором я всю жизнь буду вспоминать с живейшим восторгом». Что он хотел этим сказать? Я боюсь вникать в смысл его слов и в особенности не могу без страха думать о том, что этот восторг может быть связан с воспоминанием обо мне».

Письма и альбом помогли французу восстановить развязку приключения. Однажды ночью Пандора согласилась встретиться с Байроном в подземелье в тот час, когда ее супруг храпел в своей спальне, а челядь ушла к

¹ Муж (ит.).

себе на третий этаж. Байрон был настойчив, пылок. Она молила о пощаде.

— Лорд Байрон,— сказала она ему,— я в вашей власти. Вы можете делать со мной все что пожелаете. Никто нас не видит, никто нас не слышит. У меня самой нет сил вам противиться. Я пыталась бороться, но любовь привела меня сюда вопреки моей собственной воле. От вас одного зависит мое спасение. Если вы злоупотребите своей властью надо мной, я уступлю вам, но потом умру со стыда и горя.

Она залилась слезами. Байрон, тронутый мольбами молодой женщины, почувствовал прилив жалости.

— Вы просите у меня того, что превышает силы человеческие,— сказал он.— Но я так вас люблю, что готов от вас отказаться.

Они долго еще сидели на диване, тесно прижавшись друг к другу, потом Пандора поднялась в свою спальню. На следующий день Байрон объявил, что издатель Мэррэй вызывает его в Лондон, и покинул Виндхерст. В этот день Пандора сделала в дневнике запись, которая от души позабавила молодого француза.

«О глупец, глупец! — писала она.— Все кончено, все потеряно, и я осуждена вовеки не знать любви. Как он не понял, что я ведь не могла сразу броситься ему на шею. Разве женщина, воспитанная в таких правилах, как я, и вдобавок такая молодая, могла повести себя с цинизмом тех бесстыдных распутниц, с какими он привык иметь дело до сих пор? Я должна была поплакать. А он, искушенный в любви мужчина, должен был успокоить, утешить меня и заставить уступить чувству, которое уже так сильно владело мною. Но он уехал, погубив все наши надежды! Никогда в жизни не прощу ему этого!»

После этого эпизода действующие лица обменялись еще двумя письмами. Письмо Байрона было составлено в осторожных выражениях. Он, несомненно, думал о муже, который мог вскрыть конверт. Черновик письма Пандоры выдавал нежные чувства молодой женщины и ее затаенную ярость. В дальнейших записях дневника еще несколько раз упоминалось имя Байрона, то в связи с его новой поэмой, то в связи с очередным скандалом. Бросались иронические намеки, в которых проглядыва-

ла глубокая досада. Но после 1815 года Байрон, как видно, совершенно изгладился из памяти Пандоры.

Сквозь маленькое окошко в подземелье просочился бледный свет. Забрезжило утро. Эрве, точно выйдя из транса, медленно огляделся вокруг и вернулся в XX век. Какое прелестное и забавное приключение пережил он за минувшую ночь! С каким удовольствием он его опишет! Но теперь, окончив работу, он почувствовал усталость после бессонной ночи. Он потянулся, зевнул, задул свечи и поднялся в отведенную ему комнату.

Звон колокольчика возвестил час ленча. В холле поджидал величественный Миллер, который проводил француза в гостиную, где уже находилась леди Спенсер-Свифт.

— Добрый день, господин Марсена,— сказала она своим резким мужским голосом.— Мне сказали, что вы всю ночь не ложились. Надеюсь, что вы по крайней мере хорошо поработали.

— Отлично. Я все прочитал и сделал двадцать страниц выписок. Это бесподобная история. Не могу вам выразить...

Она перебила его:

— Я ведь вам говорила. Эта малютка Пандора, судя по портрету, всегда казалась мне женщиной, созданной для страсти.

— Она действительно была создана для страсти. Но вся прелесть истории в том и состоит, что она никогда не была любовницей Байрона.

Леди Спенсер-Свифт побагровела.

— Что? — переспросила она.

Молодой человек, который захватил с собой свои выписки, рассказал хозяйке всю историю, попытавшись при этом проанализировать характеры обоих действующих лиц.

— Вот каким образом,— закончил он,— лорд Байрон в первый и последний раз в своей жизни уступил бесу нежности, а прабабка вашего мужа вовек не простила ему этой снисходительности.

Леди Спенсер-Свифт слушала не перебивая, но тут она не вытерпела.

— Nonsense! — воскликнула она.— Вы плохо разобрали текст или чего-нибудь не поняли... Пандора не была любовницей лорда Байрона?! Да все на свете знают, что она ею была. В этом графстве нет ни одной семьи,

где бы не рассказывали эту историю... Не была любовницей лорда Байрона!.. Очень сожалею, господин Марсена, но если таково ваше последнее слово, я не могу разрешить вам опубликовать эти документы... Как! Вы намерены разгласить во Франции и в здешних краях, что эта великая любовь никогда не существовала! Да ведь Пандора перевернется в гробу, сударь!

— Но почему? Пандора-то знает правду лучше всех, ведь она сама записала в дневнике, что между нею и Байроном не произошло ничего предосудительного!

— Этот дневник,— объявила леди Спенсер-Свифт,— вернется на свое место в сейф и больше никогда оттуда не выйдет. Где вы его оставили?

— На столе в подземелье, леди Спенсер-Свифт. У меня не было ключа, и поэтому я не мог положить его в сейф.

— Сейчас же после ленча мы с вами спустимся вниз и водворим все на прежнее место. Мне не следовало показывать вам семейный архив. Бедняжка Александр был против этого и на сей раз оказался прав... Что до вас, сударь, я вынуждена потребовать от вас полного молчания об этом... так называемом... открытии...

— Само собой разумеется, леди Спенсер-Свифт, я не могу напечатать ни строчки без вашего позволения, к тому же я ни за что на свете не хотел бы вызвать ваше неудовольствие. И, однако, признаюсь вам, я не понимаю...

— Вам нет нужды понимать,— ответила она.— Я прошу вас о другом — забудьте.

Он вздохнул:

— Что поделаешь. Забуду... И об этом дневнике, и о своей книге.

— Очень мило и любезно с вашей стороны. Впрочем, я ничего иного и не ждала от француза. А теперь поговорим о чем-нибудь другом. Скажите, господин Марсена, как вам нравится английский климат?

После ленча они спустились в подземелье в сопровождении Миллера. Дворецкий раскрыл тяжелые створки сейфа. Старуха собственноручно уложила среди кожаных футляров и столового серебра белый альбом и пачку пожелтевших писем, перевязанных розовой лентой. Миллер снова запер сейф.

— Вот и все,— весело сказала она.— Теперь уж он останется здесь навеки.

Когда они поднялись наверх, первая группа туристов, прибывшая с автобусом, уже покупала в холле входные билеты и открытки с видами замка. Миллер стоял наготове — чтобы начать сцену с портретами.

— Зайдемте на минуту, — сказала леди Спенсер-Свифт французу.

Она остановилась поодаль от группы туристов, но внимательно прислушивалась к словам Миллера.

— Вот это, — объяснял дворецкий, — сэр Уильям Спенсер-Свифт (1775—1835). Он сражался при Ватерлоо и был личным другом Веллингтона. Портрет кисти сэра Томаса Лоуренса, так же как и портрет леди Спенсер-Свифт.

Молоденькая туристка, живо выступившая вперед, чтобы получше разглядеть портрет, прошептала:

— Той самой...

— Да... — сказал Миллер, понизив голос. — Той, которая была любовницей лорда Байрона.

Старая леди Спенсер-Свифт с торжеством взглянула на француза.

— Вот видите! — сказала она.

АРИАДНА, СЕСТРА...

I. ТЕРЕЗА — ЖЕРОМУ

Эврё, 7 октября 1932 г.

Я прочитала твою книгу... Да, ее прочитали все, и я в том числе... Не волнуйся: она мне понравилась... Мне кажется, будь я на твоём месте, меня преследовала бы мысль: «А как Тереза, считает ли книгу справедливой? Страдала ли, читая ее?» Но тебе-то, конечно, такие вопросы в голову не приходят. Ты ведь убежден, что проявил не только беспристрастие, но даже великодушие... Вот в каком тоне ты говоришь о нашем браке:

«Пламенно мечтая о женщине, созданной моим воображением, не только возлюбленной, но и помощницей в работе, я не разглядел в Терезе реальную женщину. Но в первые же дни совместной жизни я обнаружил в ней черты, которые можно было предвидеть заранее и которые, однако, поставили меня в тупик. Я был чело-

век из народа и в то же время натура артистическая. Тереза выросла в богатой буржуазной семье. Ей были свойственны все добродетели и пороки ее класса. У меня была верная, скромная, по-своему, неглупая жена. Но, увы! трудно вообразить существо, которое менее годилось бы в подруги человеку, чье призвание — борьба и апостольство духа...»

Ты в этом уверен, Жером? Ты уверен, что приобщил меня к «апостольству духа», когда, уступив твоим мольбам, я согласилась, вопреки советам моих родителей, выйти за тебя замуж? А ведь сознайся, Жером, я отважилась тогда на смелый поступок. Ты был в те годы неизвестным писателем. Твои политические идеи отпугивали и возмущали меня. Я покинула богатый дом, дружную семью, чтобы начать нелегкую совместную жизнь с тобой. Разве я роптала, когда годом позже ты объявил мне, что в Париже не можешь работать, и увез меня в глухую провинцию, в край суровый и мрачный, где в целом доме жила лишь маленькая забитая служанка — единственное существо, которое в ту пору моей жизни казалось мне еще более обездоленным, чем я. Я все терпела, на все соглашалась. Я даже долгое время делала вид, будто счастлива.

Но разве женщина может быть счастлива с тобой, Жером? Иной раз я смеюсь, горько смеюсь, когда газеты твердят о твоей силе, нравственной стойкости. Ты — сильный?.. Право, Жером, я никогда не встречала человека слабодушнее тебя. Ни разу. Нигде. Я пишу это без всякой ненависти. Пора обид миновала, и с тех пор как мы не видимся, я вновь обрела спокойствие. Но тебе полезно это узнать. Твоя всегдашняя мнительность, неврастеническая боязнь людей, исступленная жажда похвал, наивный страх перед болезнью, смертью — да разве это признак силы, хотя плоды этого смятения — твои романы — и вводят в заблуждение твоих учеников?

Ты — сильный? Да какая же это сила, если ты настолько раним, что заболеваешь от неуспеха книги, и настолько тщеславен, что стоит глупцу обмолвиться о тебе добрым словом, и ты готов усомниться в его глупости? Тебе и в самом деле раза два или три в жизни пришлось бороться за свои идеи. Но ты вступал в борьбу, только тщательно все взвесив, когда был уверен в по-

беде этих идей. В одну из редких минут откровенности ты однажды сделал мне признание, о котором, наверно, тотчас пожалел с присущей тебе осторожностью, признание, которое я не без злорадства храню в памяти.

«Чем старше становится писатель,— сказал ты,— тем радикальнее должны быть его взгляды. Это единственный способ привлечь к себе молодежь».

Бедные юноши! С наивным восторгом упиваясь твоими «Посланиями», они и представить себе не могли, насколько притворен пыл их автора, с каким продуманным макиавеллизмом они написаны.

Да, Жером, в тебе нет ни силы, ни мужественности... Может, на первый взгляд это покажется жестоким, но придется сказать тебе и это. Ты никогда не был настоящим любовником, милый Жером. После того как мы с тобой разошлись, я узнала физическую любовь. Я вкусила ее покой и блаженство, узнала счастливые ночи, когда женщина, не ведая больше никаких желаний, засыпает в объятиях сильного мужчины. Живя с тобой, я знала лишь грустное подобие любви, жалкую пародию на нее. Я не подозревала о своем несчастье; я была молода, довольно неопытна; когда ты твердил мне, что художник должен беречь свои порывы, я верила тебе. Правда, мне хотелось хотя бы спать рядом с тобой; я нуждалась в тепле твоего тела, в капле нежности, в капле жалости. Но ты избегал моих объятий, моей постели, даже моей комнаты. И при этом ты и не подозревал о моем отчаянии.

Ты жил только ради себя, ради шумихи вокруг твоего имени, ради того тревожного любопытства, какое пробуждал в твоих читательницах герой, который на самом деле — ты-то это прекрасно знал — не имел с тобой ничего общего. Три враждебные строчки в какой-нибудь газете волновали тебя больше, чем страдания женщины, любившей тебя. Тебе случалось уделять мне внимание, но лишь тогда, когда политические деятели или писатели, мнением которых ты дорожил, приходили к нам обедать. Тогда ты хотел, чтобы я блистала. Накануне этих визитов ты подолгу беседовал со мной; ты уже не ссылался на свою священную работу, ты подробно объяснял, что надо и чего не надо говорить, каковы прославленные чудачества такого-то критика и гастрономические вкусы такого-то оратора. В эти дни ты желал, чтобы наш дом казался бедным, ибо это со-

ответствовало твоим доктринам, но чтобы от нашего угощения текли слюнки, ибо великие мира сего тоже люди.

Помнишь ли ты, Жером, то время, когда у тебя появились деньги, большие деньги? Это и радовало тебя, ведь в глубине души ты самый обыкновенный, жадный к земле крестьянин, и вместе с тем немного смущало, потому что твои идеи плохо согласовались с богатством. Как я потешалась тогда над наивными уловками, с помощью которых твоя алчность пыталась успокоить твою совесть: «Я раздаю почти все деньги», — говорил ты. Но я-то видела счета и знала, сколько у тебя остается. Иногда я с притворным простодушием замечала как бы вскользь:

— А ведь ты сильно разбогател, Жером!

А ты вздыхал:

— Ненавижу этот строй... Увы, пока он существует, приходится к нему приспособливаться.

К несчастью, поскольку нападки на государственный строй были в моде, чем больше ты его осуждал, тем богаче становился. Вот ведь жестокая судьба! Бедняга Жером! Впрочем, надо отдать тебе должное: если речь заходила обо мне, ты и слышать не хотел ни о каких компромиссах. Когда я поняла, что ты стал миллионером, меня, как всех женщин, обездоленных в любви, потянуло к роскоши, к мехам, драгоценностям. Но должна признаться, что тут я всегда встречала самое добродетельное сопротивление с твоей стороны.

— Норковая шуба? — говорил ты. — Жемчужное кольцо? Как тебе это могло взбрести в голову! Разве ты не понимаешь, что скажут мои враги, если моя жена уподобится тем самым буржуазным дамам, сатирическими портретами которых я прославился?

Да, я понимала. Я отдавала себе отчет, что жена Жерома Ванса должна быть вне подозрений. Я сознавала все неприличие моих желаний. Правда, себя ты не лишал любимых игрушек — земель и ценных бумаг. Но ведь банковские счета невидимы, а бриллианты слепят глаза. Ты был прав, Жером, — как всегда.

Но я снова стерпела все. Стерплю и последнюю твою книгу. Я слышу, как вокруг все хором восхваляют смелость твоих взглядов, твою доброту (меж тем ты один из самых злых людей, каких мне приходилось встречать), твое благородство по отношению ко мне.

Я молчу. Иногда подтверждаю: «Совершенно верно,— говорю я,— он был ко мне снисходителен, у меня нет никаких оснований жаловаться». Права ли я в своем великодушии? Разумно ли с моей стороны попустительствовать этой лестной для тебя легенде, которая растет и ширится вокруг твоего имени? Справедливо ли, чтобы молодежь считала своим учителем человека, которого я хорошо знаю и который даже не достоин называться мужчиной? Иногда я задаю себе все эти вопросы. Но я и пальцем не пошевелю, чтобы что-нибудь изменить. Я даже не стану, следуя твоему примеру, писать в свое оправдание мемуары. Зачем? Ты внушил мне отвращение к слову. Прощай, Жером.

II. ЖЕРОМ — ТЕРЕЗЕ

Париж, 15 октября 1932 г.

Как и в былые времена, когда мы жили вместе, тебе захотелось сделать мне больно... Ну что ж, радуйся, тебе это удалось... Ты себя не знаешь, Тереза... Ты выдаешь себя за жертву, а ты — палач... Я тоже не сразу тебя раскусил. Я считал тебя такой, какой ты хотела казаться. Женщиной мягкой, всегда приносящей себя в жертву. Лишь мало-помалу мне открылась твоя ненасытная потребность в раздорах, твоя жестокость, твое вероломство. Натерпевшись в юности унижений от бестактных родителей, ты хочешь взять у жизни реванш. И отыгрываешься на тех, кто на свою беду тебя любит. Когда мы с тобой встретились, я верил в себя. Ты решила убить во мне эту веру; ты стала издеваться над моим умом, над моими взглядами, над моей внешностью. Ты сделала меня посмешищем в моих собственных глазах. Даже освободившись от тебя, я и по сей день не могу вспоминать без стыда тайные раны, нанесенные мне твоей откровенностью.

Каким безжалостным взглядом ты рассматривала меня. «До чего же ты мал,— твердила ты,— ну, просто коротышка». В самом деле, я был мал ростом, и, как у большинства людей, ведущих сидячий образ жизни, у меня было больше жира, чем мускулов. Разве это преступление? Или хотя бы вина? Но я отлично понимал, что в твоих глазах это, во всяком случае, предмет для насмешки. Любовь нуждается в безоглядном доверии.

Вместе с одеждой любящие отбрасывают прочь все страхи, подозрительность, застенчивость. А я, лежа рядом с тобой, все время чувствовал на себе враждебный взгляд женщины, которая, ни на минуту не теряя власти над своими чувствами, холодно и трезво оценивая меня. Да как же мог я быть хорошим любовником, когда я тебя боялся? Как мог я стать с тобой тем, кем должен быть в любви мужчина: предприимчивым, повинующимся инстинкту существом, когда со стороны моей партнерши я встречал только внутреннее сопротивление и преувеличенную стыдливость? Ты винишь меня за то, что я избегал твоего ложа. А ты не подумала о том, что сама согнала меня с него?

«А ведь сознайся, — пишешь ты, — выходя за тебя, я отважилась на смелый поступок...» Но разве ты уже и тогда не была убеждена, что меня ждет в скором времени громкая известность? Твой выбор, Тереза, пал на меня потому, что ты увидела во мне нечто живое, настоящее, что было в диковинку для тебя и твоего окружения. А может, еще и потому, что ты почувствовала мою ранимость, а ведь главная, единственная твоя услада — причинять боль другому... Мне теперь очень трудно припомнить, каким я был в пору нашего первого знакомства. Мне кажется, я был действительно человеком незаурядным — я верил в свои взгляды, в свое призвание... Но ты приложила все усилия к тому, чтобы убить во мне этого человека. Когда мне казалось, что я счастлив, ты сокрушала меня своей жалостью. Странное дело. Ты вышла за меня замуж, потому что чувствовала во мне силу. Но именно против этой силы ты и ополчилась. Впрочем, в твоих поступках не следует искать ни логики, ни умысла. Как и многие женщины, ты просто жалкая игрушка своей плоти и нервов. Несчастливая юность изломала тебя, неудачи озлобили. Пока ты жила с родителями, ты на них вымещала снедающую тебя ненависть, а с того дня, как твоим спутником жизни стал я, ты начала преследовать меня.

«Вот уж неожиданные попреки... — скажешь ты. — Он высосал эти обвинения из пальца, чтобы отомстить за мое письмо!..»

И ты с торжеством поспешишь указать на то место в книге, которое ты уже не преминула отметить: «У меня была верная, скромная, неглупая жена». Но не доверяй этим чересчур снисходительным строкам, Тереза.

Раз уж ты вынуждаешь меня к крайности, заставляешь ни перед чем не останавливаться, изволь, я покаюсь тебе: эта фраза — ложь. Сознательная ложь. Я хотел разыграть великодушие. Я был неправ. Лицемерие всегда вредит произведениям искусства. Мне следовало без всякой жалости показать, какое ты чудовище и сколько зла ты мне причинила.

«Верная?» Еще до того, как я разошелся с тобой, я уже знал, что ты мне изменяешь. Но зачем было это оглашать? Это только нанесло бы мне ущерб, а тебе стяжало бы лестные лавры ветреницы. «Скромная?» У тебя сатанинская гордость, и большинство твоих поступков вызвано жаждой властвовать, ослеплять. «Неглупая?» Да, многие теперь находят тебя умной. Ты и в самом деле поумнела. Но знаешь, отчего? Это я сделал тебя такой. За двадцать лет ты позаимствовала у меня все, чего тебе недоставало: взгляды, знания, даже словарь. И теперь, после долгих лет разлуки, в тебе все еще жив тот дух, что я вдохнул в тебя, и даже письмо, которым ты надеялась меня сокрушить, всей своей силой обязательно мне.

Я тщеславен? Нет, я горд. Я вынужден непрестанно твердить, что верю в свои силы, чтобы стряхнуть с себя злое наваждение — дело твоих рук. Не стану перебирать все строки твоего письма. Я не хочу играть тебе на руку, причиняя себе бесполезные страдания. Однако добавлю еще два слова. «Я горько смеюсь, — пишешь ты, — когда газеты твердят о твоей силе... я никогда не встречала человека слабодушнее тебя...» Ты отлично знаешь, Тереза, что в данном случае ты смешиваешь две разные вещи, хотя делаешь вид, будто не замечаешь этого. Ты не имеешь на это права. Каким я был в наших личных отношениях — касается только нас двоих. Теперь, как и ты, я считаю, что в этой борьбе я был слишком слаб. Я держал себя так из жалости, но к жалости зачастую примешивается трусость. Однако ты прикидываешься, будто не знаешь, что человек, слабый и беспомощный в повседневной жизни, может создавать могучие творения. А на самом деле очень часто так и бывает — именно слабые люди обладают громадной творческой силой. Поверь мне, Тереза, то, что молодежь видит в моих книгах, в них действительно есть. И во зрелом размышлении я прихожу к мысли, что, хотя ты и причинила мне много страданий, за них-то я и должен теперь,

когда боль притупилась, поблагодарить тебя. Именно твоей постоянной ненависти я во многом обязан тем, чем я стал.

По натуре своей ты — прежде всего разрушительница. В эту форму облеклась твоя злоба. Поскольку ты не была счастлива, ты ненавидишь счастье, выпадавшее на долю других. Поскольку тебе не свойственна чувственность, ты презираешь наслаждение. Досада превратила тебя в пронизательного и одержимого наблюдателя. Подобно тем лучам, которые сразу обнаруживают в громадном куске железа свищ — угрозу его прочности, ты мгновенно нащупываешь в человеке слабое место. Ты умеешь находить изъян в любом достоинстве. Это редкий дар, Тереза, но это проклятый дар. Потому что ты забываешь, что достоинства все-таки существуют и железные балки выдерживают проверку временем. Я знаю, что мне свойственны все те слабости, которые ты так безжалостно перечислила. У тебя зоркий глаз, Тереза, на редкость пронизательный. Но слабости мои вкраплены в такую монолитную, твердую породу, что ни одному человеку не под силу ее сокрушить. Даже тебе это не удалось, и мое творчество, моя душа вырвались невредимыми из-под твоей пагубной власти.

«Разве женщина, — пишешь ты, — может быть счастлива с тобой?» Я хочу, чтобы ты знала, что и я после развода с тобой узнал счастливую любовь. Я обрел покой в браке с простой и сердечной женщиной. Мне так и видится твоя усмешка: *«Ты — возможно, но она?..»* Если бы ты хоть мельком увидела Надин, ты поняла бы, что и она счастлива. Ведь не всем женщинам свойственна потребность убивать, чтобы жить... Кого ты убиваешь теперь?

III. НАДИН — ТЕРЕЗЕ

Париж, 2 февраля 1937 г.

Вы, наверное, удивитесь, мадам, получив письмо от меня. Молве угодно считать нас врагами. Не знаю, как вы относитесь ко мне. Что до меня, то я не только не питаю к вам ненависти, но скорее, наоборот, чувствую к вам невольную симпатию. Если прежде, в пору вашего развода, я в течение нескольких месяцев видела в вас соперницу, которую любой ценой следовало вытеснить

из сердца моего избранника, то вскоре после моего замужества вы стали для меня как бы невидимой сообщницей. Я уверена, что умершие жены Синеи Бороды встречаются в памяти их общего супруга. Жером, сам того не желая, рассказывал мне о вас. А я пыталась представить себе, как вы держались с этим человеком, таким необычным, таким трудным, и мне часто приходило в голову, что ваша жестокость была разумнее моего терпения.

После смерти Жерома мне пришлось разбирать его бумаги. Среди них я нашла много ваших писем. Одно из них произвело на меня особенно сильное впечатление. Я имею в виду письмо, которое вы написали ему пять лет назад, после опубликования его «Дневника». Я не раз говорила ему, что эта страница вас оскорбит. Я просила вычеркнуть ее. Однако этот бесхарактерный человек проявлял редкостную твердость и упрямство, когда речь шла о его творчестве. Ваш ответ был безжалостен. Но вы, наверное, удивитесь, узнав, что я нахожу его не лишенным справедливости.

Не подумайте, что я предаю Жерома после его кончины. Я его любила; я храню ему верность; но я способна судить о нем беспристрастно и не умею лгать. Как писатель он достоин восхищения: он был и талантлив, и честен. О человеке же вы сказали правду. Нет, Жером не был апостолом, во всяком случае, если ученики принимали его за апостола, нас, своих жен, ввести в заблуждение ему не удалось. Он всегда чувствовал потребность окружать свои поступки, свои политические взгляды, вообще всю свою жизнь ореолом святости, но мы-то знаем, что мотивы, побуждавшие его действовать именно так, а не иначе, были довольно ничтожны. Он возводил в добродетель свою ненависть к светской суете, но истинная причина этой ненависти крылась в его болезненной застенчивости. Он всегда держал себя с женщинами как внимательный и почтительный друг, но и в этом сказывался, как вы писали ему, скорее недостаток темперамента, чем душевная мягкость. Он уклонялся от официальных почестей, но и это скорее из гордости и расчета, нежели из скромности. И наконец, ни разу он не принес жертвы, которая не обернулась бы выгодой для него, но при этом он хотел, чтобы мы слепо верили в его ловкую непрактичность.

Уверяю вас, мадам, что Жером сам не понимал своего истинного характера и что этот человек, так сурово и пронзительно читавший в душах других людей, сошел в могилу убежденный в своей жизненной мудрости.

Была ли я с ним счастлива? Да, была, несмотря на множество разочарований, потому что мне никогда не наскучивало наблюдать это вечно меняющееся, фантастически интересное существо. Сама его двойственность, о которой я сейчас говорила, превращала его в живую загадку. Я не уставала слушать его, расспрашивать, изучать. В особенности меня трогала его слабость. В последние годы я относилась к нему скорее как снисходительная мать, нежели как влюбленная женщина. Но не все ли равно, как любишь, когда любишь? Наедине с собой я его проклинала, но стоило ему появиться — и я прощала все. Впрочем, он и не подзревал о моих страданиях. Да и к чему? Я считала, что женщина, которая сорвала с него маску и показала ему в зеркале его подлинное лицо, навлекла бы на себя ненависть Жерома, ни в чем его не убедив. Даже вы решились высказать ему правду только тогда, когда поняли, что он для вас потерян безвозвратно.

И, однако, какой след оставили вы в его жизни! После того как вы с ним расстались, Жером, живя со мной, год за годом только и делал, что вновь и вновь описывал историю вашего разрыва. Вы были его единственной героиней, главным персонажем всех его книг. Всюду под различными именами я вновь и вновь узнавала вашу прическу флорентийского пажа, вашу величавую осанку, вашу резкую прямоту, надменное целомудрие и жесткий блеск ваших глаз. Ему никогда не удавалось изобразить мои чувства и мои черты. Он неоднократно принимался за это, желая доставить мне удовольствие. Ах, если бы вы знали, как я страдала каждый раз, видя, как образ, который он лепит с меня, помимо воли скульптора, постепенно приобретает черты женщины, похожей на вас. Один из его рассказов назван моим именем — «Надин», но разве не ясно, что его героиня, неприступная и мудрая девственница, — тоже вы? Сколько раз я, бывало, плакала, переписывая главы, в которых вы появляетесь то в роли загадочной невесты, то в роли неверной, обожаемой жены, то в роли злодейки — ненавистной, несправедливой и все-таки желанной.

Да, с тех самых пор, как вы покинули его, Жером жил воспоминаниями, дурными воспоминаниями, которые вы оставили по себе. А ведь я старалась сделать его жизнь спокойной, безмятежной, чтобы он мог целиком посвятить себя творчеству. Теперь я задаюсь вопросом, права ли я была? Быть может, великому таланту нужно страдать? Быть может, однообразие для него пагубнее ревности, ненависти и боли? Ведь и вправду, самые человечные свои книги Жером написал в те годы, когда вы были его женой; а оставшись без вас, он все время мысленно возвращался к последним месяцам вашей совместной жизни. Даже жестокость вашего письма, которое сейчас лежит передо мной, не излечила его. Все последние годы он пытался на него ответить и в мыслях своих и в книгах. Его последнее, незаконченное произведение, рукопись которого хранится у меня, представляет собой нечто вроде беспощадной исповеди, в которой он, пытаясь себя оправдать, предается самоистязанию. Ах, как я завидую, мадам, той страшной власти тревожить его сердце, какую вам давала ваша неуязвимая холодность.

Зачем я вам все это говорю теперь? Да потому, что мне уже давно хотелось вам это высказать. Потому, что только вы одна можете это понять, а также потому, что моя искренность, я надеюсь, расположит вас ко мне и вы согласитесь оказать мне небольшую услугу. Вам известно, что после смерти Жерома о нем много пишут. На мой взгляд, суждения о его творчестве недостаточно глубоки и не очень справедливы, но в эту область я не намерена вторгаться. Критики имеют право на ошибки: потомство вынесет свой приговор. Я считаю, что книги Жерома относятся к числу тех, которым суждено пережить их автора. Но я не могу сохранять такое же спокойствие, когда биографы искажают облик Жерома и мою жизнь с ним. Подробности семейного быта Жерома, интимные черты его характера были известны только нам с вами, мадам. После долгих колебаний я пришла к выводу, что не вправе унести с собой в могилу свои воспоминания.

Итак, я намерена написать книгу о Жероме. О, я знаю, что лишена таланта. Но в данном случае важна не столько форма, сколько материал. По крайней мере я оставляю свидетельство и надеюсь, что в будущем оно пригодится какому-нибудь талантливому биографу для

воссоздания истинного портрета Жерома. Вот уже несколько месяцев я собираю необходимые документы. Однако мне все еще не хватает материалов об одном периоде — вашей помолвке и браке. Быть может, это не принято и слишком смело, но я решила со всей откровенностью и без церемоний обратиться к вам и просить вас о помощи. Пожалуй, я не отважилась бы на это, если бы не питала к вам, как я уже писала, необъяснимую, но искреннюю симпатию. Я вас никогда не видела, но у меня такое чувство, будто я знаю вас лучше, чем кто бы то ни было. Интуиция подсказывает мне, что я поступаю правильно, обращаясь к вам так откровенно, хотя это и граничит с дерзостью. Напишите мне, пожалуйста, где и когда я могу встретиться с вами, чтобы рассказать вам о своих планах. Я полагаю, что вам нужно время, чтобы найти и разобрать старые бумаги, если вы их сохранили, но так или иначе я хотела бы как можно скорее побеседовать с вами. Я хотела бы рассказать вам, как я задумала эту книгу. Тогда вы поймете, что с моей стороны вам нечего опасаться ни осуждения, ни даже пристрастных оценок. Наоборот, обещаю вам употребить весь свой женский такт на то, чтобы воздать вам должное. Я прекрасно знаю, что вы построили свою жизнь заново, и позабочусь о том, чтобы не процитировать ни одного документа, не сказать ничего такого, что могло бы поставить вас теперь в неловкое положение. Заранее благодарю вас за все, чем вы захотите — в этом я не сомневаюсь — облегчить мою задачу.

Надин Жером-Ванс.

Р. С. Этим летом я еду в Уриаж, чтобы, если можно так выразиться, описать с натуры те места, где Жером был впервые представлен вам на веранде отеля «Стендаль». Я бы хотела также посетить имение ваших родителей.

Р. Р. С. У меня не хватает данных о связи Жерома с мадам де Вернье. Известно ли вам что-нибудь о ней? Жером непрестанно говорил о вас, но на вопросы об этом юношеском романе отвечал всегда сдержанно, скупо и уклончиво. Верно ли, что мадам де В. приехала к нему в Модану в 1907 году и сопровождала его в поездке по Италии?

Как звали бабушку Жерома по отцу — Ортанс или Мелани?

IV. ТЕРЕЗА — НАДИН

Эврё, 4 февраля 1937 г.

К большому моему сожалению, мадам, я ничем не могу вам помочь. Дело в том, что я сама решила опубликовать «Жизнь Жерома Ванса». Правда, его вдова — вы, вы носите его имя, и поэтому томик ваших воспоминаний будет, без сомнения, хорошо принят публикой. Но нам с вами не пристало лукавить друг с другом: согласитесь, мадам, что вы очень мало знали Жерома. Вы вышли за него в ту пору, когда он уже стал знаменитостью и его общественная деятельность как бы затмила его личную жизнь. Зато я была свидетельницей рождения таланта и возникновения легенды, к тому же вы сами любезно признаете, что лучшие из книг Жерома были написаны при мне или в память обо мне.

Не забудьте также, что ни одна серьезная биография Жерома не может обойтись без документов, которые принадлежат мне. У меня сохранилось две тысячи писем Жерома, писем, полных любви и ненависти, не считая моих ответов, черновики которых я тоже сберегла. Двадцать лет подряд я вырезала все статьи о Жероме и его книгах, собирала письма его друзей и неизвестных почитателей. Я храню все речи Жерома, его лекции и статьи.

Директор Национальной библиотеки, который недавно составил опись этих сокровищ, потому что я намерена преподнести их в дар государству, сказал мне: «Это выдающаяся коллекция». Приведу лишь один пример: вы спрашиваете меня, как звали бордосскую бабушку Жерома, а у меня на эту Ортанс-Полин-Мелани Ванс заведено целое досье, как, впрочем, и на всех остальных предков Жерома.

Жером любил говорить о себе как о «человеке из народа». Но это выдумка. В конце XVIII века семейство Ванс владело небольшим поместьем в Перигоре; дед и бабушка Жерома по материнской линии прибрали к рукам около сотни гектаров неподалеку от Мериньяка. При Луи-Филиппе дед Жерома был мэром своего городка, а один из братьев деда — иезуитом. Все в округе считали Вансов состоятельными буржуа. Я собираюсь рассказать об этом в своей книге. Не подумайте, что таким образом я хочу подчеркнуть тот снобизм наизнанку, который был одной из слабостей бедняги Жерома. Нет, я

намерена быть беспристрастной и даже снисходительной. Но я не хочу ничего приукрашивать. Впрочем, это был, пожалуй, самый простительный недостаток великого человека, которого мы с вами, мадам, любили и... судили.

По отношению к вам я, разумеется, проявляю не меньшее великодушие, чем вы ко мне. Зачем терзать друг друга? Правда, я располагаю письмами, из которых явствует, что, прежде чем стать женой Жерома, вы были его любовницей, но я не собираюсь их цитировать. Я ненавижу скандалы, кого бы они ни затрагивали — меня или других. И потом, в чем бы я ни упрекала Жерома, я по-прежнему восхищаюсь его творчеством и готова служить ему по мере сил с полным самоотречением.

Поскольку наши книги, по-видимому, выйдут почти одновременно, нам, вероятно, следовало бы обменяться гранками. Таким образом мы избегнем противоречий, которые могут возбудить подозрения критиков.

Все, что касается старости Жерома, его угасания после первого апоплексического удара, вы знаете лучше меня. Этот период его жизни я полностью представляю вам. Я хочу довести свою книгу до того момента, когда мы с ним расстались (к чему вспоминать ссоры, которые начались вслед за этим?). Но в эпилоге я кратко расскажу о вашем замужестве, потом о моем и о том, как я узнала о смерти Жерома в Америке, где я жила со своим вторым мужем. Сидя в кинотеатре, я вдруг во время показа хроники увидела на экране торжественную церемонию похорон, последние фотографии Жерома и вас, мадам, как вы спускаетесь с трибуны, опершись на руку премьер-министра. По-моему, это очень выигрышный конец для книги.

Впрочем, я совершенно уверена, что и вы напишете прелестную книжицу.

V. МАДАМ ЖЕРОМ-ВАНС — ИЗДАТЕЛЬСТВУ «ЛИС»

Париж, 7 февраля 1937 г.

Я только что узнала, что мадам Тереза Берже (которая, как вам известно, была первой женой моего мужа) готовит том своих воспоминаний. Нам необходимо ее опередить и для этого опубликовать нашу книгу к осени. Я представляю вам рукопись 15 июля. Меня очень порадовало, что Соединенные Штаты и Бразилия сделали заявки на право издания книги.

VI. ТЕРЕЗА — НАДИН

Эврё, 9 декабря 1937 г.

Мадам, в связи с успехом моей книги в Америке (Клуб книги присудил ей премию «Лучшей книги месяца») я недавно получила две длинные телеграммы из Голливуда и, прежде чем ответить на них, считаю своим долгом выяснить ваше мнение. Агент одного из крупнейших продюсеров Голливуда предлагает мне экранизировать «Жизнь Жерома Ванса». Вам известно, что Жером очень популярен в Соединенных Штатах в среде либеральной интеллигенции, и его «Послания» считаются там классикой. По причине этой популярности, а также из-за того, что в фигуре нашего мужа американцы видят нечто апостольское, продюсер хочет, чтобы и фильм получился трогательный и благородный. Вначале у меня просто волосы стали дыбом от некоторых его требований. Но, поразмыслив, я решила, что мы обязаны пойти на любую жертву ради того, чтобы завоевать Жерому всемирное признание, содействовать которому в наше время может только кинематограф. Мы обе хорошо знали Жерома и понимаем, что и сам он поступил бы точно так же, потому что, когда речь шла о славе, историческая истина всегда отступала для Жерома на второй план.

Вот три наиболее щекотливых обстоятельства:

а) Голливуд очень дорожит версией о том, что Жером вышел из народа, терпел жестокие лишения, и хочет в трагическом свете изобразить, как он боролся с нуждой в юные годы. Мы знаем, что это ложь, но ведь в конце концов самому Жерому эта версия тоже была по душе. Так с какой же стати нам с вами быть в этом вопросе щепетильнее самого героя?

б) Голливуд хочет, чтобы во времена «Дела Дрейфуса» Жером занимал решительную позицию и даже поставил на карту свою карьеру. Правда, исторически это неточно и хронологически невозможно, но эта неувязка никак не может повредить памяти Жерома, а скорее даже наоборот.

в) Наконец, — и это самый трудный вопрос — Голливуд считает неудобным вводить двух женщин в жизнь Жерома Ванса. Поскольку его первый брак был браком по любви (а конфликт с моей семьей вносит в это особую романтическую нотку), специфическая эсте-

тика кинематографа требует, чтобы это был счастливый брак. Поэтому продюсер просит моего разрешения «слить» двух жен Жерома — то есть вас и меня — в один персонаж. Для концовки фильма он использует материалы, взятые из вашей книги, но припишет мне ваше поведение во время болезни и смерти Жерома.

Я предвижу, как оскорбит вас это последнее предложение, да и сама я вначале его отвергла. Но агент Голливуда прислал мне еще одну телеграмму, в которой привел весьма веские доводы. Роль мадам Ванс будет, разумеется, поручена какой-нибудь кинозвезде. А ни одна крупная актриса не станет сниматься в фильме, если ей предстоит играть только в первой серии. Он даже сослался на такой пример: для того чтобы заполучить известного актера на роль Босуэлла в «Марии Стюарт», пришлось сочинить какие-то идиллические эпизоды, связывающие Босуэлла с юностью королевы. Согласитесь, что, если даже хорошо известные события истории приспособляются таким образом к требованиям экрана, нам с вами просто не к лицу проявлять смешной педантизм, когда речь идет о наших скромных особах.

Я хочу добавить, что: а) эта единственная супруга не будет похожа ни на вас, ни на меня, потому что играть нас будет актриса, с которой продюсер в настоящее время связан контрактом, а у нее нет никакого сходства ни с вами, ни со мной; б) Голливуд предлагает очень крупный гонорар (шестьдесят тысяч долларов, то есть более миллиона франков по нынешнему курсу), и, конечно, если вы согласитесь на указанные изменения, я готова самым щедрым образом оплатить ваше соавторство, связанное с использованием вашей книги.

Прошу вас телеграфировать мне, так как Голливуд ждет от меня немедленного ответа.

VII. НАДИН — ТЕРЕЗЕ

(Телеграмма)

10. XII. 37

ВОПРОС СЛИШКОМ ВАЖЕН ОБСУЖДЕНИЯ ПИСЬМАХ
ТЧК ВЫЕЗЖАЮ ПАРИЖ ЧЕТЫРНАДЦАТИЧАСОВЫМ 23
БУДУ У ВАС 18 ЧАСОВ ТЧК СЕРДЕЧНЫЙ ПРИВЕТ —
НАДИН

VIII. ТЕРЕЗА — НАДИН

Эврё, 1 августа 1938 г.

Дорогая Надин!

Как видите, я снова в моем милом деревенском доме, который вам знаком и который вы полюбили. Живу здесь одна, потому что муж мой в отъезде на три недели. Я буду счастлива, если вы приедете ко мне и проживете здесь, сколько сможете и захотите. Вы будете делать все, что вам вздумается, — читать, писать, работать — я сама занята сейчас моей новой книгой и предоставляю вам полную свободу. Если вы предпочтете посмотреть здешние окрестности — а они прелестны, — моя машина в вашем распоряжении. Но если вечером на досуге вам захочется посидеть со мной в саду, — мы поболтаем с вами о прошлом, о нашем «печальном прошлом», а также о делах.

Искренне любящая вас
Тереза Берже

ИСТОРИЯ ОДНОЙ КАРЬЕРЫ

В предпоследнюю субботу каждого месяца в мастерской художника Бельтара собирались: депутат Ламбэр-Леклерк (сейчас он уже помощник министра финансов), писатель Сиврак и драматург Фабер, автор той самой пьесы «Король Калибан», что еще недавно гремела на сцене театра «Жимназ».

В один из таких вечеров Бельтара представил друзьям своего двоюродного брата — молодого провинциала, решившего посвятить себя литературе.

— Этот мальчик, — объявил Бельтара, — написал роман. На мой взгляд, книга его ничуть не хуже других произведений подобного рода, и я прошу тебя, Сиврак, прочитать ее. У моего кузена нет никаких знакомств в Париже, он инженер и живет в Байё.

— Счастливый вы человек, — сказал юноше Фабер. — Сочинили роман, живете в провинции и ровным счетом никого не знаете в Париже! Ваша карьера обеспечена! Издатели тотчас начнут драться за честь «открыть» ваш талант, и если вы умело составите себе

репутацию, то через год ваш успех затмит даже славу нашего друга Сиврака. Но послушайтесь моего совета: никогда не показывайтесь в столице! Байё... Это же замечательно — Байё. Мыслимо ли противиться обаянию человека, живущего в Байё? На вид вы славный малый, но таковы уж люди: чужую гениальность они выносят лишь на приличном расстоянии.

— Советую вам сказатьсь больным,— вмешался Ламбэр-Леклерк,— очень многие добились успеха таким путем.

— Но что бы ты ни предпринимал,— сказал Бельтара,— ни в коем случае не бросай своей службы. Служба — это отличный наблюдательный пункт. Если же ты запрешься в своем кабинете, то через год станешь писать, как профессионал: твои сочинения будут безупречны по форме и невыносимо скучны.

— Глупец! — презрительно воскликнул Сиврак.— «Служба — отличный наблюдательный пункт!» Как не стыдно умному человеку повторять такие пошлости! Да что может писатель найти в мире такого, что не жило бы уже в нем самом? Разве Пруст покидал свою обитель? Разве Толстой уезжал из своей деревни? Когда его спрашивали, кто такая Наташа, он отвечал: «Наташа — это я». А Флобер...

— Прошу прощения, что я решаюсь возражать тебе,— отвечал Бельтара,— но Толстого окружала многочисленная родня, и в этом был один из источников его силы. А Пруст часто бывал в отеле «Ритц», он имел множество друзей, и все это давало богатую пищу его воображению. Что же до Флобера...

— Ясно!..— оборвал его Сиврак.— Но представь себе, что Пруст не мог бы черпать свои сюжеты из светской жизни,— все равно у него нашлось бы что сказать. Пруст одинаково восхитителен, когда рассказывает о своей болезни, о комнате, где он жил, или о своей старой служанке. А кроме того, я берусь доказать тебе, что даже самого блестящего ума, у которого к тому же имеется возможность наблюдать жизнь в самых любопытных ее проявлениях, еще недостаточно для создания истинного произведения искусства. Взять, к примеру, нашего друга Шалона... У кого, как не у него, было больше возможности и времени наблюдать самые различные круги общества? Шалон был на короткой ноге с художниками, писателями, промышленниками и

актерами, политическими деятелями, дипломатами, он имел доступ за кулисы театра, где разыгрывается человеческая комедия. А каков результат? Увы, мы знаем, чем это кончилось!..

— А в самом деле, что стало с Шалоном? — спросил Ламбэр-Леклерк. — Что с ним? Кто из вас слышал о нем?

— У нас с ним один издатель, — ответил Сиврак, — и я иногда сталкиваюсь у него с Шалоном, но наш друг делает вид, будто не узнает меня.

Наклонившись к хозяину дома, молодой провинциал вполголоса осведомился, кто такой Шалон.

— Сиврак, — сказал Бельтара, — расскажи-ка этому младенцу историю карьеры Шалона. Для человека его возраста пример этот может быть поучителен.

Сиврак встал и, пересев на край дивана, тотчас начал рассказ, построенный по всем правилам искусства. Его резкий насмешливый голос, казалось, рубил звуки.

— Не знаю, приходилось ли вам когда-нибудь слышать о знаменитом классе риторики лицея Генриха IV, выпуска 1893 года? Во всяком случае, он стяжал в академических кругах не меньшую известность, чем прославленный некогда выпуск Эколь Нормаль, где были, как вы знаете, Тэн, Прево-Парадоль, Сарсе и Эдмон Абу. Этот класс, как до сих пор твердит мне при каждой встрече один из наших старых учителей, был «колыбелью знаменитых мужей», потому что в этом классе одновременно учились Бельтара, Ламбэр-Леклерк, Фабер и я. Ламбэр-Леклерк, который тогда уже готовился к политическому поприщу и вместе с Фабером проводил все вечера на скачках...

— Никакого почтения к моему превосходительству... — вздохнул помощник министра.

— Вы, ваше превосходительство, были единственным из нас, чьи юношеские склонности уже тогда позволяли предсказать ваше будущее. Бельтара, напротив, не проявлял особенного интереса к живописи, а Фабер не выказывал ни малейшего расположения к драматургии. Наш преподаватель литературы, отец Гамлен, говорил ему: «Бедняга Фабер, наверно, вы никогда не освоите как следует французский язык». Суждение вполне справедливое, но ныне, кажется, отвергнутое невежественной публикой. Я же в те годы высшее эстетическое

наслаждение находил в том, что рисовал Венеру на полях школьных тетрадей. Наш кружок дополнял Шалон.

Это был белокурый юноша, с тонкими, приятными чертами лица. Он мало утруждал себя занятиями, зато много читал, столь же удачно выбирая любимых поэтов, как и галстуки. Безупречный вкус создал ему громадный авторитет в нашем кружке. Прочитав к тому времени историю общества «Тринадцати», мы вчетвером, да еще Шалон, решили создать по их примеру свою «Пятерку». Каждый член «Пятерки» дал клятву всегда и во всем поддерживать остальных. Мы условились, что деньги, влияние, связи — все, чего добьется любой из нас, будет служить всем членам кружка. Это было прекрасно задумано, но замысел наш так и не претворился в жизнь — по выходе из лицея нам пришлось расстаться. Его превосходительство и я посвятили себя изучению права. Фабер, которому надо было зарабатывать на жизнь, поступил на службу в банк своего дядюшки. Бельтара занялся медициной. Окончательно нас разлучила военная служба, а затем и другие случайности судьбы. В течение шести лет мы почти ничего не слышали друг о друге.

В Салоне 1900 года я впервые увидел картину Бельтара. Я был удивлен тем, что он сделался художником, но еще больше изумил меня его талант. Когда человек обнаруживает талант у друга детства, это неизменно повергает его в глубочайшее изумление. Хотя все мы понимаем, что любой гений кому-нибудь да приходился приятелем, все же почти невозможно свыкнуться с мыслью, что кто-то из твоих приятелей — гений. Я тотчас написал Бельтара, и он пригласил меня к себе. Мне понравилось в его мастерской, и я стал частенько наведываться к нему. После длительного обмена письмами и телеграммами мне удалось наконец созвать «Пятерку» на обед. Тут каждый из присутствовавших рассказал, чем он занимался после окончания лицея.

По воле случая трое из нас избрали отнюдь не тот путь, который был уготован им родителями. Бельтара, вступив в связь с натурщицей, забавы ради написал с нее несколько картин, которые оказались весьма удачными. Эта женщина и ввела его в круг художников. Он стал учиться живописи, добился на этом поприще успеха и спустя несколько месяцев окончательно оставил занятия медициной.

Затем он поехал на юг Франции.— в те края, где родился и вырос. Он написал здесь множество портретов марсельских торговцев и их жен и заработал на этом тысяч двадцать франков. Это позволило ему, когда он возвратился в Париж, работать над тем, что его интересовало. Он показал мне несколько полотен, где он «утверждал свое творческое «я», как говорили тогда критики.

Фабер, чья одноактная пьеса была сыграна любителями во время одного из вечеров в доме его дяди, удостоился восторженной похвалы со стороны некоего старого драматурга, дядюшкиного приятеля. Этот добряк почувствовал расположение к Фаберу и рекомендовал театру «Одеон» первую пьесу нашего товарища — «Степь». Ламбэр-Леклерк служил секретарем сенатора от департамента Ардеш, и тот обещал выхлопотать ему должность супрефекта. Я же успел написать к тому времени несколько новелл, которые предложил вниманию «Пятерки».

Шалон молча слушал нас. Он сделал ряд тонких и справедливых замечаний о моих первых литературных опытах. Отметил, что сюжет одного из рассказов — как бы вывернутая наизнанку новелла Мериме, а в стиле слишком явно ощущается влияние Барреса, которым я в ту пору увлекался. Он успел побывать на пьесе Фабера и, выказав поразительное понимание драматургических приемов, растолковал автору, как лучше переделать одну из сцен. Вместе с Бельтара он обошел его мастерскую и с удивительной тонкостью и глубиной рассуждал об импрессионистской живописи. Разговорившись с Ламбэр-Леклерком, он дал точный анализ политической ситуации в департаменте Ардеш, тут также обнаружив глубокое знание предмета. Все это снова укрепило наше прежнее убеждение, что из всех членов кружка самый блистательный, несомненно, Шалон. С искренней почтительностью мы попросили его в свою очередь поведать нам о своих успехах.

Получив в наследство восемнадцать лет от роду довольно значительное состояние, он поселился в маленькой квартире со своими любимыми книгами и, по его словам, приступил к работе сразу же над несколькими произведениями.

Первое было задумано как большой роман в духе гетевского «Вильгельма Мейстера» и должно было со-

ставить лишь первый том «Новой человеческой комедии». У Шалона родился также замысел театральной пьесы, в которой он собирался отдать дань одновременно Шекспиру, Мольеру и Мюссе. «Вы понимаете, что я имею в виду: она должна быть полна фантазии и иронии, легкости и глубины». Кроме того, он начал работать над трактатом «Философия духа». «В какой-то мере он будет перекликаться с Бергсоном,— пояснил он,— но я пойду гораздо дальше в области анализа».

Я навестил его, и мне, ютившемуся тогда в меблированных комнатах, квартира его показалась самым очаровательным уголком на свете. Старинная мебель, несколько копий статуэток из Лувра, отличная репродукция Гольбейна, полки с книгами в роскошных переплетах, рисунок Фрагонара — подлинник — все свидетельствовало о том, что хозяин квартиры — истинный художник.

Он угостил меня английской сигаретой удивительно-го цвета и аромата. Я попросил разрешения прочитать начало «Новой человеческой комедии», но Шалон еще не дописал до конца первую страницу. Его пьеса не продвинулась дальше заголовка, а в фундамент «Философии духа» было заложено лишь несколько карточек. Зато мы долго любовались прелестным миниатюрным изданием «Дон Кихота», снабженным восхитительными рисунками, которое он купил у соседнего букиниста, рассматривали автографы Верлена, изучали каталоги торговцев картинами. Я провел у него весь вечер — он был чрезвычайно приятным собеседником.

* * *

Итак, случаю было угодно вновь соединить «Пятерку», и наш кружок сплотился теснее, чем когда бы то ни было.

Шалон, как человек без всяких занятий, обеспечивал связь между членами кружка. Он часто проводил целые дни в мастерской Бельтара. С тех пор как Бельтара написал портрет миссис Джэрвис, супруги американского посла, наш приятель был в большой моде. К нему то и дело наведывались хорошенькие женщины — позировать для портрета и приводили с собой подруг, которым вменялось в обязанность присутствовать на очередном сеансе или оценить уже законченную работу. Мас-

терская была битком набита черноглазыми аргентинками, белокурыми американками, эстетствующими англичанками, сравнивавшими нашего приятеля с Уистлером. Многие из этих женщин приходили сюда ради Шалона, который развлекал их и очень им нравился. Бельтара, быстро оценив привлекательность нашего друга, умело использовал его обаяние. В его мастерской Шалона всегда ждало кресло, справа лежал ящик с сигарами, слева — кулечек с конфетами. Он являлся — и в мастерской все сразу оживлялось, а во время сеансов в его обязанности входило развлекать позирующую даму. Он сделался необходим еще и потому, что обладал редким даром художественной композиции. Никто лучше него не умел найти нужное обрамление и позу для той или иной клиентки. Наделенный поразительным ощущением цветовой гармонии, он не раз указывал художнику какой-либо ускользающий желтый или голубой тон, который необходимо было тотчас закрепить на полотне.

— Ты писал бы блестящие статьи о живописи, старина! — говорил Бельтара, восхищенный столькими его дарованиями.

— Знаю, — невозмутимо отвечал Шалон, — да только я не хочу разбрасываться.

В мастерской Бельтара он свел знакомство с госпожой Тианж, герцогиней Капри, Селией Доусон и миссис Джэрвис и от каждой получил приглашение на обед. Для них он был «литератор», друг Бельтара, — так они и представляли его своим гостям: «Господин Шалон, известный писатель». Он стал своего рода литературным советником модных красавиц. Они водили его с собой в книжные лавки и просили руководить их чтением. Каждой из них он обещал посвятить один из романов, которым предстояло войти в «Новую человеческую комедию».

Многие рассказывали ему о себе. «Прошу вас, поведайте мне историю вашей жизни, — говорил он. — Знание тайных пружин незаурядного женского ума необходимо мне, чтобы совладать с той огромной машиной, которую я задумал». Его приятельницы убедились, что он не болтлив, и очень скоро ему стали поверять все пикантные тайны парижского света. Стоило ему только появиться в каком-нибудь салоне, как к нему тотчас устремлялись самые очаровательные женщины. Привыкнув изливать ему душу, они вскоре нашли, что он заме-

чательный психолог. Стали говорить: «Шалон — самый тонкий и умный из всех мужчин».

— Взяться бы тебе за психологический роман,— сказал я ему однажды.— Никто лучше тебя не сможет описать современную «Доминику».

— Не спорю, конечно, это так,— отвечал он мне с видом человека, обремененного множеством обязанностей и вынужденного отказываться от того, что он сделал бы с удовольствием,— но ведь мне нужно двигать мою махину... Как-никак я должен сосредоточиться на чем-то одном.

Часто Фабер заходил за ним в мастерскую и уводил на репетицию какой-нибудь новой пьесы. Со времени шумного успеха его «Карнавала» Фабер стал видной фигурой в театрах парижских бульваров. Бывают минуты, когда доведенные до изнеможения актеры и постановщик чуть ли не готовы бросить пьесу на произвол судьбы,— тогда-то Фабер прибегал к помощи Шалона, полагаясь на его свежий глаз. Тот блестяще справлялся с этой задачей. Он чувствовал динамику каждой сцены, внутреннюю устремленность каждого акта, безошибочно замечал фальшивую интонацию или чрезмерно затянувшуюся тираду. Поначалу актеров раздражал этот чужак, но очень скоро они привыкли считать его своим. Актеры, испокон веков враждующие с драматургами, полюбили этого человека, который сам ничего еще не создал. Он быстро завоевал известность в театральном мире, сначала как «друг господина Фабера», а затем и под собственным именем. Когда он с улыбкой входил в театр, капельдинеры сразу находили ему место. Вначале некоторые, а потом и все театры стали приглашать его на генеральные репетиции.

— Из тебя получился бы отличный театральный критик,— говорил Фабер.

— Пожалуй,— отвечал Шалон,— но все же каждому свое.

Когда членам «Пятерки» исполнилось по тридцать четыре года, я получил Гонкуровскую премию за свой роман «Голубой медведь», а Ламбэр-Леклерк стал депутатом. К этому времени Фабер и Бельтара были уже хорошо известны. Дружба, соединявшая нас, нисколько не ослабела. Казалось, без всякого труда воплощается в жизнь тот смелый замысел, который так сильно занимал нас в лицее. Наш маленький кружок постепенно

протягивал к разным слоям общества свои мощные и цепкие щупальца. Мы и впрямь представляли собой в Париже известную силу, чье влияние было особенно велико потому, что проявлялось не через официальные каналы.

Конечно, юридическое признание того или иного художественного союза влечет за собой определенные преимущества. Славу, завоеванную одним из его членов, публика невольно приписывает всем остальным. А название кружка, если только оно удачно выбрано, возбуждает любопытство. Так, если образованному человеку в 1835 году было простительно не знать, кто такой Сент-Бёв, то быть неизвестным с «романтиками» считалось позором. Однако неудобства, сопутствующие официальному существованию художественных объединений, пожалуй, еще очевиднее преимуществ. Упадок славы, как раньше ее блеск, захватывает всех членов кружка. Доктрины и манифесты становятся прекрасной мишенью для нападок. Одиночные бойцы менее уязвимы.

У каждого из нас была своя область деятельности, а потому мы не знали ни зависти, ни соперничества. Мы составляли влиятельную группу, спаянную взаимным восхищением. Когда один из нас проникал в какой-нибудь новый салон, он тотчас начинал так живо расхваливать четырех остальных членов кружка, что его тут же одолевали просьбами привести их. Лениность ума до такой степени свойственна большинству людей, что они всегда готовы принять суждение, вынесенное каким-либо авторитетом. Фабера считали крупным драматургом, потому что так отзывался о нем я, я же слыл «глубочайшим из романистов», потому что это без конца повторял Фабер. Когда в мастерской Бельтара мы устроили свой прием — нечто вроде венецианского карнавала XVIII века, — нам без особого труда удалось собрать у себя весь цвет Парижа. Это был прелестный вечер. Хорошенькие женщины сыграли небольшую комедию Фабера в декорациях Бельтара. Разумеется, истинным хозяином дома все наши гости считали Шалона. У него было столько же свободного времени, сколько обаяния. И так получилось само собой, что он стал законодателем нашей светской жизни. Когда нам говорили «Ваш обворожительный друг...», мы знали, что речь идет о Шалоне.

Он по-прежнему ничего не делал — под этим я подразумеваю не только то, что он не добавил ни единой строчки к задуманному роману, как, впрочем, и к пьесе, и к «Философии духа», — нет, Шалон бездельничал в самом прямом смысле слова. Мало того, что он не выпустил в свет ни одной книги, но он за всю свою жизнь не написал ни одной статьи в журнал, ни даже газетной заметки, ни разу не выступил с речью. И вовсе не потому, что ему было трудно добиться издания своих книг, — он был знаком, и притом весьма близко, с лучшими издателями и редакторами журналов. Нельзя также сказать, что это было следствием обдуманного решения навсегда остаться в роли наблюдателя. Слава привлекала Шалона, как и всех. Безделье его было результатом различных и взаимно переплетающихся причин — врожденной лени, неустойчивых интересов, своего рода паралича воли. Настоящий художник всегда болезненно раним, именно эта ранимость и не дает ему погрязнуть в повседневности, заставляет «парить» над ней. Шалон же слишком уютно расположился в жизни, она вполне его устраивала. Его безграничная лень отражала всю полноту его счастья.

К тому же не было писателя, который не называл бы нашего друга «мой дорогой брат» и не посылал бы ему своих книг. По мере того, как другие члены кружка поднимались по ступеням иерархической лестницы светского Парижа, где все строго отмерено, несмотря на кажущееся пренебрежение к условностям, Шалон тоже продвигался вперед, и ему также перепали почести, заработанные тем или другим из нас. Мы всячески заботились о том, чтобы его самолюбие никоим образом не ущемлялось. Так свежее испеченный генерал, слегка смущенный честью, которой, как он опасается, он мог быть обязан случаю, старается оказать протекцию старому приятелю по Сен-Сиру.

Понемногу около нас начали вертеться юноши, искавшие нашей поддержки. К Шалону, державшемуся с нами на равной ноге, они обращались не иначе как «дорогой мэтр», — поколение это славится осмотрительностью. Возможно, что в своем кругу они спрашивали друг друга: «А что он такое написал? Ты читал что-нибудь из его книг?» Случалось, какой-нибудь невежда начинал расточать ему хвалу за «Голубого медведя» или «Короля Калибана».

— Простите,— сухо отвечал несколько задетый Шалон.— Это и в самом деле стоящие вещи, да только не мои.

Впрочем, из нас пятерых он был единственным, охотно соглашавшимся просматривать чужие рукописи и давать советы, бесполезные, как все советы, но неизменно тонкие и мудрые.

Эта даровая слава складывалась постепенно и так естественно, что никого из нас не удивляла. Мы были бы изумлены и обижены, если бы кто-нибудь вдруг забыл пригласить нашего друга на одну из тех официальных церемоний, где собирается «литературный и артистический мир». Но никто никогда не забывал этого делать. Лишь изредка, когда судьба сталкивала нас с каким-нибудь прекрасным, живущим в бедности, одиноким и безвестным художником, отвергнутым публикой и государством, мы на мгновение, случалось, задумывались над парадоксальностью успеха, выпавшего на долю Шалона. «Да,— думали мы,— быть может, это и впрямь несправедливо, да что поделаешь? Так было, так будет. К тому же у того, другого, есть талант, выходит, он все равно в выигрыше».

Однажды утром, придя к Шалону завтракать, я застал у него усердного юношу, сортировавшего какие-то старые журналы. Шалон представил его: «Мой секретарь». Это был очень милый мальчик, только что окончивший Эколь де Шарт.

Позднее Шалон рассказал, что он платит своему секретарю триста франков в месяц и что расход этот несколько стесняет его.

— Да что поделаешь,— добавил он сокрушенно,— нашему брату трудно обходиться без секретаря.

* * *

Война 1914 года, точно ударом сабли, отсекала прежнюю жизнь. Бельтара пошел в драгуны, Фабер стал летчиком на Салоникском фронте, а Ламбэр-Леклерк, заработав почетную рану, вернулся в парламент и вскоре сделался помощником министра. Шалон вначале был солдатом интендантства при каком-то складе, его отозвало оттуда ведомство пропаганды, и он закончил войну на улице Франциска I. Когда мы с Фабером демобилизовались, он оказался нам чрезвычайно полезен:

за время нашего длительного отсутствия мы успели утратить контакт с парижским светом, он же, напротив, близко сошелся со многими влиятельными людьми.

Бельтара получил крест за военные заслуги. Фабер уже давно был представлен к награде. Ламбэр-Леклерк добился от своего коллеги по департаменту искусств, чтобы я был включен в первую партию штатских, награжденных после заключения мира. Четверка угостила меня чудесным обедом с икрой, осетриной и водкой в одном из ресторанов, открытых русскими эмигрантами. Музыканты в шелковых рубахах исполняли цыганские мелодии. Нам показалось — может быть, под влиянием надрывных цыганских песен, — что Шалон в этот вечер был немного грустен.

Домой я возвращался вместе с Фабером, жившим по соседству со мной. Была прекрасная зимняя ночь. Шагая по Елисейским Полям, мы говорили о Шалоне.

— Бедняга Шалон! — заметил я. — Все-таки горько должно быть в его возрасте, оглянувшись назад, увидеть ничем не заполненную пустоту!..

— Ты думаешь, он сознает это? По-моему, он просто великолепен в своей беспечности...

— Не знаю. Скорее всего он воспринимает жизнь в двух планах. Когда все идет хорошо, когда повсюду поют ему хвалу и наперебой зазывают к себе, он и не вспоминает, что не сделал ничего, чтобы заслужить такой почет. Но в глубине души он не может этого не сознавать. Тревога постоянно копошится в нем и прорывается наружу, как только вокруг него стихает восхищенный гул. Взять, к примеру, сегодняшний вечер, когда все вы с такой теплотой говорили о моих книгах, а я отвечал вам, как умел, разве мог он не почувствовать, что самому-то ему нечего сказать о себе?

— Но бывают люди, начисто лишенные честолюбия, а потому не знающие зависти!

— Конечно, бывают, да только вряд ли Шалон из их числа. Человек такого рода должен быть либо предельно скромным, раз и навсегда сказавшим себе: «Все это для меня недостижимо», либо непомерно гордым, провозгласившим: «Мне всего этого не нужно». А нашему Шалону нужно то же, что и всем, да только лень берет в нем верх над честолюбием. Уверяю тебя, положение его мучительное.

Мы долго говорили на эту тему — оба мы довольно охотно высказывали свои мысли на этот счет. На фоне ни с чем не сравнимого творческого бесплодия Шалона мы еще явственнее ощущали собственную плодовитость, и это приятное чувство возбуждало в наших сердцах острую жалость к другу.

Назавтра мы с Фабером отправились в министерство к Ламбэр-Леклерку.

— Мы хотим, — сказал я ему, — поделиться с тобой мыслями, которые возникли у нас вчера после нашей встречи... Не думаешь ли ты, что Шалону неприятно видеть, что мы четверо украшены наградами и только он один остался в стороне? Не имеет значения, говоришь ты? Согласен, но ведь ничто вообще не имеет значения. Награда — это символ. Наконец, если она и впрямь лишена всякого значения, то почему бы Шалону не быть в числе награжденных, подобно всем нам и многим другим?

— Лично я не возражаю, — сказал Ламбэр-Леклерк, — но для этого нужны какие-то заслуги...

— Что? — возмутился помощник министра из глубины дивана, на котором возлежал... — Не мог я сказать такую пошлость!

— Прости, но Фабер может подтвердить. Ты сказал: нужна хотя бы видимость заслуг...

— Так-то лучше, — согласился Ламбэр-Леклерк. — Ведь я не имел никакого отношения к ведомству искусства и не мог творить, что мне заблагорассудится. Помнится, однако, я сказал вам, что, если только Шалон согласен получить награду по моему ведомству, дело нетрудно уладить.

— Все это, конечно, чепуха! — продолжал рассказчик, — но готов признать: ты быстро сдался. Прошло немного времени, и Шалон также получил свой крест. Вручая ему ходатайство, которое он должен был подписать, я был несколько раздосадован тем, что он все это воспринял как нечто вполне закономерное. И я имел неосторожность сказать ему, что нам было нелегко вырвать для него эту награду.

— В самом деле? — спросил он. — А я, наоборот, полагал, что это чрезвычайно просто.

— Да, разумеется, если бы мы могли перечислить твои заслуги...

Но удивление его было так велико, что я поспешил переменить разговор.

* * *

Друзья и почитатели Шалона устроили в его честь небольшой банкет. Ламбэр-Леклерк привел с собой министра национального просвещения, оказавшегося человеком весьма неглупым. Пришли также два члена Французской академии, член Гонкуровской академии, актрисы и просто светские люди. Атмосфера с самого начала была весьма приятная. Человек, если только не мучит его зависть или страх, в общем животное незлобивое. А Шалон никому не мешал и каждому был симпатичен. Уж коль скоро представилась возможность обласкать его, все были рады стараться. В глубине души гости понимали, что герой вечера — это фикция, которую они сами создали. Они были даже признательны ему за то, что своим существованием он всецело обязан их покровительству, и в причудливом взлете его фортуны видели некое подтверждение собственного могущества — ведь только они исторгли эту славу из небытия. Людовик XIV неизменно благоволил к людям, которые были обязаны ему всем, и эта королевская черта всегда присуща избранникам судьбы.

За десертом один из поэтов прочитал прелестные стихи. Министр произнес небольшую речь «в тоне теплой дружеской иронии», как сказали бы братья Гонкуры. Он говорил о скрытом от глаз непосвященных, но глубоком влиянии Шалона на современную французскую литературу, о его таланте собеседника, о Ривароле и Малларме. Все обедавшие поднялись из-за стола и стоя приветствовали героя вечера. Затем Шалон произнес ответную речь, исполненную изящества и скромности. Его выслушали с большим участием и непритворным волнением. Одним словом, бывают же удачные вечера, а этот вечер оказался на редкость приятным.

Я отвез Шалона домой в своем автомобиле.

— Все было очень мило, — сказал я ему.

Лицо его осветилось счастливой улыбкой.

— Да, не правда ли? — отозвался он. — Но самое большое удовольствие доставила мне полная искренность всех гостей.

И он был прав.

Таким образом, карьера Шалона предстала нашим радостным взорам во всем великолепии, ровная и прямая, как королевская дорога. Ни единого пятнышка на ней, ни одного провала — преимущество ничтожества в том и состоит, что оно неуязвимо. В мечтах мы уже видели ленточку Почетного легиона в петлице нашего друга, а потом и галстук, свидетельствующий о принадлежности к высшим чинам этого ордена. Уже в некоторых знакомых домах поговаривали о том, не пора ли избрать Шалона в Академию. Княгиня Т*** как-то даже коснулась этого вопроса в беседе с академиком, от которого зависели выборы «бессмертных». Он ответил: «Да, мы уже и сами подумывали, но сейчас это еще несколько преждевременно». Лицо Шалона постепенно обретало ту прекрасную просветленность, которую дает высшая мудрость или же полнейшая праздность, что, впрочем, быть может, одно и то же.

Как раз в это время к нему вдруг начала проявлять интерес миссис Глэдис Пэкс. Глэдис Ньютон Пэкс была богатой и хорошенькой американкой, которая, как почти все богатые и хорошенькие американки, проводила (да и сейчас проводит) большую часть года во Франции. У нее прекрасная квартира на улице Франциска I и дом на юге Франции. Ее муж, Уильям Ньютон Пэкс, был председателем правления «Юниверсал раббер компани» и нескольких железнодорожных акционерных обществ. Сам он жил в Европе только во время отпуска.

Все мы были давно знакомы с Глэдис Пэкс, которая страстно увлекалась современной литературой, живописью и музыкой. В пору дебюта Бельтара она уделила ему много внимания. Она покупала его картины, заказала ему свой портрет и помогла получить заказ на тот самый портрет миссис Джэrvис, который положил начало его славе художника. Два года подряд она говорила со своими друзьями лишь об одном Бельтара, давала обеды в честь Бельтара, устраивала выставки Бельтара и, наконец, пригласила его провести зиму в ее доме в Напуле, чтобы он мог там спокойно поработать.

Вскоре к Бельтара пришел успех, а успех начисто убивал интерес миссис Пэкс к своему протеже. Глэдис отличалась замечательным умом, но в своей любви к искусству напоминала некоторых биржевых спекулян-

тов — тех самых, что пренебрегают ценными бумагами и упорно интересуются лишь акциями, еще не известными широкой публике, но перспективными, как показывают добытые ими секретные и точные сведения. Ей нравились писатели, которых никто не издает, неизвестные драматурги, чьи пьесы в лучшем случае раза три показал какой-нибудь авангардистский театр, музыканты типа Эрика Сати (до того, как у него появились последователи) или же эрудиты, посвятившие себя какой-нибудь редкой области знания, вроде индийских религиозных книг или китайской живописи.

Впрочем, среди людей, которым она покровительствовала, не было еще ни единой бездарности, не было даже посредственности. Глэдис предприимчива и наделена вкусом. Но страх впасть в банальность, вульгарность способен отвратить ее от самого лучшего, что есть на свете. Я не могу представить себе Глэдис Пэкс зачитывающейся Толстым или Бальзаком. Она одевается отлично, у лучшей портнихи, но тотчас бросает платье, даже самое изящное и любимое, как только узнает, что у него появился двойник. Точно так же она обращается со своими писателями и художниками: как только ее подруги начинают их признавать, она «уступает» их другим.

Кажется, я сам виноват в том, что она взяла на прицел Шалона. Однажды на обеде у Элен де Тианж меня посадили рядом с Глэдис. Случилось так, сам не знаю почему, что мы заговорили о Шалоне, и, помнится, я сказал:

— Нет, он никогда ничего не издавал, но у него большие замыслы и некоторые работы уже начаты...

— Вы видели их?

— Да, но я ничего не могу о них рассказать. Это чрезвычайно беглые наброски.

Я говорил без всякого умысла, но этого было достаточно, чтобы возбудить любопытство женщины типа Глэдис Пэкс. Сразу же после обеда она захватила Шалона в плен и, к великой досаде Элен, любившей, чтобы на ее приемах гости свободно переходили от одной группы беседующих к другой, весь вечер не отпускала его от себя. Я наблюдал за ними издали. «Мне следовало бы предвидеть это... — говорил я себе. — Ну, конечно же, Шалон для Глэдис Пэкс — прямо находка. Она ищет что-то свежее, никому не известное. Но никто не может

похвастаться более узким читательским кругом, чем Шалон, у которого вообще нет читателей. И где найти что-либо более недоступное публике, чем его произведения, которые даже не написаны? Физик, добивающийся все большего разрежения воздуха в баллоне, стремится к абсолютному вакууму. Так и Глэдис Пэкс — в поисках таланта, почти ни в чем себя не проявившего, неизбежно должна была столкнуться с пустотой. В лице Шалона она обрела ее. Это подлинный венец карьеры для обоих. Видимо, я одним махом осчастливил двоих».

В самом деле, следующий день ознаменовал начало эры Шалона в жизни Глэдис Пэкс. Было условлено, что он обедает у нее три раза в неделю, что она придет к нему взглянуть на рукописи, а зимой увезет его в Напуль, «чтобы он мог спокойно поработать». Несколько дней меня мучил страх при мысли о первом знакомстве Глэдис Пэкс с рукописями Шалона. Я опасался, что даже она сочтет его заметки слишком незначительными. Но, как оказалось, я проявил излишнюю трусость и ошибся в своих предположениях. Я встретил Глэдис на другой день после ее визита к Шалону — она была в восторге.

— There is more in this...¹ — сказала она мне. — В заметках и замыслах вашего друга — больше оригинальных мыслей, чем в пространных сочинениях Генри Джеймса...

Все шло отлично.

Эта духовная идиллия продолжалась около двух месяцев. За это время Глэдис Пэкс успела оповестить весь Париж о том, что она решила заняться изданием произведений непризнанного гения, иначе говоря — нашего Шалона. Она уже нашла издателя и теперь была занята поисками переводчика, который перевел бы книгу Шалона на английский язык. Она представила Шалона всем знаменитым иностранцам, проезжавшим через Париж, — Джорджу Муру и Пиранделло, Гофмансталю и Синклеру Льюису. Затем, исчерпав все возможные способы действия, она потребовала, чтобы Шалон дал ей какой-нибудь текст.

Она удовлетворилась бы самой малостью, коротким эссе, небольшими заметками, даже несколькими страницами рукописи, однако Шалон, который, по своему обык-

¹ В этом заключено нечто большее... (англ.)

новению, и не думал приниматься за работу, ничем не мог ее порадовать. Он объявил ей это с безмятежностью, которая в ту пору ничем еще не была омрачена. Но Глэдис Пэкс не могла оставить гения «нераскрытым». Раз десять в жизни она уже брала под свое крылышко этих безвестных бедняг, робких людишек, которые непонятно почему наделены таинственным даром писать книги, создавать картины или сочинять музыку, и за какие-нибудь несколько месяцев превращала каждого в знаменитость, знакомства с которой все искали и перед которой благоговели. Эти метаморфозы доставляли ей живейшее наслаждение. Она твердо и с полным основанием верила в свое умение отыскивать таких людей и создавать им известность. Уж коль скоро она взяла на себя роль наставницы Шалона, он обязан был приняться за работу, хотел он того или нет.

Не знаю, как она добилась этого — скорее всего лестью, а может быть, заманчивыми обещаниями (в кокетстве я ее не подозреваю — я всегда знал, что Глэдис совершенно холодна и преисполнена добродетели), но однажды утром ко мне в сильном смущении явился Шалон.

— Я пришел спросить у тебя совета, — сказал он мне. — Глэдис Пэкс предлагает предоставить мне на зиму свой дом в Напуле, чтобы я мог там спокойно поработать. Сказать по правде, мне не очень-то хочется расставаться с Парижем... К тому же я не ощущаю сейчас прилива творческих сил... Но я знаю, что мое согласие доставит ей большую радость. Она сильно увлечена моим романом... Да и сама мысль о том, что, быть может, за несколько месяцев уединения я завершу свой труд, довольно заманчива...

«Завершить свой труд» — выражение это показалось мне забавным эвфемизмом, ведь, насколько мне было известно, Шалон даже не начинал работать над романом. Но, поскольку он говорил с невозмутимой серьезностью, я не стал придираться к слову.

— Что ж, — отвечал я ему, — я в восторге от этой идеи. Миссис Пэкс тысячу раз права. Ты, бесспорно, обладаешь большим талантом, каждый день ты в самых обычных беседах с людьми расточаешь целые главы блестящей книги. Если женская забота и восхищение, а также спокойная обстановка помогут тебе наконец высказать мысли, которые, как мы хорошо знаем, просятся

на бумагу,— все мы будем очень рады... Соглашайся, старина, ты доставишь мне этим большое удовольствие... Ты всем нам доставишь большое удовольствие...

Он поблагодарил меня и спустя несколько дней зашел проститься. За всю зиму мы получили от него лишь несколько открыток. В феврале я отправился в Напуль проведать его.

* * *

Дом Пэксов чрезвычайно красив, они реставрировали небольшой замок, возвышающийся над заливом и выстроенный в ярко выраженном провансальском стиле. Контраст между суровостью окрестного пейзажа и чуть ли не сказочным уютом, царящим в доме, производит впечатление волшебства. Сады спускаются вниз террасами; чтобы создать эти террасы на скалистом склоне, понадобилось доставить сюда горы бетона. За огромные деньги Пэкс вывезли из Италии кипарисы, живописной стеной обрамлявшие назойливо декоративный пейзаж. Когда я вошел в дом, дворецкий объявил мне, что господин Шалон занят. Ждать пришлось довольно долго.

— Ах, дорогой мой,— сказал Шалон, когда наконец соблаговолил выйти ко мне,— право, я не знал, что такое труд. Пишу, и ощущение радости, щедрости чувств не покидает меня. Мысли одолевают, оглушают. Перо не успевает запечатлевать образы, воспоминания, размышления, которые рвутся наружу. Скажи, знакомо это тебе?

Я смиренно признался, что лишь редко испытывал подобный пароксизм изобилия. Однако, сказал я, вполне естественно, что в этом он счастливее меня и что долгое молчание, видно, позволило ему накопить такой материал, который и не снился никому из нас.

Я провел весь вечер вдвоем с ним (миссис Пэкс еще не перебралась сюда из Парижа) и нашел в нем любопытные перемены. До сих пор один из основных секретов его обаяния таился в на редкость занимательной беседе. Мне самому, располагавшему лишь скудным досугом для чтения, было очень приятно иметь в лице Шалона человека, который читал решительно все. Ему я был обязан открытием наиболее интересных молодых писателей. Поскольку он выезжал каждый вечер то в театр, то на какой-нибудь светский прием, никто в Пари-

же не знал больше него всевозможных историй, интимных драм, забавных анекдотов. А главное — Шалон был одним из тех редких друзей, с которым всегда можно поговорить о себе, о своей работе, чувствуя при этом, что твой рассказ действительно интересуется его и что твой собеседник в это время не думает о чем-то своем. А это чрезвычайно приятно.

Однако человек, которого я увидел в Напуле, был совсем не похож на того, прежнего Шалона. Вот уже два месяца как он не раскрывал ни одной книги, ни с кем не виделся. Он говорил только о своем романе. Я начал рассказывать ему о наших общих друзьях. Несколько минут он слушал меня, затем, вынув из кармана маленькую записную книжку, принялся записывать.

— Что ты делаешь? — спросил я.

— О, пустяки, просто мне пришла в голову одна мыслишка, которая пригодится для моего романа, и я боюсь упустить ее...

Минуту спустя, когда я повторил ему остроумное словцо одного из заказчиков Бельтара, записная книжка снова оказалась тут как тут...

— Опять! Это уже похоже на манию!

— Дорогой мой, пойми: я вывел в своей книге персонаж, который кое-чем напоминает нашего Бельтара. То, что ты сейчас рассказал, может мне пригодиться.

Он весь был во власти того чудовищного всепоглощающего усердия, которое свойственно начинающим, исполнен рвения неопита. Я привез с собой несколько глав моей новой книги и собирался прочитать их Шалону, стремясь, как всегда, узнать его мнение. Но добиться, чтобы он выслушал меня, оказалось невозможным. Я пришел к заключению, что он стал невыносимо скучен. Но окончательно он вывел меня из терпения, когда начал с пренебрежением отзываться о писателях, перед которыми мы всегда преклонялись.

— Вот как, ты восхищаешься естественностью Стендаля? — спросил он. — И это тебя потрясает? Но в сущности ни «Пармская обитель», ни «Красное и черное» не поднимаются над уровнем газетных «романов с продолжением». Мне думается, можно писать несравненно лучше...

Я был почти рад, когда пришло наконец время прощаться.

Вернувшись в Париж, я сразу по достоинству оценил, каким замечательным «импресарио» была Глэдис Пэкс. В столице уже много толковали о книге Шалона, и именно так, как надо. Здесь не было и следов той грубой и шумной рекламы, которая отталкивает утонченную публику. Глэдис, по-видимому, владела секретом создания романтической известности и умела окружить имя своего избранника неярким, таинственным ореолом. Поль Моран как-то сказал о ней, что она открыла «герметизм».

Со всех сторон меня засыпали вопросами: «Вы вернулись с Юга? Видели Шалона? Говорят, книга его замечательна?»

Глэдис Пэкс провела весь март в Напуле и вскоре сообщила нам, что роман почти завершен, но Шалон ничего ей не показывал. Он заявил, что его детище представляет собой единое целое и знакомить кого бы то ни было с отрывками означало бы безжалостно разрывать ткань произведения.

Наконец, в начале апреля она известила нас, что Шалон возвращается в Париж и что по его просьбе она в одну из ближайших суббот пригласит нас к себе — послушать чтение романа.

О, это чтение! Мы, наверно, никогда не сможем его забыть. Гостиную на улице Франциска I убрали точно для театрального спектакля. Свет был почти всюду потушен, горела лишь огромная венецианская лампа; ее молочно-белое сияние мягко освещало фигуру читавшего, рукопись и красивую ветку шиповника, стоявшую позади Шалона в вазе китайского фарфора. Телефон был выключен. Слуги получили приказ ни под каким предлогом не тревожить нас. Шалон нервничал, держался с наигранной веселостью и излишним фатовством, а торжествующая миссис Пэкс вся сияла от радости. Она усадила его в кресло, поставила перед ним стакан воды, поправила абажур. Он надел толстые роговые очки, откашлялся и наконец начал читать.

После первых же десяти фраз мы с Фабером переглянулись. Есть такие виды искусства, где легко ошибиться в оценке, где новизна видения, оригинальность манеры ошеломляют зрителя настолько, что суждение его часто бывает несправедливым, но писатель — тот виден с первых же слов. И тут нам сразу открылось самое худшее:

Шалон не умел писать, совсем-совсем не умел. Когда начинающий молод, наивность и непосредственность его книги могут показаться привлекательными. Шалон же писал плоско и глупо. От этого тонкого, столь искушенного человека мы скорее ожидали чрезмерной усложненности. Но столкнулись мы с совершенно иным — с романом, который могла бы написать мидинетка, — так назойливо выпирала в нем дидактика, унылая и примитивная. Когда Шалон подошел к третьей главе, нам — вслед за ничтожностью формы — открылась также ничтожность сюжета. Мы смотрели друг на друга с отчаянием. Бельтара еле заметно пожал плечами. Его взгляд говорил мне: «Ну кто бы подумал?» А Фабер качал головой и словно бормотал: «Возможно ли это?» Я же следил за Глэдис Пэкс. Понимала ли она, подобно нам, чего стоила книга Шалона? Сначала она слушала его с радостным удовлетворением, но вскоре стала беспокойно ерзать на стуле и время от времени вопросительно поглядывала на меня. «Какой провал! — подумал я. — Что же сказать ей?»

Читка длилась более двух часов, и за это время никто из присутствовавших не разомкнул рта. До чего же патетичны плохие книги, как беспощадно обнажено в них сердце писателя. Самые лучшие намерения проявляются с поистине детской беспомощностью, в них неудержимо раскрывается наивная душа автора. Слушая Шалона, я с изумлением обнаружил, что в душе его гнезился целый мир разочарований и грусти, мир подавленных чувств. Я подумал, забавно было бы написать книгу о человеке, сочинившем плохой роман, и дать полный текст этого романа, что позволило бы взглянуть на героя с неожиданной и совсем новой стороны. Шалон читал, и его чувствительность, выраженная в такой уродливо-нелепой форме, напоминала трогательную и смешную любовь чудовища.

Когда он кончил, некоторое время все хранили молчание. Мы надеялись, что нас выручит Глэдис Пэкс. В конце концов ведь она была хозяйкой дома и устроительницей этого вечера. Но лицо ее дышало мрачной враждебностью. Бельтара, как истинный сын юга, наделенный замечательным хладнокровием, понял, что надо спасать положение, и тут же экспромтом произнес подходящую к случаю тираду. Объяснив наше молчание волнением, он выразил благодарность миссис Пэкс, без

которой, сказал он, никогда не была бы написана эта прекрасная книга. Обернувшись ко мне, он заключил: «Сиврак, я полагаю, сочтет за честь отнести ее своему издателю».

— О,— сказал я,— моему или другому, все равно... Кажется, миссис Пэкс...

— Нет, зачем же другому? — живо возразил Шалон.— Твой издатель мне нравится, он знает свое дело. Если ты согласен взять на себя этот труд, я буду тебе очень признателен.

— Ну, разумеется, дорогой мой, нет ничего легче. Молчание миссис Пэкс становилось неприличным. Она позвонила слугам, велела принести оранжад и печенье. Шалон начал прощупывать гостей,— для полноты счастья ему нужны были конкретные высказывания.

— Что вы думаете об образе Алисы?

— Очень хорош! — сказал Бельтара.

— Не правда ли, мне удалась сцена примирения?

— Это лучший эпизод книги,— сказал Бельтара.

— О нет! — возразил Шалон.— Совсем нет. Самый лучший — это момент встречи Джорджаны с Сильвио.

— Ты прав,— согласился Бельтара,— эта сцена еще сильнее.

Миссис Пэкс отвела меня в сторону.

— Прошу вас,— сказала она,— будьте со мной откровенны. Ведь это жалкий, смешной лепет, не правда ли? Совсем-совсем безнадежный?

Я утвердительно кивнул головой.

— Как же это могло случиться? — продолжала она.— Если бы только я могла подумать... Но он казался таким умницей...

— Он и есть умница, дорогая миссис Пэкс. Талант писателя и светское остроумие — разные вещи. Но ошибиться тут немудрено.

— Но, но, it's unforgivable!..¹ А главное, нельзя допустить, чтобы книга вышла в свет. После всего, что я о ней говорила... Надо сказать ему, что это чушь, не правда ли, что это просто срам?

— Погодите, умоляю вас. Вы не представляете себе, какую рану вы ему нанесете. Завтра, встретясь с ним с глазу на глаз, я постараюсь объяснить ему все. Но сегодня пощадите его. Уверяю вас, иначе нельзя.

¹ Нет, нет, это непростительно!.. (англ.)

Назавтра, как только я попытался подвергнуть критике какую-то деталь его книги, Шалон встретил мое деликатное и робкое замечание с таким негодующим высокомерием, я почувствовал в нем такую болезненную настороженность, что мужество тут же покинуло меня. Долгий опыт убедил меня в полной бесплодности подобных попыток. К чему лишний раз представлять известную сцену из «Мизантропа» (акт I, явление 2)? Я знал, что в ответ услышу неизменное в таких случаях: «А я утверждаю, что стихи мои очень хороши», и у меня не останется жестокости дать на это правдивый ответ, разумнее было сразу же отступить. Уходя, я взял рукопись и тут же отнес своему издателю, которому я ее вручил, сказав лишь, что это книга Шалона.

— В самом деле? — переспросил он. — Это книга Шалона? Я просто в восторге, что получу ее. Я уже столько слышал о ней. Очень признателен вам, дорогой друг, что вы вспомнили обо мне. Как вы думаете, может быть, сразу предложить ему контракт на десять лет вперед?

Я посоветовал немного с этим повременить. У меня еще теплилась слабая надежда, что он прочитает книгу и откажется ее издавать. Но вы ведь все знаете, как делаются такие дела. Наши имена — мое и Шалона — служили издателю поручительством, и он отправил рукопись в набор, даже не просмотрев ее. Эта весть утешила Шалона, огорченного поведением своей покровительницы.

Миссис Пэкс три дня дожидалась результата моих усилий. Когда же она узнала, чем кончилось дело, то, как честная и неподкупная протестантка, сурово отчитала меня за малодушие, Шалону же написала сухое письмо, которое он на следующий день с удивлением и негодованием показал нам. Он долго искал причину, которая могла бы послужить объяснением столь вопиющей несправедливости со стороны Глэдис. В конце концов он остановился на одной версии, совершенно абсурдной, но избавлявшей его от унижения. Он вообразил, будто Глэдис Пэкс узнала себя в чуть-чуть смешной англичанке, выведенной в его книге. После этого он вновь обрел прежнюю безмятежную ясность и больше о Глэдис не вспоминал.

* * *

Спустя три месяца книга вышла в свет.

Первые отклики прессы были довольно доброжелательны. К Шалону все были слишком расположены, и

никто не хотел огорчать его без надобности. Критики из числа его друзей сдержанно хвалили книгу, остальные отмалчивались.

Зато с потрясающей быстротой распространилась молва. Несколько дней подряд каждый, кого я встречал, бросался ко мне со словами: «Ну, что вы скажете о Шалоне? Виданное ли дело? Это же вовсе непростительно!» Через месяц весь Париж, не читая книги, уже знал, что ее и не стоит читать. В витринах книжных магазинов поблекли красивые обложки романа: сначала они из желтых сделались бледно-лимонного цвета, затем стали чернеть. К концу года почти весь тираж вернулся к издателю. Он безвозвратно потерял затраченные средства, а Шалон между тем уверял, будто его ограбили.

Провал книги немало озлобил его. Отныне он начал делить человечество на две категории людей: «те, кто хорошо отнесся к моей книге», и «те, кто плохо отнесся к ней». Это чрезвычайно осложняло наши связи с обществом. Когда мы устраивали обед, Шалон говорил:

— Нет, этого не зовите! Терпеть его не могу!

— Почему? — удивлялся Фабер. — Он умен и совсем неплохой малый.

— Он неплохой малый? — возмущался Шалон. — Да он ни слова не написал мне о моей книге!

Этот человек, прежде такой скромный и обаятельный, теперь страдал невыносимым тщеславием. Он неизменно носил в кармане хвалебную рецензию, опубликования которой я добился с огромным трудом, и читал ее всем и каждому.

Когда какой-нибудь критик перечислял наиболее талантливых романистов нашего поколения, Шалон негодовал, не обнаружив в этом списке своего имени. «Биду — подлец!» — говорил он. Или: «От Жалу я этого не ждал!..» В конце концов, подобно тем безумцам, которые сначала уверяют, будто их преследуют соседи, а затем начинают считать своими врагами собственную жену и детей, он вдруг решил, что и «Пятерка» недостаточно хорошо отнеслась к его книге, и постепенно отдался от нас.

Быть может, в какой-нибудь другой, менее искушенной среде он все еще находил то беспричинное и слепое уважение, которое мы так долго выказывали ему. Три раза подряд он не являлся на наши встречи. Бельтара написал ему, но ответа не получил. Тогда было реше-

но, что я отправлюсь к нему как посланец всей «Четверки».

— Ведь в конце-то концов,— говорили мы,— бедняга не виноват, что лишен таланта!

Я застал его дома, он принял меня, но в обращении его сквозила холодность.

— Нет, нет,— отвечал он мне.— Все дело в том, что люди подлы, и вы ничем не лучше других. Пока я был у вас на ролях советчика, восторженного поклонника ваших талантов, вы оставались моими друзьями. Но как только я вздумал сам заняться творчеством, как только ты, да, именно ты, почувствовал во мне возможного соперника, ты сделал все, чтобы замолчать мою книгу.

— Я? — воскликнул я.— Да если бы ты знал, сколько я предпринял усилий в твоих интересах...

— Знаю... Видел, как это делается: начинают за здоровье, а выходит за упокой!..

— Боже мой, Шалон, ты чудовищно несправедлив! Да вспомни тот день, когда ты пришел ко мне сказать, что уезжаешь в Напуль, где сможешь наконец спокойно поработать. Ты колебался, говорил, что не чувствуешь подъема творческих сил,— если бы я не поддержал тебя тогда, ты бы остался. Но я ободрил тебя, похвалил твое решение!..

— Вот именно,— сказал Шалон.— Этого-то я никогда вам не прощу — ни Глэдис Пэкс, ни тебе.

Он поднялся, подошел к двери и распахнул ее, давая понять, что разговор окончен. Уходя, я успел расслышать следующие знаменательные слова:

— Вы загубили мою карьеру.

* * *

— Но всего любопытнее,— заметил Бельтара,— что Шалон был совершенно прав.

РОЖДЕНИЕ ЗНАМЕНИТОСТИ

Художник Пьер Душ заканчивал натюрморт — цветы в аптечной склянке и баклажаны на блюде,— когда в мастерскую вошел писатель Поль-Эмиль Глез. Не-

сколько минут Глез смотрел, как работает его друг, затем решительно произнес:

— Нет!

Оторвавшись от баклажанов, художник удивленно поднял голову.

— Нет,— повторил Глез.— Нет! Так ты никогда не добьешься успеха. Мастерство у тебя есть, и талант, и искренность. Но искусство твое слишком обыденно, старина. Оно не кричит, не лезет в глаза. В Салоне, где выставлено пять тысяч холстов, твои картины не привлекают равнодушного посетителя... Нет, Пьер Душ, успеха тебе не добиться. А жаль.

— Но почему? — вздохнул честный малый.— Я пишу то, что вижу. Стараюсь выразить то, что чувствую.

— Разве в этом дело, мой бедный друг? Тебе же надо кормить жену и троих детей. Каждому из них требуется по три тысячи калорий в день. А картин куда больше, чем покупателей, и глупцов гораздо больше, чем знатоков. Скажи мне, Пьер Душ, каким способом ты полагаешь выбиться из толпы безвестных неудачников?

— Трудом,— отвечал Пьер Душ,— правдивостью моего искусства.

— Все это несерьезно. Есть только одно средство вывести из спячки тупиц: решиться на какую-нибудь дикую выходку! Объяви всем, что ты отправляешься писать картины на Северный полюс. Или нацепи на себя костюм египетского фараона. А еще лучше — создай какую-нибудь новую школу! Смешай в одну кучу всякие ученые слова, ну, скажем,— экстериоризация, динамизм, подсознание, беспредметность — и составь манифест! Отрицай движение или, наоборот, покой, белое или черное, круг или квадрат — это безразлично! Придумай какую-нибудь «неогомерическую» живопись, признающую только красные и желтые тона, «цилиндрическую» или «октаэдрическую», «четырёхмерную», какую угодно!..

В эту самую минуту нежный аромат духов возвестил о появлении пани Косневской. Это была обольстительная полька, чьи синие глаза волновали сердце Пьера Душа. Она выписывала дорогие журналы, публиковавшие роскошные репродукции шедевров, выполненных трехгодовалыми младенцами. Ни разу не встретив в этих журналах фамилии честного Душа, она стала презирать его искусство. Устроившись на тахте, она мель-

ком взглянула на стоявшее перед ней начатое полотно и с досадой потрянула золотистыми кудрями.

— Вчера я была на выставке негритянского искусства Золотого века! — сообщила она своим певучим голосом, раскатывая звонкое «р». — Сколько экспрессии в нем! Какой полет! Какая сила!

Пьер Душ показал ей свою новую работу — портрет, который он считал удачным.

— Очень мило, — сказала она нехотя. И ушла... благоухающая, звонкая, певучая и разочарованная.

— Пойду служить в страховую кассу, в банк, в полицию, куда угодно! — заявил он. — Быть художником — последнее дело! Одни лишь пройдохи умеют завоевать признание зевак! А критики, вместо того чтобы поддержать настоящих мастеров, потворствуют невеждам! С меня хватит, я сдаюсь.

Выслушав эту тираду, Поль-Эмиль закурил и о чем-то задумался.

— Сумеешь ли ты, — спросил он наконец, — со всей необходимой торжественностью объявить Косневской и еще кое-кому, что последние десять лет ты неустанно разрабатывал новую творческую манеру?

— Я разрабатывал.

— Выслушай меня... Я сочиню две-три хитроумные статьи, в которых сообщу нашей «элите», будто ты намерен основать «идеоаналитическую» школу живописи. До тебя портретисты, по своему невежеству, упорно изучали человеческое лицо. Чепуха все это! Истинную сущность человека составляют те образы и представления, которые он пробуждает в нас. Вот тебе портрет полковника: голубой с золотом фон, на нем — пять огромных галунов, в одном углу картины — конь, в другом — кресты. Портрет промышленника — это фабричная труба и сжатый кулак на столе. Понимаешь теперь, Пьер Душ, что ты подарил миру? Возьмешься ли ты написать за месяц двадцать «идеоаналитических» портретов?

Художник грустно улыбнулся.

— За один час, — ответил он. — Печально лишь то, Глез, что, будь на моем месте кто-нибудь другой, затея, возможно, удалась бы, а так...

— Что ж, попробуем!

— Не мастер я болтать!

— Вот что, старина, всякий раз, как тебя попросят что-либо объяснить, ты, не торопясь, молча зажги свою

трубку, выпусти облако дыма в лицо любопытному и произнеси эти вот простые слова: «А видели вы когда-нибудь, как течет река?»

— А что это должно означать?

— Ровным счетом ничего, — сказал Глез. — Именно поэтому твой ответ покажется всем необычайно значительным. А уж после того, как они сами все изучат, истолкуют и превознесут тебя на все лады, мы расскажем им про нашу проделку и позабавимся их смущением.

Прошло два месяца. Выставка картин Душа вылилась в настоящий триумф. Обворожительная, благоухающая, певуче раскатывающая звонкое «р», пани Косневская не отходила от своего нового кумира.

— Ах, — повторяла она, — сколько экспрессии в ваших работах! Какой полет! Какая сила! Но скажите, дорогой друг, как вы пришли к этим поразительным обобщениям?

Художник помолчал, не торопясь закурил трубку, выдохнул густое облако дыма и произнес:

— А видели вы когда-нибудь, мадам, как течет река?

Губы прекрасной польки затрепетали, суля ему певучее раскатистое счастье.

Группа посетителей обступила молодого блистательного Струнского в пальто с кроличьим воротником.

— Потрясающе! — возбужденно говорил он. — Потрясающе! Но скажите мне, Душ, откуда на вас снизошло откровение? Не из моих ли статей?

Пьер Душ на этот раз особенно долго молчал, затем, выпустив в лицо Струнскому громадное облако дыма, величественно произнес:

— А видели вы, дорогой мой, как течет река?

— Великолепно сказано! Великолепно!

В эту самую минуту известный торговец картинами, завершив осмотр мастерской, ухватил художника за рукав и оттащил в угол.

— Душ, приятель, а ведь вы ловкач! — сказал он. — На этом можно сделать карьеру. Беру вашу продукцию. Только не вздумайте менять свою манеру, пока я вам не скажу, и я обещаю покупать у вас пятьдесят картин в год... По рукам?

Не отвечая, Душ с загадочным видом продолжал курить. Постепенно мастерская пустела. Наконец, Поль-Эмиль Глез закрыл дверь за последним посетителем.

С лестницы доносился, понемногу отдаваясь, восхищенный гул. Оставшись наедине с художником, писатель с веселым видом засунул руки в карманы.

— Ну как, старина, — проговорил он, — ловко мы их провели? Слышал, что говорил этот молокосос с кроличьим воротником? А прекрасная полька? А три смазливые барышни, которые только и повторяли: «Как это ново! Как свежо!» Ах, Пьер Душ, я знал, что глупости человеческой нет предела, но то, что я видел сегодня, превзошло все мои ожидания.

Его охватил приступ неукротимого смеха. Художник нахмурил брови и, видя, что его друг корчится от хохота, неожиданно выпалил:

— Болван!

— Я болван? — разозлившись, крикнул писатель. — Да сегодня мне удалась самая замечательная проделка со времен Биксиу!

Художник самодовольно оглядел все двадцать идео-аналитических портретов.

— Да, Глез, ты и правда болван, — с искренней убежденностью произнес он. — В этой манере что-то есть...

Писатель оторопело уставился на своего друга.

— Вот так номер! — завопил он. — Душ, вспомни! Кто подсказал тебе эту новую манеру?

Пьер Душ помолчал немного, затем, выпустив из своей трубки густое облако дыма, сказал:

— А видел ли ты когда-нибудь, как течет река?

ПО ВИНЕ БАЛЬЗАКА

Жизнь подражает искусству гораздо больше, чем искусство — жизни.

Оскар Уайльд

Весь вечер курили, судили о людях и произведениях — не слишком доброжелательно, скорее поверхностно, когда к полуночи беседа разгорелась — так огонь, уже почти потухший, внезапно будит спящего, озарив ярким светом комнату. Вспомнили о нашей приятельнице, производившей впечатление легкомысленной особы, которая всех поразила, уйдя в монастырь кармелиток, и раз-

говор зашел о непостоянстве характеров, о том, что даже умному, наблюдательному человеку трудно предвидеть самые простые поступки своих близких.

— Я вот о чем думаю,— сказал я,— как вообще можно что-либо предвидеть, если в каждом из нас заложены противоречивые возможности. Случайное происшествие пробудило одни чувства прежде других, и вот вы уже обмерены, классифицированы и до конца дней не избавитесь от героического или позорного облика, который придало вам общество. Но ярлык редко соответствует сущности. И праведников порой посещают нечестивые мысли, но они их гонят: избранный ими образ жизни таких помыслов не допускает. Но представьте, что волею обстоятельств эти люди перенесены в другую обстановку,— их реакция на те же образы будет совершенно иной. Верно и обратное: прекрасные намерения мелькают, подобно отблескам света, в душах последних негодяев. Значит, любое суждение о личности абсолютно произвольно. Принято говорить: «А.— распутник, Б.— мудрец»,— так удобнее. Но для мало-мальски добросовестного психолога характер — величина переменная.

Тут запротестовал Кристиан. «Да,— сказал он,— то, что вы называете «личностью», в действительности всего лишь хаос ощущений, воспоминаний, стремлений, который не в силах упорядочить себя. Но вы забываете, что он может быть упорядочен извне. Идея соберет разрозненные элементы, как магнит распределяет металлические опилки по силовым линиям. Большая любовь, вера в Бога — могущественнейший предрассудок — придают сознанию скрытую основу, недостававшую ему, и позволяют достичь то состояние равновесия, которое, в сущности, и есть счастье. Точка опоры души всегда должна быть вне ее, поскольку... Да вы перечтите «О подражании Христу»: «Когда Ты предаешь меня самому себе, то что я? Одно бессилие и тлен, но, возлюбя и взыскуя Тебя, я обрел Тебя и в Тебе себя самого».

В этот момент Рено захлопнул книгу, которую листал, поднялся, как и всегда, когда собирался говорить, и подошел к печи, обогревавшей мастерскую нашего хозяина.

— Вера? — произнес он, раскуривая трубку.— Да, конечно, вера, страсть могут преобразить душу... Но тех, кому, как и мне, не выпало счастья верить, тех, кто уже не может любить, удерживает в равновесии иная сила —

вымысел. Да, именно вымысел. Ведь главное, не правда ли, чтобы человек, создав свой образ, стремился всегда быть верным ему. Так вот, литература, театр, как ни странно, помогают мне вылепить эту маску, необходимую для спасения души — в мирском смысле, разумеется. Когда я чувствую себя потерянным, когда впустую ищу себя в этом хаосе противоречивых страстей, о котором сейчас говорил Кристиан, когда я кажусь себе посредственностью, когда я сам себе не нравлюсь (что бывает довольно часто), я вновь перечитываю любимые книги и стремлюсь вспомнить свои давнишние чувства. Позируя самому себе, я вновь вижу тот идеальный автопортрет, который когда-то нарисовал. Я узнаю избранную мной маску. Я спасен. Князь Андрей Толстого, Фабрицио Стендаля, Гёте «Поэзии и правды» — вот кто «упорядочивает мой хаос». И я не думаю, чтобы мой случай был таким уж редким... Разве Руссо в свое время не научил по-новому чувствовать несколько миллионов французов? Д'Аннунцио — современных итальянцев? Уайльд — англичан начала века? А Шатобриан? Рёскин? Баррес?

— Погоди, — прервал его кто-то, — может, они не пробуждали новые чувства, а просто описывали те, что уже существовали?

— Просто описывали? Ни в коей мере, дружище. Великий писатель рисует характеры, которых жаждет век, а не те, что он порождает. Учтивый галантный рыцарь эпических песен, придуманный в суровое, грубое время, преобразил читателей по своему подобию. Голливудский герой-бессребреник создан нацией дельцов. Искусство предлагает образцы, люди воплощают их и тем самым делают их ненужными в качестве художественных произведений. Когда Францию заплотнили Манфреды и Рене, она пресытилась романтизмом. Пруст создаст нам поколение психологов, которые возненавидят психологические романы, а будут любить только безыскусные рассказы.

— Прекрасный сюжет для Гофмана или Пиранделло, — произнес Рамон. — Герои романа оживают и проклинаяют своего создателя.

— Все именно так и происходит, дорогой Рамон, вплоть до мельчайших подробностей. Поступкам ваших персонажей суждено однажды воплотиться в действительности. Помните фразу Жида: «Сколько людей, не

подозревавших, что они Вертеры, ждали только выстрела гетевского героя, чтобы покончить с собой»? Я знавал человека, всю жизнь которого перевернул поступок одного персонажа Бальзака.

— А вы слышали,— спросил Рамон,— что в Венеции компания французов решила целый сезон называть себя именами героев Бальзака, подражать им? Тогда в кафе «Флориан» можно было встретить Растиньяка, Горио, Натана, герцогиню де Мофриньез, и некоторые актрисы считали делом чести выдержать роль до конца...

— Наверняка это было очаровательно,— продолжал Рено,— но то ведь игра, а у человека, о котором я говорю, вся жизнь — настоящая, не выдуманная — пошла наперекосья из-за литературного воспоминания. Он был моим приятелем по Нормальной школе¹. Звали его Лекадье... Из всего нашего выпуска, далеко не заурядного, он был, бесспорно, самым одаренным.

— В чем же проявлялась его одаренность?

— Да во всем. Сильный, независимый характер, пронизательный ум, невероятная эрудиция... Он все читал, от сочинений отцов церкви до «Нибелунгов», от византийских историков до Карла Маркса, и всегда за завесой слов умел постичь глубинный общечеловеческий смысл. Его доклады по истории приводили всех нас в восхищение. В них чувствовался талант историка и в то же время несомненный литературный дар. Он страстно любил читать романы. Стендаль и Бальзак были его кумирами. Он мог цитировать их наизусть чуть не целыми страницами, и казалось, что все свои знания о жизни он почерпнул у них.

Он и внешне чем-то походил на них. Крепкого сложения, некрасивый — но именно той почти величественной некрасивостью, проникнутой умом и добротой, которая зачастую свойственна великим писателям. Я говорю «зачастую», поскольку и другие, не столь заметные беды: слабохарактерность, тайный порок, несчастье — могут вызвать эту страсть к перевоплощению, необходимое условие для творчества. Толстой в молодости был уродлив, Бальзак грузен, в Достоевском было что-то звериное, а юный Лекадье всегда напоминал мне Анри Бейля, покинувшего Гренобль.

¹ Парижская Высшая нормальная школа — Педагогический институт.

Мы понимали, что он беден: несколько раз он водил меня в гости к своему шурину, механику из Бельвиля, в чьем доме обедали на кухне, — он упрямо знакомил с ним чуть не весь институт. Поступок вполне в духе Жюльена Сореля, и действительно, этот образ постоянно его преследовал. Если он пересказывал сцену, когда Жюльен вечером в саду взял за руку госпожу де Реналь, не чувствуя к ней любви, то казалось, что он говорит о себе. Жизнь заставляла его довольствоваться подавальщицами из закуской Дювала или натурщицами из Ротонды, но мы знали, что он с нетерпением ждет случая, чтобы отправиться покорять женщин гордых, пылких и целомудренных.

— Да, конечно, — говорил он мне, — великое творение может распахнуть перед тобой двери салонов... Но этот путь столь долог! И потом, хороший роман не напишешь, не зная подлинных женщин. И ничего тут не поделаешь, Рено: женщину, воистину совершенную женщину можно встретить только в свете. Эти утонченные, хрупкие создания рождаются в атмосфере праздности и богатства, роскоши и скуки. Все прочие? Пусть соблазнительные, пусть даже красивые, что они могут мне подарить? Плотскую любовь? «Два трущихся живота», как говаривал Марк Аврелий? «Я свел любовь к потребности и эту потребность — к минимуму», как писал Ипполит Тэн? Пресную, скучную верность до гроба? Для меня это ничто... Я мечтаю о громкой победе, о романтических ситуациях. Или я не прав? Но нет, нельзя ошибиться в своих сокровенных желаниях. Я романтичен, мой друг, безумно романтичен. Для счастья мне необходимо быть любимым и, раз я дурен собой, могущественным, чтобы внушать любовь. На этих основаниях я построил свой жизненный план, и ты можешь говорить что угодно, но для меня он единственно разумный.

В ту пору слабое здоровье придало мне рассудительности и «жизненный план» Лекадье показался совершенно абсурдным.

— Мне тебя искренне жаль, — ответил я. — Я тебя просто не понимаю: ты обрекаешь себя на волнения, муки (а ты уже не в себе), на возможную неудачу в поединке с недостойными соперниками. Что мнимые успехи других, если добился подлинных — духовных? Чего ты в конце концов хочешь, Лекадье? Счастья? Неужто ты и впрямь думаешь, что власть или женщины способ-

ны его даровать? Мир, который тебе видится реальным, кажется мне призрачным. Как можешь ты стремиться к благам преходящим, несовершенным по природе своей, когда тебе выпал жребий быть одним из тех, кто, посвятив свою жизнь идее, достигает почти непоколебимого счастья?

Он пожал плечами: «Да ладно, знаю я эту песню. Не ты один читал стоиков. Сколько нужно повторять, что я иначе устроен, чем они и чем ты. Конечно, на какое-то время я мог бы найти счастье в книгах, произведениях искусства, работе. Потом, в тридцать, в сорок лет, я начну жалеть о загубленной жизни. Но будет уже поздно. Иначе я представляю себе ступени духовного развития. Сперва надо избавиться от мании честолюбия единственным радикальным путем — удовлетворив его, а потом — но только потом — с чистым сердцем окончить свои дни как мудрец, зная цену тому, что отринул... Вот так вот, а возлюбленная из высшего общества сможет избавить меня от десяти лет неудач и низких интриг.

Я вспоминаю один его поступок, тогда удививший меня, но сейчас многое проясняющий. Увидев в пивной служанку ирландку, уродливую и грязную, он не успокоился, пока не переспал с нею. Все это показалось мне особенно нелепо из-за того, что девка почти не говорила по-французски, а единственным пробелом нашего «всезнайки» Лекадье было полное невежество в английском.

— Ну что за ерунда, в конце концов, — твердил я ему. — Ведь ты даже толком не понимаешь ее.

— Какой ты плохой психолог! — отвечал он. — Именно в этом-то все удовольствие.

И в общем, механизм тут довольно простой. Раз уж обычные любовницы были начисто лишены утонченности и целомудрия, столь необходимых ему для счастья, он пытался обрести эту иллюзию в тайне неведомого языка.

У него было множество записных книжек, испещренных чисто личными пометками, замыслами, планами произведений. Однажды вечером он забыл одну из них на столе, мы стали листать ее и обнаружили афоризмы, немало нас позабавившие. Я запомнил один из них — очень в духе Лекадье: «Неудача — доказательство слабости желания, но не его безрассудства».

Одна страница была озаглавлена:

ОРИЕНТИРЫ

Мюссе в двадцать лет был великим поэтом.	Ничего не поделаешь.
Гош, Наполеон в двадцать четыре года командовали армиями.	Ничего не поделаешь.
Гамбетта в двадцать пять лет стал знаменитым адвокатом.	Может быть.
Стендаль опубликовал «Красное и черное» только в сорок восемь лет.	Вот что все- ляет надежду.

Эти записки честолюбца тогда нас просто рассмешили, хотя мысль о том, что Лекадье — гений, была не так уж абсурдна. Если бы нас спросили: «У кого из вас есть шансы оторваться от основной группы, примчаться к славе?», мы ответили бы: «У Лекадье», но ему еще должно было повезти. В жизнь любого великого человека врывается незначительное событие, открывающее путь к успеху. Кем бы был Бонапарт без вандемьерского мятежа у церкви святого Роха? Байрон без оскорблений шотландских критиков? Разумеется, посредственностями. Вдобавок Байрон был хромым, что для художника — источник силы, а Бонапарт робел перед женщинами, боялся их. Наш Лекадье некрасив, беден, талантлив, но будет ли у него свой Вандемьер?

* * *

В начале третьего курса директор Нормальной школы вызвал к себе в кабинет нескольких студентов. Нашим директором был Перро — автор «Истории искусств», прекрасный человек, походивший одновременно на только что вылезшего из воды кабана и на Циклопа — он был крив на один глаз и грозен. Когда с ним советовались о будущем, он отвечал: «Ах, будущее... Покинув эти стены, постарайтесь подыскать хорошее место — оклад побольше, работы поменьше».

В тот день, собрав нас, он произнес краткую речь: «Вам известно имя г-на Треливана, министра? Да? Прекрасно. Он прислал ко мне секретаря. Г-н Треливан ищет учителя для своих сыновей и спрашивает, не хочет ли кто-нибудь из вас три раза в неделю давать им уроки истории, литературы и латыни? Я, разумеется, во всем пойду ему навстречу. На мой взгляд, это прекрас-

ный случай приобрести высокопоставленного покровителя и, быть может, обеспечить себе после Школы приличную синектуру, которая прокормит вас до конца дней. Предложение заслуживает внимания: подумайте, посоветуйтесь, а вечером назовете мне имя избранника».

Мы все знали Треливана, друга Жюля Ферри и Шаллемель-Лакура, самого образованного и остроумного государственного деятеля того времени. В юности он потрясал Латинский квартал язвительными сатирами и гневными филиппиками, которые произносил, забравшись на стол. Старина Хаз, преподававший греческий в Сорбонне, считал его своим лучшим учеником. Достигнув вершин власти, он сохранил восхищавшие нас причуды. С парламентской трибуны он цитировал стихи. Когда во время дебатов на него обрушивались с откровенно грубыми нападками (шли бои в Тонкине, и оппозиция свирепствовала), он открывал томик Феокрита или Платона и вовсе переставал слушать. Сама мысль взять для сыновей не обычного учителя, а молодого наставника была очень для него характерна и нам понравилась.

Я бы с удовольствием ходил к нему домой несколько раз в неделю, но Лекадье как «первый ученик» пользовался преимуществом, и ответ его нетрудно было угадать. Это была та самая возможность, о которой он так долго мечтал: перед ним открывались двери дома могущественного человека, чьим секретарем он мог со временем стать и который, несомненно, поможет ему проникнуть в тот таинственный мир, где наш приятель рассчитывал воцариться. Он попросил место и получил его. На следующий день он приступил к своим новым обязанностям.

У нас с Лекадье вошло в привычку подолгу беседовать каждый вечер на лестничной площадке перед дортуаром. В первую же неделю я узнал тысячи подробностей о доме Треливанов. Лекадье видел министра только однажды, в первый день, и вдобавок ему пришлось ждать до девяти вечера: заседание Палаты сильно затянулось.

— Ну как, — спросил я его, — что сказал великий человек?

— По правде говоря, — ответил Лекадье, — я был вначале разочарован. Хочется, чтобы великий человек отличался от простых смертных, а когда видишь глаза,

нос, рот, слышишь самые обычные слова, мираж рассеивается. Но Треливан любезен, сердечен, умен. Он говорил со мной о Школе, интересовался нашими литературными пристрастиями, представил меня жене, которая, как он сказал, в основном-то и следит за воспитанием детей. Она была со мной любезна. Кажется, она его боится; он говорит с ней подчеркнуто иронично.

— Добрый знак, Лекадье. Она красива?

— Очень.

— Но не очень молода, ведь ее детям...

— Лет тридцать... может, немного больше.

На следующее воскресенье мы были приглашены на обед к нашему бывшему преподавателю, ставшему депутатом. Он дружил с Гамбеттой, Бутейе, Треливаном, и Лекадье воспользовался случаем навести справки.

— Не знаете ли вы, из какой семьи госпожа Треливан?

— Госпожа Треливан? Кажется, она дочь промышленника из департамента Эр-и-Луар. Старая буржуазия, насколько я помню.

— Она умна,— произнес Лекадье с той непередаваемой интонацией, в которой слышатся и вопрос, и утверждение, а вернее всего — надежда, что собеседник согласится.

— Да нет,— удивился папаша Лефор.— Чего ради ей быть умной? Кажется, наоборот, ее считают глупой. Мой коллега Жюль Леметр, свой человек в их доме...

Лекадье, перегнувшись через стол, прервал его:

— Добродетельна ли она?

— Кто? Госпожа Треливан? Ну, мой друг... По слухам, у нее были любовники, но я толком ничего не знаю. Это похоже на правду, Треливан совсем ее забросил. Говорят, он живет с мадемуазель Марсе, которую пристроил в Комеди Франсез в бытность свою министром искусств... Я знаю, что он принимает у мадемуазель Марсе, проводит там почти все вечера. Вот так...

Депутат от Кана развел руками, покачал головой и заговорил о предстоящих выборах.

* * *

После этой беседы Лекадье стал держаться с госпожой Треливан свободно, даже развязно. Скрытая вольность сквозила в банальных фразах, которыми он обме-

нивался с ней, когда она заходила во время урока. Он все смелее смотрел на нее. Она носила довольно открытые платья, и под легким тюлем обрисовывалась ее грудь. Ее руки и плечи наливались упругой полнотой, еще ничем не предвещавшей неизбежную одутловатость зрелых лет. Лицо было гладкое, без морщин или, скорее, Лекадье по молодости своей не мог распознать их незаметные следы. Когда она садилась, приоткрывались изящные ножки, в тонкой сетке шелковых чулок казавшиеся почти бесплотными. Она представлялась Лекадье прекрасной богиней, искусно скрывшей свою телесную оболочку, и все же доступной, ибо молва говорила о ее слабости.

Я уже упоминал о блестящем, самобытном красноречии Лекадье. Зачастую, если г-жа Треливан входила, когда он с увлечением воскрешал перед изумленными детьми императорский Рим, двор Клеопатры, строителей храмов, он с чуть дерзким кокетством позволял себе не прерывать рассказ. Она рукой делала ему знак продолжать и, пройдя на цыпочках, тихонько садилась в кресло. «Да, да,— убеждал себя Лекадье, который, не переставая говорить, наблюдал за ней,— ты думаешь, что этот студентик поинтересней многих прославленных ораторов». Возможно, он ошибался, и она, рассеянно глядя на кончики туфель или на игру бриллиантов, думала о своем сапожнике или о новом украшении.

И все же она возвращалась. Лекадье вел ее появлениям строгий счет, скрупулезность которого она и представить себе не могла. Если она приходила три дня подряд, то он уже думал: «Она клюнула». И, припоминая все фразы, в которые он, как ему казалось, вложил второй смысл, он пытался в точности восстановить реакции г-жи Треливан. Здесь она улыбнулась, это словцо, хотя и остроумно, пропало даром, а немного вольный намек вызвал ее удивленный высокомерный взгляд. Если она не появлялась целую неделю, он решал: «Все кончено, я ей надоел». Тогда он пускал в ход тысячи уловок, чтобы выведать у детей, не удивив их, почему нет мамы. И всегда причина была самой простой — или уехала, или нездорова, или руководит работой женского комитета.

— Знаешь,— говорил мне Лекадье,— когда понимаешь, что бушующие в тебе чувства бессильны вызвать ответную бурю в душе другого, то хочется... А самое

мучительное — неведение. Абсолютная непроницаемость чужого сознания — вот истинная причина страстей. Если б знать, хорошо или плохо думает о тебе женщина, не пришлось бы страдать. Либо ты будешь счастлив, либо отступишься. Но это спокойствие, за которым, быть может, скрывается любопытство, а может быть, не скрывается ничего...

Однажды она спросила у него названия нескольких книг, и они разговорились. Пятнадцатиминутная беседа после уроков вошла в привычку, и довольно скоро Лекадье сменил ученый тон на игривый, одновременно серьезный и поверхностный, который почти всегда служит прелюдией любви. Замечали ли вы, что в беседе мужчины и женщины шутовская легкость тона нужна лишь для того, чтобы прикрыть нетерпеливость желания? Сознывая силу, которая толкает их друг к другу, и опасность, которая им угрожает, они словно пытаются защитить свой покой деланным безразличием разговора. Тогда каждое слово — намек, каждая фраза — разведка, каждый комплимент — ласка. Тогда речи и чувства текут двумя параллельными потоками, один над другим, и верхний поток, где струятся слова, — это лишь знаки, лишь символы потока глубинного, где мечутся смутные образы...

Пылкий юноша, жаждавший покорить Францию силой своего гения, опускался до разговоров о последних театральных премьерах, о романах, даже о нарядах и о погоде. Он описывал мне жабо из черного тюля или белые шляпки с бантами в стиле Людовика XV (это было время рукавов с буфами и шляп с высокими тульями).

— Старик Лефор был прав, — признавался он, — она не очень умна. Вернее, ее мысли вечно скользят по поверхности. Но что мне до того!

Разговаривая с ней, он смотрел на руку, которую схватил Жюльен Сорель, на талию, которую обнял Феликс де Ванденес. «Как, — спрашивал он себя, — можно перейти от этого церемонного тона, этой сдержанности к удивительной фамильярности, которую дарует любовь? С женщинами, что я знал донныне, первые шаги делались намеренно шутивно — их благосклонно принимали и даже провоцировали; остальное уже шло своим чередом. А тут я не могу вообразить даже самой мимолетной ласки. Жюльен? Но Жюльену помогали темные вечера в са-

ду, чарующие ночи, совместная жизнь. А я даже не могу застать ее одну...»

Действительно, всегда были рядом дети, и Лекадьешкетно пытался поймать ободряющий или сочувственный взгляд г-жи Треливан. Она смотрела на него с совершенным спокойствием, бесстрастностью, исключавшей любую опрометчивую вольность.

Каждый раз, покинув особняк Треливанов, он бродил в раздумьях по набережным:

— Я трус... Ведь были у нее любовники... Она старше меня лет на двенадцать, не меньше: не может она быть неприступной... Конечно, ее муж человек выдающийся. Но разве женщины это ценят? Он пренебрегает ею, и она, верно, безумно скучает.

И он в бешенстве твердил: «Я трус... я жалкий трус».

Он бы меньше себя презирал, если бы знал, что таилось в сердце г-жи Треливан, все, что мне много лет спустя рассказала женщина, игравшая тогда в ее жизни ту же роль, что я при Лекадье. Так иногда случай через двадцать лет приносит вам недостающие сведения, которые бы страстно заинтересовали вас во время тех событий.

Тереза Треливан вышла замуж по любви. Мы знали, что она дочь заводчика, но заводчик тот был вольтерьянцем и республиканцем — тип буржуа, нынче почти исчезнувший, но весьма распространенный в последние годы Империи. Во время очередной предвыборной кампании Треливан нанес визит родителям Терезы и поразил юную девушку в самое сердце. Она решила стать его женой. Ей пришлось победить сопротивление семьи, с полным основанием твердившей о репутации Треливана — дамского угодника и азартного игрока. Отец сказал: «Это гуляка, который будет тебе изменять, который разорит тебя». Она ответила: «Я переделаю его».

Те, кто знал ее в ту пору, говорят, что красота, наивность, страсть к самопожертвованию делали ее необычайно привлекательной. Выходя замуж за молодого, но уже знаменитого депутата, она представляла себе вдохновенную жизнь четы подвижников. Вот она помогает мужу сочинять речи, переписывает их, аплодирует им — надежная опора в трудные дни, незаметная бесценная спутница в пору успеха. В общем, весь девичий пыл «сублимировался» в явную страсть к политике.

Их брак оправдал все предсказания. Треливан любил жену, покуда желал ее, то есть около трех месяцев. Потом он решительно перестал вспоминать о ее существовании. Человек ироничный, практичный, он не выносил излишнего энтузиазма, его больше раздражало, чем привлекало обременительное, быть может, рвение жены.

Наивность, нравящаяся мечтателям, бесит людей действия. Сперва ласково, потом вежливо, затем сухо отверг он помощь супруги. Первые беременности, необходимость соблюдать предосторожности дали ему прекрасный повод для отлучек. Он вернулся к любовницам, более подходящим ему по темпераменту. Когда жена начала жаловаться, он ей ответил, что она свободна.

Решив не разводиться — во-первых, из-за детей, во-вторых, потому, что гордилась именем, которое носила, наконец из-за того, что не хотелось признаваться родителям в своем поражении, она была вынуждена, как ни тяжело это было, привыкнуть путешествовать одной с детьми, переносить навязчивое сочувствие друзей, отвечать улыбкой на вопрос, почему нет ее мужа. Наконец после шести лет одиночества, устав от жизни, мучаясь смутной потребностью в ласке, томясь, несмотря на все разочарования, мечтой об идеальной чистой любви, главной отрадой ее девичества, она взяла в любовники коллегу и политического единомышленника Треливана — человека тщеславного и грубого, в свою очередь бросившего ее через несколько месяцев.

Эти два несчастливых опыта напрочь отвратили ее от мужчин. Она вздыхала и грустно улыбалась, когда при ней заговаривали о семейной жизни. Она была живой, остроумной девушкой, а стала вялой и молчаливой. Врачи нашли в ней покорную пациентку, безнадежно больную неврастенией. Она жила в вечном ожидании какого-нибудь несчастья или смерти. Она окончательно потеряла ту милую доверчивость, что придавала ей столько очарования в юности. Она считала, что не создана для любви и недостойна ее.

Пасхальные каникулы прервали занятия, предоставив Лекадье вдоволь времени для раздумий. И он решился. В первый учебный день, после урока, он попросил у г-жи Треливан позволения поговорить с ней наедине. Решив, что он хочет пожаловаться на одного из своих учеников, она провела его в малую гостиную. Следуя за ней, он был совершенно спокоен, как перед неиз-

бежной дуэлью. Едва она притворила дверь, он признался, что не в силах более молчать, что он живет только теми мгновениями, когда видит ее, что облик ее все время стоит перед его глазами — в общем, вымученно и литературно объяснился в любви, после чего приблизился и попытался взять ее руку.

Со смущением и досадой она глядела на него, повторяя: «Но ведь это нелепо... Да замолчите же...» Наконец она сказала: «Это просто смешно, перестаньте, прошу вас, и немедленно уходите», — столь умоляющим и вместе с тем решительным тоном, что он почувствовал себя побежденным и пристыженным. Он удалился, пролепетав: «Я попрошу г-на Перро прислать вместо меня другого учителя».

В прихожей он остановился в растерянности, начал искать шляпу, так что слуга, услышав, вышел из буфетной, чтобы проводить его.

И тут ситуация — изгнанный любовник уходит в сопровождении камердинера — внезапно напомнила моему товарищу только что прочитанную новеллу Бальзака, короткую, но превосходную — «Покинутая женщина».

Вы все, конечно, знаете ее? Ну да, вы же не бальзаковеды... Тогда я напомню, чтобы были понятны дальнейшие события, что в ней молодой сумасброд проникает под вымышленным предлогом к женщине и с места в карьер объясняется ей в любви.

Бросив на него гордый, презрительный взгляд, она звонком вызывает камердинера: «Жак — или Жан, — проводите этого господина». До сих пор все повторяет историю Лекадье.

Но у Бальзака юноша, проходя через прихожую, размышляет: «Если я уйду, то навсегда останусь глупцом в ее глазах, быть может, в эту минуту она сожалеет, что так резко отказала мне от дома; мое дело — угадать ее волю». Тогда он говорит камердинеру: «Я что-то забыл», поднимается, находит г-жу де Босеан в гостиной и становится ее любовником.

«Да, — подумал Лекадье, пытаюсь попасть в рукав пальто, — в точности мой случай. Но я не только буду выглядеть глупцом, она вдобавок все расскажет мужу. Если же я сейчас вернусь к ней, то, напротив...»

И сказав камердинеру: «Я забыл перчатки», он почти бегом пересек прихожую и открыл дверь будуара.

Госпожа Треливан сидела в задумчивости у камина. Она удивленно, но нежно взглянула на него:

— Как? — сказала она. — Это опять вы? Я думала...

— Я сказал камердинеру, что забыл перчатки. Я умоляю, выслушайте меня, дайте мне хоть пять минут.

Она не протестовала, скорее всего за те мгновения раздумий, пока мой друг отсутствовал, она успела пожалеть о своем добродетельном порыве. Людям свойственно презирать то, что идет им в руки, и цепляться за то, что ускользает, и потому, наверное, с искренним негодованием выставив его, она захотела вновь его увидеть, едва он ушел.

Терезе Треливан было тридцать девять лет. Еще раз, скорее всего в последний, жизнь ее превратится в мучительное и сладостное смешение боли и радости, начнутся вновь свидания, тайные письма, бесконечные ревнивые подозрения. Ее возлюбленным будет юноша, бесспорно талантливый; быть может, с ним — человеком, который всем будет обязан ей, — воплотит она свою мечту о материнской заботе, которую так сухо отверг муж.

Любила ли она его? Не знаю, но склонен думать, что до того дня она видела в нем блестящего преподавателя и только — не из высокомерия, из скромности. Когда он приблизился к ней, произнеся длинную речь, которой она не слышала, она протянула ему руку и с невыразимой грацией отвела глаза. Этот жест, в духе героинь Лекадье, так очаровал его, что он с неподдельной страстью поцеловал ее руку.

* * *

Весь вечер он честно пытался утаить от меня свое счастье; скромность была неотъемлемой чертой образцового возлюбленного, образ которого он создал себе по романам. Он продержался обед и часть вечера; помню, мы тогда обсуждали первую книгу Анатоля Франса, и Лекадье остроумно разбирал ее особенности — то, что он называл «чересчур рассудительной поэзией». Около десяти он отвел меня подальше от наших товарищей и поведал все.

— Я не должен тебе это рассказывать, но я задохнусь, если не доверюсь хотя бы одному человеку. Я все поставил на карту, дружище; поставил хладнокровно и выиграл. Значит, правда, что с женщинами достаточно

быть смелым и только. Мои представления о любви, почерпнутые из книг, смешили тебя — жизнь подтвердила их. Бальзак — великий человек.

Тут он начал пространное повествование, а в конце рассмеялся, обнял меня за плечи и заключил:

— Жизнь прекрасна, Рено.

— Сдается мне, — сказал я, высвобождаясь, — что ты слишком рано торжествуешь. Она простила твою смелость — вот что значит ее жест. Все трудности еще впереди.

— Ах, — произнес Лекадье, — ты не видел, как она на меня посмотрела... В тот миг она вдруг стала обворожительной. Да нет, дружище, нельзя ошибиться в чувствах женщины. Ведь я так долго чувствовал ее безразличие. Раз я тебе говорю: «Она меня любит», значит, я знаю.

Я слушал его с тем ироническим и почти смущенным удивлением, которое всегда вызывает чужая любовь. Между тем он был прав, считая партию выигранной: неделю спустя г-жа Треливан стала его любовницей. Он провел решающие операции с большим искусством, готовясь к каждому свиданию, заранее выверяя свои поступки и слова. Его успех ознаменовал победу почти научной любовной стратегии.

По расхожим представлениям обладание знаменует конец любви-страсти; случай с Лекадье, напротив, доказывает, что оно может стать ее началом. Ведь эта женщина подарила ему почти все, что с юных лет рисовалось ему картиной счастливой любви.

Некоторые его представления о любви всегда меня удивляли — мне они были абсолютно чужды. Ему было необходимо:

1. Чувствовать, что любовница в каком-то отношении выше его, приносит ему что-то в жертву: социальное положение, богатство.

2. Он желал, чтобы она была целомудренной и приносила в наслаждение сдержанность, которую бы ему, Лекадье, приходилось побеждать. Думаю, что тщеславие было в нем сильнее чувственности.

И Тереза Треливан почти в точности воплощала тот тип женщин, который он мне так часто описывал. Его восхищал ее дом, элегантная комната, где они встречались с помощью сообщницы-подруги, ее наряды и экипажи. Он испытал особенную радость, укрепившую его

чувства, когда она призналась, как долго робела перед ним.

— Тебе это не кажется необыкновенным? — спрашивал он меня.— Думаешь, что тебя презирают, что ты для нее пустое место, находишь тысячу убедительнейших причин ее высокомерию. И вдруг, проникнув за кулисы, узнаешь, что она переживала все те же страхи. Помнишь, я говорил тебе: «Уже три урока она не приходит, я наверняка ей наскучил». А она тогда думала (она мне призналась): «Мое присутствие раздражает его, я лучше пропущу урока три». Полностью проникнуть в душу человека, который казался тебе враждебным,— в этом, дружище, и заключается для меня главное наслаждение любви. Наступает полный покой, сладостное отдохновение самолюбия. Мне кажется, Рено, что я влюбляюсь в нее.

Я, человек по натуре сдержанный, не забыл наш разговор со стариной Лефором.

— Но умна ли она? — спросил я.

— Умна? — взвился он.— Ум — понятие растяжимое. Разве мало в Школе математиков (Лефевр, к примеру), которых специалисты считают гениями, а мы с тобой — дураками. Если я начну объяснять Терезе философию Спинозы (а я пробовал), конечно, ей скоро станет скучно, как бы внимательно и терпеливо она ни слушала. И напротив, во многих вопросах она удивляет и превосходит меня. Она знает истинную жизнь определенных слоев французского общества конца нынешнего, XIX века лучше, чем ты, и я, и Ренан. Я могу часами слушать ее рассказы о политических деятелях, о свете, о влиянии женщин.

Все последующие месяцы, когда эти темы всплывали в разговоре, г-жа Треливан с бесконечной предупредительностью старалась удовлетворить любопытство моего друга. Лекадье стоило только сказать: «Хотелось бы мне как-нибудь увидеть Жюля Ферри. Констан, должно быть, прелюбопытный человек... А вы знакомы с Морисом Барресом?» — как она обещала устроить встречу. Она стала ценить бесчисленные знакомства Треливана, которые раньше тяготили и раздражали ее. Она с наслаждением использовала ради своего юного возлюбленного влияние мужа.

— Но что же Треливан? — изредка спрашивал я Лекадье, когда он рассказывал мне об этих вечерах.—

Не может ведь он не замечать, каково твое положение в доме?

Лекадье впадал в задумчивость.

— Да,— говорил он,— это довольно странно.

— Скажем, вы встречаетесь иногда у нее?

— Почти нет,— из-за детей, из-за прислуги, но что до Треливана, то его никогда не бывает дома между тремя и семью. Что удивительно, она двадцать раз просила у него пропуска, приглашения в Палату депутатов, в Сенат, и он всегда вежливо, даже любезно давал их, не прося никаких объяснений. Когда я обедаю у них, он обращается со мной с подчеркнутым уважением. Он представляет меня: «Юный студент Нормальной школы, очень талантлив...» Мне кажется, что он проникся ко мне расположением.

Из-за этой новой жизни Лекадье совсем забросил учебу. Наш директор, замороженный могущественным именем Треливана, перестал следить за его отлучками, но преподаватели жаловались. Он был слишком способным, чтобы завалять конкурсные экзамены, но он сдавал позиции. Я говорил ему об этом, он только смеялся. Штудировать тридцать — сорок трудных авторов казалось ему теперь занятием бессмысленным, недостойным его.

— Конкурс на должность преподавателя лицея,— говорил он,— ну выдержу я его, раз уж взялся, но что за скучища! Неужто тебе интересно смотреть на нити, заставляющие двигаться старых университетских марионеток? Меня это немного забавляет — я вообще люблю перебирать нити, но все же, глупость против глупости, лучше подвизаться в другом балагане, где зрителей побольше. В этом мире, таков как он есть, могущество обратно пропорционально затраченным усилиям. Самую счастливую жизнь современное общество дарует самому бесполезному. Хороший оратор, остроумный человек завоевывает салоны, женщин и даже любовь народа. Помнишь слова Лабрюйера: «Знатность ставит человека в выгодное положение, она позволяет выиграть тридцать лет». Сегодня быть знатным значит быть в милости у нескольких людей: министров, лидеров партий, высших чиновников, более могущественных, чем в свое время Людовик XIV или Наполеон.

— Так что же? Ты ударишься в политику?

— Зачем? Я не строю никаких определенных планов. Я начеку, я ухвачусь за первую же возможность. Есть тысячи путей вне политики, столь же «чудодейственных», но безопасных. Политик обязан снискать расположение народа — дело тяжелое и темное. Я хочу снискать расположение политиков — это намного легче, да и приятней. Многие из них образованные люди: Треливан рассуждает об Аристофане интересней, чем наши преподаватели, и с тем знанием жизни, которого они лишены. Ты даже представить не можешь его откровенный цинизм, его великолепное бесстыдство.

После этого мои хвалы месту провинциального учителя, четырех часам нагрузки, свободному времени для размышлений должны были казаться ему просто жалкими.

Тогда же я узнал от одного из наших соучеников, чей отец бывал у Треливанов, что Лекадье нравился там отнюдь не всем. Он не умел скрывать, что чувствовал себя равным великим мира сего. Его макиавеллизм бил в глаза. Странное впечатление производил этот юноша, не отходивший от хозяйки дома, слишком грузный для своих лет, строивший из себя Дантона. Чувствовалось, что он одновременно робеет и злится из-за этого, что он силен, но слишком высокого мнения о своей силе. «Что это за Калибан, говорящий как Просперо?» — спросил как-то Леметр.

Другой неприятной стороной всех этих событий было то, что теперь Лекадье постоянно нуждался в деньгах. Одежда многое решала на его новом поприще, и этот могучий ум доходил в сем пункте до ребячества. Однажды он мне три вечера подряд рассказывал о белом двубортном жилете, в котором щеголял юный начальник канцелярии. На улице он останавливался перед обувными магазинами и подолгу изучал фасоны. Потом, заметив мое неодобрительное молчание:

— Давай, выкладывай, — говорил он. — У меня достанет аргументов на все твои возражения.

* * *

Комнаты учеников в Нормальной школе напоминают ложи, разделенные занавесями и расположенные вдоль коридора. Моя была справа от Лекадье, слева спал Андре Клейн, ныне депутат от Ланд.

За несколько недель до конкурсного экзамена я проснулся от непонятного шума и, сев на постели, явственно услышал рыдания. Я поднялся, а в коридоре Клейн, вскочив как по тревоге, уже подслушивал перед комнатой Лекадье, прильнув ухом к занавеси. Оттуда-то и доносились стенания.

Я не видел моего друга с самого утра, но мы так привыкли к его отлучкам, что столь долгое отсутствие никого не беспокоило.

Клейн кивнул на занавесь, советуясь со мной, и распахнул ее. Лекадье, зареванный, распластался в одежде на постели. Вспомните, что я рассказывал о силе его характера, о нашем преклонении перед ним, и вы поймете наше удивление.

— Что с тобой? — спросил я. — Лекадье! Ответь...
Что с тобой?

— Оставь меня в покое... Я уезжаю.

— Уезжаешь? Что за бредни?

— Это не бредни, я должен уехать.

— Ты с ума сошел? Тебя исключили?

— Нет... Я обещал уехать.

Он покачал головой и вновь рухнул на постель.

— Не смей людей, Лекадье, — произнес Клейн.

Тот резко приподнялся.

— Ну ладно, — сказал я, — что там у тебя стряслось? Клейн, уйди, а?

Мы остались одни. Лекадье уже взял себя в руки. Он встал, подошел к зеркалу, пригладил волосы, поправил галстук и сел опять напротив меня.

И тогда, увидев его вблизи, я поразился, как сильно исказились черты лица. Глаза его казались потухшими: Я почувствовал, что в этом прекрасном механизме сломалась какая-то важная деталь.

— Госпожа Треливан? — спросил я.

Я испугался, что она умерла.

— Да, — вздохнул он. — Не нервничай, я тебе все объясню. Итак, сегодня, после урока, Треливан через камердинера попросил меня зайти к нему в кабинет. Он работал. Он вежливо поздоровался, дописал абзац и без лишних слов протянул мне два моих письма (я по глупости писал не только чувствительные письма, но и чересчур откровенные, в которых оправдаться никак не мог). Я что-то пролепетал, наверняка какие-то бессвяз-

ные фразы. Я не был к этому готов, я жил, как ты знаешь, с ощущением полной безопасности. Он-то был совершенно спокоен, а я чувствовал себя подсудимым.

Когда я замолчал, он стряхнул пепел с сигареты (о, эта пауза, Рено... несмотря ни на что, я восхитился им — он великий актер) и начал говорить о «нашем» положении — с удивительной беспристрастностью, хладнокровием, ясностью суждений. Мне трудно даже пересказать его речь. Все казалось таким убедительным, очевидным. Он говорил мне: «Вы любите мою жену, вы пишете ей об этом. И она вас любит — искренне и глубоко, как мне кажется. Вы знаете, разумеется, чем была наша супружеская жизнь? Я не виню ни вас, ни ее. Напротив, у меня сейчас тоже есть причины желать свободы, я не собираюсь препятствовать вашему счастью. Дети? У нас, как вы знаете, только мальчики, я помещу их интернами в лицей. Каникулы? Можно все уладить вежливо, по хорошему. Ребята нисколько не будут страдать, напротив. Средства к существованию? У Терезы есть небольшое состояние, вы будете зарабатывать на жизнь... Я вижу только одно препятствие, или, вернее, затруднение: я государственный деятель, и мой развод наделает шуму. Чтобы свести скандал к минимуму, мне нужна ваша помощь. Я предлагаю вам честный, почетный выход. Мне не хочется, чтобы жена, оставшись в Париже во время процесса, невольно давала пищу сплетникам. Я прошу вас уехать и увезти ее. Я предупрежу вашего директора, найду вам должность преподавателя в провинциальном коллеже.— Но я еще не прошел конкурсный экзамен,— возразил я.— Ну и что? Это не обязательно. Не беспокойтесь, я пользуюсь достаточным влиянием в министерстве, чтобы назначить преподавателя в шестой класс. Кроме того, ничто не мешает вам продолжать готовиться к конкурсу и пройти его в следующем году. Тогда я смогу найти вам место получше. Только не думайте, что я собираюсь вас преследовать... Напротив, вы попали в тяжелое, затруднительное положение, я знаю это, друг мой, я сочувствую вам, я помню о вас, я пекусь о ваших интересах как о своих; если вы примете мои условия, я помогу вам выкарабкаться... Если вы откажетесь, я буду вынужден действовать законным путем».

— Что это значит, законным путем? Что он может тебе сделать?

— О! все... возбудить процесс о супружеской измене.

— Что за глупость! Шестнадцать франков штрафа? Он выставит себя на посмешище.

— Да, но такой человек, как он, может погубить всякую карьеру. Сопротивляться было бы безумием, тогда как уступить... кто знает?

— И ты согласился?

— Через неделю я уезжаю вместе с ней в коллеж в Люксей.

— А что она?

— Ах,— произнес Лекадье,— она была великолепна. Я провел у нее весь вечер. Я спросил ее: «Вас не пугает провинциальная жизнь, пошлость, скука?» Она ответила: «Я уезжаю с вами; я слышала только это».

Тогда я понял, почему Лекадье так легко уступил: его пьянила возможность открыто жить со своей любовницей.

В то время я был, как и он, слишком молод, и эта театральная развязка показалась столь драматичной, что я примирился с ее фатальной неизбежностью, даже не пытаюсь спорить. Позднее, лучше узнав людей, я поразмыслил над этими событиями и понял, что Треливан ловко воспользовался неопытностью мальчишки, чтобы с наименьшим ущербом устроить собственные дела. Он давно мечтал избавиться от постылой жены. Впоследствии выяснилось, что он уже тогда решил жениться на м-ль Марсе. Он знал о первом любовнике, но не решился пойти на скандал, который из-за необходимости поддерживать с коллегой деловые отношения мог бы сильно усложнить политическую жизнь. Государственная деятельность научила его смирять себя, и он стал подкармливать благоприятную возможность. Лучшей нельзя было и желать: подросток подавлен его авторитетом, жена надолго удаляется из Парижа, если решит последовать за любовником (а это было весьма вероятно, поскольку он молод, и она его любила). Общественное волнение успокаивается из-за исчезновения главных действующих лиц. Он увидел, что дело верное, и выиграл его без труда.

Через две недели Лекадье исчез из нашей жизни. От него изредка приходили письма, но на конкурсный экзамен он не явился ни в этом, ни в следующем году. Волны, поднятые этим падением, разошлись, улеглись.

Пригласительный билет уведомил меня о его свадьбе с г-жой Треливан. От приятелей я узнал, что конкурс он выдержал, от генерального инспектора — что он назначен в лицей в Б., весьма престижное место, «благодаря своим связям». Потом я покинул институт и забыл Лекадье.

* * *

В прошлом году, попав проездом в Б., я зашел из любопытства в лицей, расположенный в старинном аббатстве, одном из красивейших во Франции, и осведомился у привратника о Лекадье. Привратник, человек суетливый и напыщенный, вынужденный вести табели опоздавших и оставленных после уроков, пропитался атмосферой науки и стал изрядным педантом.

— Господин Лекадье? — переспросил он. — Г-н Лекадье вот уже двадцать лет как принадлежит к числу преподавателей лицея, и все мы надеемся, что он останется здесь до пенсии. Впрочем, если вы желаете его видеть, вы можете пройти через парадный двор и спуститься по левой лестнице во двор для младших классов. Скорее всего он там — беседует с надзирательницей.

— Как? Разве лицей не закрыт на каникулы?

— Разумеется, но мадемуазель Септим взялась присматривать днем за детьми, чьи семьи живут в нашем городе. Г-н директор дал свое согласие, и г-н Лекадье приходит составить ей компанию.

— Ну и ну! Но ведь Лекадье женат, не так ли?

— Он был женат, сударь, — трагическим тоном произнес привратник, и в голосе его прозвучал упрек. — Г-жу Лекадье схоронили в прошлом году, перед днем Карла Великого.

«А и вправду, — подумал я, — ей уже, наверное, было около семидесяти... Странная, должно быть, жизнь была у этой пары».

Я решил уточнить:

— Ведь она намного старше его, не так ли?

— Сударь, — ответил он, — это самое удивительное, что я только видел в лицее. Г-жа Лекадье постарела в один миг. Когда они приехали сюда, это была, я не преувеличиваю, юная девушка... белокурая, румяная, хорошо одетая... и гордая. Вы, верно, знаете, кто она такая?

— Да, да, знаю.

--- Ну, естественно. Когда жена премьер-министра оказывается в провинциальном лицее, то, сами понимаете... Мы вначале смущались ее. Живем мы здесь дружно. Г-н директор все время повторяет: «Я хочу, чтобы мой лицей был одной большой семьей». Зайдя в класс, он обязательно спросит у учителя: «Господин Лекадье (или г-н Небу, или г-н Лекаплен), как поживает ваша женушка?» Но поначалу, как я вам сказал, она ни с кем не хотела знаться, никому не наносила визиты — даже ответные. Многие злились на мужа, и это понятно. К счастью, г-н Лекадье весьма галантен и все трудности улаживал с нашими дамами. Он умеет нравиться. Теперь, когда он читает в городе лекцию, собирается вся аристократия, приходят нотариусы, промышленники, префект, все-все... Постепенно все уладилось. Да и супруга его переменилась; последние годы г-жа Лекадье была так проста, общительна, так любезна. Но она стала старой, совсем старой.

— Правда? — сказал я. — С вашего позволения я пойду его поищу.

Я пересек парадный двор. Это был старинный монастырь XV века, немного изуродованный обилием окон, в которых виднелись разохшиеся лавки и столы. Слева горбатая крытая лестница вела вниз, во двор поменьше, окруженный чахлыми деревьями. У подножия ее стояли двое: мужчина, спиной ко мне, и женщина с костлявым лицом и жирными волосами, чью клетчатую фланелевую блузку вздымал старомодный корсет. Эта пара, по-видимому, вела оживленную беседу. Сводчатый спуск, как слуховая труба, донес голос, заставивший меня необыкновенно ясно вспомнить лестничную площадку дортуара Нормальной школы. И я услышал:

— Да, Корнель величественный, но Расин нежнее, тоньше. Лабрюйер очень верно сказал, что один рисует людей такими, как они есть, другой же...

Так странно и так горько было мне слышать подобные пошлости, обращенные к подобной собеседнице, считать, что произносит их человек, которому я поверял свои первые думы и который в юности так сильно на меня повлиял, — что я стремительно шагнул под своды, дабы лучше рассмотреть говорившего, с тайной надеждой, что ошибся. Он обернулся, и я с удивлением увидел седеющую бороду, лысый череп. Но это был Лекадье. Он меня тоже тотчас узнал, и на лице его про-

мелькнула тень досады и даже боли, быстро сменившаяся ласковой улыбкой, чуть-чуть смущенной и неловкой.

Взволнованный, я не хотел вспоминать прошлое при этой угрюмой надзирательнице и быстро пригласил друга вместе пообедать. Он назвал ресторан, где мы и договорились встретиться в полдень.

Перед лицеем в Б. есть маленькая площадь, усаженная каштанами; я просидел там довольно долго. «От чего зависит,— спрашивал я себя,— успешно или неудачно сложится жизнь? Вот Лекадье, рожденный быть великим человеком, год из года переводит все те же отрывки с очередными поколениями школьников из Турени и проводит каникулы, педантично ухаживая за нелепой уродиной, тогда как Клейн, человек умный, но все же не гениальный, осуществляет юношеские мечты Лекадье. Почему все так? Надо,— подумал я,— попросить Клейна перевести Лекадье в Париж».

По дороге к Сент-Этьен де Б., красивой церкви в романском стиле, которую мне хотелось вновь увидеть, я попытался понять причины такой деградации. Сразу Лекадье измениться не мог. Это был тот же человек, тот же ум. Что же произошло? Треливан, должно быть, безжалостно держал их в провинции. Он выполнил свои обещания, обеспечил быстрое продвижение по службе, но закрыл им дорогу в Париж. На некоторых провинция действует исключительно благотворно. Я сам нашел в ней свое счастье. Когда-то давно в Руане меня учили преподаватели, которым провинциальная жизнь подарила удивительную ясность ума, безупречный вкус, избавленный от модных заблуждений. Но таким, как Лекадье, нужен Париж. В изгнании желание первенствовать заставило его довольствоваться мнимыми успехами. Остаться умным человеком в Б.— страшное испытание для человеческой натуры. Заняться политикой? Очень трудно, если ты не местный уроженец. В любом случае это дело долгое; здесь действуют наследственные права, выслуга лет, особая иерархия. А при его характере, он, наверное, быстро пал духом. И потом, если человек один, он может бежать, работать, а у Лекадье была жена на руках. После первых месяцев счастья она, должно быть, пожалела о своей светской жизни. Она понемногу стала сдавать... Потом постарела... Он мужчина темпераментный. Юные девушки, уроки литературы... Г-жа Треливан начала ревновать. Жизнь превратилась в череду глу-

пых изнурительных сцен... Потом болезнь, желание забыть, да к тому же привыкание, поразительная приспособляемость честолюбия, счастье удовлетворенного тщеславия, которое показалось бы смешным в двадцать лет (муниципальный совет, ухаживание за надзирательницей). И все-таки мой Лекадье, юный гений, не мог исчезнуть совершенно: должны же были остаться в нем следы былых задатков; вероятно, они погребены, но до них можно докопаться, высвободить их...

Когда я, осмотрев собор, вошел в ресторан, Лекадье уже был там и вел с хозяйкой, низенькой толстухой в черных завитушках, шутливую ученую беседу, от которой мне сразу стало тошно. Я поспешил увлечь его за стол.

Знаете, как беспокойно болтливы люди, боящиеся неприятного разговора? Едва только беседа приближается к «запретным» темам, наигранное оживление выдает их тревогу. Их фразы снуют, как пустые поезда, которые командование пускает на опасных участках фронта, чтобы предотвратить возможное наступление противника. Весь обед мой Лекадье, упиваясь собственным красноречием — легковесным, водянистым, банальным до абсурда, — болтал без умолку: о городе Б., о своем коллеге, о погоде, о муниципальных выборах, об интригах преподавательниц.

— Есть тут, старина, в десятом приготовительном одна учительница...

Ну, а меня интересовало только одно — как угасло это великое честолюбие, как сломалась эта железная воля, какой была его внутренняя жизнь с того дня, как он покинул Школу. Но всякий раз, как я подводил его к этим темам, он начинал темнить, извергая потоки пустых, путаных слов. Я вновь увидел эти «потухшие» глаза, поразившие меня в тот вечер, когда Треливан раскрыл его интрижку.

Когда подали сыр, я, разозлившись, отбросил все приличия и, глядя на него в упор, грубо спросил: «Что за игру ты затеял, Лекадье? Ведь ты был умен. Почему ты изъясняешься как сборник избранных мест? Почему ты боишься меня? И себя?»

Он чуть покраснел. Огонь страсти, быть может, гнева вспыхнул в его глазах, и на несколько мгновений я обрел моего Лекадье, моего Жюльена Сореля, моего юно-

го Растиньяка. Но тут же привычная маска опустилась на широкое бородатое лицо, и он произнес с улыбкой: — Что? Умен? Что ты хочешь этим сказать? Ты всегда был странным.

Потом он заговорил о директоре коллежа; Бальзак прикончил своего почитателя.

ПРИЛИВ

— Сбрасывать маски? — переспросил Бертран Шмит.— Вы всерьез думаете, что людям надо почаще сбрасывать маски? А я так, напротив, полагаю, что все человеческие отношения, если не считать редчайших случаев бескорыстной дружбы, на одних только масках и держатся. Если обстоятельства иной раз вынуждают нас открыть вдруг всю правду тем, от кого мы привыкли ее скрывать, нам вскоре придется раскаяться в своей необдуманной откровенности.

Кристиан Менетрие поддержал Бертрана.

— Я помню, в Англии произошла катастрофа,— сказал он.— В шахте взорвался рудничный газ, и там оказались заживо погребены человек двенадцать шахтеров... Через неделю, не надеясь больше на спасение и понимая, что обречены, они ударились вдруг в своеобразное публичное покаяние. Представляете: «Ладно, раз все равно умирать, я могу признаться...» Против всякого ожидания, их спасли... С той поры они никогда не встречались друг с другом... Каждый инстинктивно избегал свидетелей, которые знали о нем слишком много. Маски вновь были водворены на место, и общество спасено.

— Да,— подтвердил Бертран.— Но бывает и по-другому. Помню, как во время одной из поездок в Африку мне пришлось стать невольным свидетелем потрясающего признания.

Бертран откашлялся и обвел всех нас неуверенным взглядом. Станный человек Бертран — ему много приходилось выступать публично, но это не излечило его от застенчивости. Он всегда боится наскучить слушателям. Но так как в этот вечер никто не обнаружил намерения его перебить, Бертран приступил к рассказу.

— Вряд ли кто из вас помнит, что в 1938 году по просьбе «Альянс франсез» я объездил Французскую Западную, Экваториальную Африку и другие заморские территории, выступая там с лекциями... Где я только не побывал — в английских, французских, бельгийских колониях (в ту пору еще было в ходу слово «колонии») — и ничуть об этом не жалею. Европейцы в эти страны наезжали редко, и местные власти принимали их по-королевски, или, вернее сказать, по-дружески, что, кстати, гораздо приятнее... Не стану называть вам столицу маленького государства, где произошли события, о которых пойдет речь в моем рассказе, потому что действующие лица этой истории еще живы. Мои главные герои: губернатор, человек лет пятидесяти, седовласый, гладко выбритый, и его жена, женщина значительно моложе его, черноглазая блондинка, живая и остроумная. Для удобства повествования назовем их Буссарами. Они радушно приютили меня в своем «дворце» — большой вилле казарменного типа, расположенной среди красноватых скал и весьма оригинально обставленной; там я два дня наслаждался отдыхом. Посредине гостиной лежала тигровая шкура, на которой стоял столик черного дерева, а на нем я обнаружил «Нувель ревью франсез», «Меркюр де Франс» и новые романы. Я выразил восхищение заведенными в доме порядками молодому адъютанту губернатора лейтенанту Дюга.

— Я тут ни при чем, — заявил он. — Это мадам Буссар... Цветы и книги по ее части.

— А что, мадам Буссар — «литературная дама»?

— Еще бы... Разве вы сами не заметили?.. Жизель, как мы ее непочтительно зовем между собой, окончила Эколь нормаль в Севре. До замужества она преподавала литературу в Лионе... Там губернатор вновь увидел ее во время отпуска... Я говорю увидел вновь, потому что он был с ней знаком раньше. Жизель — дочь одного из близких друзей моего патрона. Он влюбился в нее, и она согласилась поехать за ним сюда. Как видно, она тоже давно его любила.

— Несмотря на разницу в возрасте?

— В ту пору губернатор был неотразим. Те, кто встречал его до женитьбы, говорят, что он пользовался громадным успехом у женщин... Теперь-то он постарел.

— Такие браки плохо отзываются на здоровье.

— Ну, тут дело не только в браке. Патрон прожил

трудную жизнь... Тридцать лет службы в Африке. В этом климате, в вечных тревогах, работая как вол... Патрон — человек, каких мало... Сюда он приехал десять лет назад. В этих непроходимых джунглях жили дикие племена. Они подыхали с голоду. Жрецы науськивали их друг на друга, подстрекали к убийствам, к похищению детей и женщин, к человеческим жертвоприношениям... Патрон усмирил, объединил все эти племена, научил их выращивать деревья какао... Поверьте мне, это не шуточное дело — убедить людей, которым неведомо само понятие «будущее», сажать деревья, начинающие плодоносить лишь через шесть лет.

— А дикари не жалеют об утраченной свободе, о безделье? Как они относятся к губернатору?

— Они его любят или, вернее, почитают... Как-то раз мне пришлось сопровождать губернатора, когда он посетил одно из туземных племен. Вождь преклонил перед ним колена. «Ты обошелся со мной как отец с ленивым сыном, — сказал он. — Ты сделал доброе дело... ты вразумил меня... Теперь я богат...» Эти люди очень умны, вы в этом убедитесь, их легко просвещать, если уметь к ним подойти... Но чтобы внушить им уважение, надо быть чуть ли не святым.

— А губернатор — святой?

Молодой лейтенант взглянул на меня с улыбкой.

— Смотря по тому, что понимать под словом «святой», — сказал он.

— Ну, не знаю... человек абсолютно безгрешный.

— А-а, ну что ж, патрон именно таков... Я не знаю за ним никаких пороков, даже слабостей, разве что одну-единственную... Он честолюбив, но это не мелочное тщеславие, а желание принести пользу делу... Он любит управлять и хотел бы, чтобы его попечению вверяли все более обширные территории.

— Совсем как маршал Лиоте, который воскликнул: «Марокко? Да ведь это деревушка... А мне подавайте земной шар!»

— Вот именно. Патрон был бы счастлив, доведись ему управлять нашей маленькой планетой. И, поверьте мне, он справился бы с этой обязанностью лучше других.

— Но ваш святой был когда-то донжуаном?

— Велика беда — святой Августин начал с того же. Что поделаешь — грехи молодости... Зато, женившись,

губернатор стал примерным мужем... А ведь вы сами понимаете, в его положении случаи представляются на каждом шагу... Уж на что я — всего только тень губернатора, и то...

— И вы таких случаев не упускаете?

— Да ведь я не губернатор, не святой, к тому же я не женат... Я пользуюсь преимуществом своей безвестности... Однако поговорим о вашей поездке, дорогой мэтр. Вы знаете, что патрон намерен сопровождать вас завтра до вашего первого пункта назначения?

— Губернатор в самом деле предложил мне место в своем личном самолете. Он сказал, что ему надо провести инспекцию на побережье, присутствовать на открытии какого-то памятника... А вы тоже летите с нами?

— Нет... Кроме вас и губернатора, летит только мадам Буссар, которая не любит отпускать мужа одного в полеты над джунглями, пилот и комендант местного гарнизона, подполковник Анжелини, который участвует в инспекции.

— Я встречал его?

— Не думаю, но он вам понравится... Это блестящий, остроумный человек... Дока в военных делах... Был когда-то офицером разведки в Марокко, один из питомцев вашего маршала Лиоте. Молодой, а уже в чине подполковника... Будущность блестящая...

— Скажите, а долго ли нам лететь?

— Какое там! Час над джунглями до дельты, потом километров сто над пляжем — и вы на месте.

Прощальный обед во «дворце» прошел очень мило. На нем присутствовал подполковник Анжелини, которому надлежало подготовить все к отъезду. Этого подполковника можно было принять за капитана. Он был молод годами и душой, говорил много и увлекательно. В нем чувствовался склонный к парадоксам, подчас дерзкий ум человека очень образованного. Анжелини лучше губернатора был осведомлен о нравах туземцев, об их тотемах и табу, и, к моему большому удивлению, мадам Буссар вторила ему с полным знанием дела. Губернатор с откровенным восхищением слушал жену и время от времени украдкой поглядывал в мою сторону, чтобы проверить, какое впечатление она производит на меня. После обеда он увел Анжелини и Дюга в свой кабинет, чтобы обсудить с ними какие-то неотложные дела, я ос-

тался наедине с Жизель. Она была кокетлива, а я легко попадаюсь на эту удочку, и, почувствовав, что я возымел к ней доверие, она тотчас заговорила со мной о подполковнике.

— Какое он на вас произвел впечатление? — спросила мадам Буссар. — Вам, писателю, он должен нравиться. В этих краях он незаменим. Муж во всем на него полагается... А я здесь чувствую себя в некотором роде изгнанницей, и Анжелини вносит в нашу жизнь дыхание Франции... и света... При случае заставьте его почитать вам стихи. Это ходячая антология.

— Что ж, я воспользуюсь этим во время полета.

— Нет, — возразила Жизель, — в самолете вы ничего не услышите из-за шума пропеллера.

Часам к десяти вернулись губернатор с подполковником, и вскоре после этого мы все разошлись, потому что вылет из-за ожидавшейся непогоды был назначен на четыре часа утра.

Когда чернокожий бой разбудил меня, небо хмурилось. С востока дул резкий ветер. Я налетал на своем веку много тысяч километров и поэтому сажусь в самолет без всякой опаски. И все же я недолюбливаю полеты над джунглями, где негде приземлиться, а уж если и удастся сесть на какой-нибудь прогалине, все равно мало надежд, что тебя обнаружат пилоты, отправленные на поиски.

Спустившись к завтраку, я увидел за столом лейтенанта Дюга.

— Сводка скверная, — озабоченно сообщил он. — Пилот советовал отложить вылет, но патрон и слышать об этом не хочет. Он уверяет, будто ему всегда везет, и к тому же сводки чаще всего врут.

— Будем надеяться, что губернатор прав: у меня вечером лекция в Батоке, а туда можно добраться только самолетом.

— Мне храбриться легко, — заметил Дюга. — Я не лечу. Но я и в самом деле согласен с патроном. Катастрофы, о которых предупреждают заранее, никогда не случаются.

Вскоре в столовую спустились губернатор с женой. Он был в белом полотняном кителе, на котором выделялась орденская планка. Мадам Буссар, в элегантном спортивном костюме, казалась его дочерью. Она еще не стряхнула с себя сон и была молчалива. На взлетной до-

рожке (громадной просеке, вырубленной среди леса) нас ждал подполковник, который с насмешливым вызовом поглядывал на предгрозовое небо.

— Помните,— спросил он меня,— как Сент-Экзюпери описывает воздушные ямы в горах? А воздушные ямы над джунглями куда хуже. Впрочем, вы сами убедитесь. Приготовьтесь к пляске... Вам было бы лучше остаться, мадам,— обратился он к жене губернатора.

— Об этом не может быть и речи,— решительно заявила она.— Если все останутся, и я останусь, если все летят, я тоже лечу.

Летчик отдал честь губернатору и отошел с ним в сторону. Я понял, что он пытался уговорить Буссара отложить вылет, но потерпел неудачу. Губернатор вскоре вернулся к нам и сухо объявил:

— Пора.

Через несколько минут мы уже летели над морем джунглей. Шум пропеллеров заглушал голоса. Нахлестываемый ветром лес трепетал, точно холка породистого жеребца. Мадам Буссар закрыла глаза, я взял было книгу, но самолет сотряснулся так, что мне пришлось ее отложить. Мы летели на высоте примерно тысячи метров над джунглями, среди черных туч, в сплошной пелене дождя. Было жарко и душно. Время от времени самолет словно проваливался в пропасть, с такой силой ударяясь о слой более плотного воздуха, что, казалось, крылья не выдержат.

Не стану описывать вам это кошмарное путешествие. Вообразите сами: ураган, усиливающийся с каждой минутой, вздыбленный самолет и пилота, время от времени поворачивающего к нам встревоженное лицо. Губернатор был невозмутим, его жена по-прежнему сидела, закрыв глаза. Так прошло больше часа. Вдруг подполковник взял меня под руку и притянул к иллюминатору.

— Смотрите! — крикнул он мне в самое ухо.— Прилив... Дельту затопило.

Моим глазам и в самом деле представилось необычайное зрелище. Там, где обрывался черный массив деревьев, не было видно ничего, кроме воды, воды без конца и края, такого желтого цвета, точно море сплошь состояло из жидкой грязи. Подгоняемые яростными порывами урагана волны шли приступом на лес и, казалось, частично уже затопили его. Пляж исчез под водой. Пилот нацарапал карандашом какую-то записку и, полу-

обернувшись, протянул ее подполковнику, а тот показал мне.

«Никаких ориентиров. Радио молчит. Не знаю, где приземлиться».

Подполковник встал и, держась за спинки кресел, чтобы не упасть при толчках, направился к губернатору — передать слова пилота.

— Хватит ли у него горючего, чтобы изменить курс и вернуться?

Подполковник передал вопрос пилоту и вновь возвратился к губернатору.

— Нет, — спокойно сообщил он.

— Тогда пусть снизится и поищет, не осталось ли где-нибудь незатопленного островка или косы. Другого выхода у нас нет. — И обернувшись к жене, которая открыла глаза, сказал: — Не пугайтесь, Жизель. Это прилив. Мы попытаемся где-нибудь приземлиться. Там мы переждем, пока ураган утихнет и нас найдут.

Она встретила это зловещее известие с поразившим меня самообладанием. Самолет резко пошел на снижение. Я ясно различал огромные желтые волны и в грязноватой дымке — деревья, гнувшиеся под порывами ветра. Пилот вел машину над границей моря и леса, ища прогалину или кусочек берега. Я молчал и думал, что мы погибли.

«И во имя чего? — размышлял я. — За каким чертом понесло меня на эту проклятую галеру? Чтобы прочитать лекцию двум или трем сотням равнодушных слушателей? На кой черт пускаться в эти бесполезные путешествия? А впрочем, от смерти все равно не уйдешь. Не здесь — так в другом месте. Я мог попасть под грузовик на окраине Парижа, погибнуть от болезни или шальной пули... Словом — будь, что будет».

Не подумайте, что я рисуюсь своим смирением перед судьбой. Просто надежда на спасение так живуча в людях, что, несмотря на очевидную опасность, я не мог поверить в неминуемость нашей гибели. Разум твердил мне, что мы обречены, тело этому не верило. Подполковник подошел к пилоту и стал вместе с ним пристально вглядываться в желтеющий океан. Я видел, как он протянул руку. Самолет лег на крыло. Подполковник обернулся к нам, и его лицо, до этого мгновения совершенно бесстрастное, теперь просияло.

— Островок, — сказал он.

— На нем довольно места для посадки? — спросил губернатор.

— Пожалуй...

И спустя несколько мгновений подтвердил:

— Да, безусловно... Идите на посадку, Боэк.

Через пять минут мы сели на песчаную отмель — по-видимому, все, что осталось от дельты, — и пилот так ловко сманеврировал, а может, ему просто повезло, что самолет застрял, вклинившись между двумя пальмами, и это защищало его от ударов ветра. А ветер бушевал с такой силой, что выйти из самолета было невозможно. Да и зачем? Куда идти? Справа и слева сотня метров мокрого песка, впереди и позади океан. Нам удалось лишь отсрочить гибель, отвратить ее полностью могло только чудо.

В этом почти безвыходном положении я был восхищен самообладанием нашей спутницы. Она держалась не только мужественно, но спокойно и весело.

— Кто хочет есть? — спросила она. — Я захватила с собой сэндвичи и фрукты.

Пилот, который вышел к нам из своей кабины, заметил, что продукты лучше побережь, потому что одному Богу известно, когда и как мы отсюда выберемся. Он еще раз попытался сообщить по радио о нашем местонахождении, но не получил никакого ответа. Я взглянул на часы. Было одиннадцать утра.

К полудню ветер немного утих. Наши пальмы держались молодцом. Губернатор задремал. Меня тоже клонило в сон от усталости. Я закрыл глаза, но сразу же невольно открыл их от странного ощущения, будто меня обдало вдруг жаркой волной. И тут я перехватил взгляд, которым обменялись подполковник и Жизель, стоявшие в нескольких метрах друг от друга. В выражении их лиц была такая нежность, такое самозабвение, что сомнений не оставалось: они были любовниками. Это подозрение мелькнуло у меня еще накануне вечером, сам не знаю почему, — держались они безупречно. Я вновь поспешил закрыть глаза, усталость одолела меня, и я уснул.

Меня разбудил шквальный порыв ветра, с чудовищной силой рванувший самолет. Мне показалось, что наша шаткая опора не выдержала.

— Что происходит? — спросил я.

— Ураган усилился, и вода прибывает, — сказал пи-

лот не без горечи.— На этот раз надежды нет, мсье. Через час море затопит отмель, а с нею... и нас.

Он укоризненно, а может быть, даже и озлобленно, взглянул на губернатора и добавил:

— Я бретонец и верю в Бога... Я буду молиться.

Накануне Дюга рассказывал мне, что губернатор, антиклерикал в силу политической традиции, тем не менее покровительствовал миссионерам, оказывавшим ему большие услуги. Теперь на лице Буссара не выразилось ни намерения помешать пилоту, ни желания последовать его примеру. В эту минуту раздался треск: порыв ветра расщепил пальму, росшую слева. Наши минуты были сочтены. И вот тут-то Жизель без кровинки в лице в каком-то безотчетном порыве страсти бросилась к молодому подполковнику:

— Раз мы обречены,— сказала она,— я хочу умереть в твоих объятиях.

И, повернувшись к мужу, добавила:

— Простите меня, Эрик... Я старалась, как могла, убедить вас от этого горя до тех пор, пока... Но теперь все кончено и для меня, и для вас... Я больше не в силах лгать.

Подполковник встал, дрожа как лист, и пытался отстранить от себя обезумевшую женщину.

— Господин губернатор...— начал он.

Вой урагана помешал мне расслышать конец фразы. Сидя в двух шагах от Жизели и подполковника, губернатор как замороженный не сводил глаз с этой пары. Губы его тряслись, но я не мог понять, говорит ли он что-то или безуспешно пытается овладеть голосом. Он побледнел так сильно, что я испугался, как бы он не лишился чувств. Самолет, который теперь удерживало на земле только одно крыло, застрявшее в ветвях правой пальмы, трепыхался на ветру, точно полотнище знамени. Мне следовало бы думать о смертельной опасности, которая нависла над нами, об Изабелле, о близких, но все мои мысли были поглощены спектаклем, разыгрывавшимся на моих глазах.

Впереди — коленопреклоненный пилот, повернувшись спиной к остальным участникам этой сцены, бормотал молитвы. Подполковник — сердце которого, как видно, разрывалось между любовью, повелевавшей ему заключить в объятия молящую женщину, и мучительной боязнью унижить начальника, которого он, несомненно,

почитал. Что до меня, то, съездившись в кресле, чтобы предохранить себя от толчков, я старался сделаться совсем незаметным и как можно меньше стеснять трех участников этой драмы. Впрочем, я думаю, они просто забыли о моем присутствии.

Наконец губернатору удалось, цепляясь за кресла, приблизиться к жене. В этой страшной катастрофе, в которой разом гибли и жизнь его и счастье, он сохранял удивительное достоинство. Ни тени гнева не было в его прекрасных чертах, только в глазах стояли слезы. Очувтившись рядом с женой, он оперся на меня и с надрывавшей душу нежностью произнес:

— Я ничего не знал, Жизель, ничего... Идите ко мне, Жизель, сядьте со мной... Прошу вас... Приказываю вам.

Но она, обвив руками подполковника, пыталась привлечь его к себе.

— Любимый,— говорила она.— Любимый, зачем ты противишься? Ведь все кончено... Я хочу умереть в твоих объятиях... Любимый, неужели ты принесешь наши последние минуты в жертву щепетильности?.. Ведь я слушалась тебя, пока было необходимо, ты сам знаешь... Ты уважал Эрика, любил его... И я тоже... Да, Эрик, это правда, я любила тебя!.. Но раз мы умрем...

Кусочек металла, сорвавшийся откуда-то при особенно сильном толчке, ударил Жизель в лицо. Тоненькая струйка крови потекла по ее щеке.

— «Надо соблюдать приличия!» — с горечью сказала она.— Сколько раз ты повторял мне эти слова, любимый... И мы героически соблюдали приличия... Ну, а теперь? Теперь речь идет не о приличиях, а о наших последних, коротких минутах...

И глухим шепотом добавила:

— Оставь же! Мы вот-вот умрем, а ты стоишь навтытяжку перед призраком!

Губернатор вынул платок, склонился к жене и ловким, ласковым движением отер окровавленную щеку. Потом посмотрел на подполковника с печальной решимостью, но без укора. Мне казалось, что я прочитал в его взгляде: «Обнимите же эту несчастную... Я уже не способен страдать...» А тот, потрясенный, казалось, так же беззвучно отвечал: «Нет, не могу. Я слишком уважаю вас. Простите». Мне чудилось, что передо мной Тристан и король Марк. Я никогда не был свидетелем такой па-

тетической сцены. Ни звука, кроме воя ветра и неясного бормотания — молитвы пилота; а в иллюминатор видно было только свинцово-серое небо, вереницы клочковатых белесых облаков, а если глянуть вниз — желтые, все прибывающие волны.

Потом на мгновение ветер стих, и женщине, цеплявшейся за мундир офицера, удалось приподняться. С каким-то отчаянным вызовом она поцеловала его прямо в губы. Он еще несколько секунд пытался сопротивляться, но потом, уступив то ли жалости, то ли страсти, отвел наконец глаза от своего начальника и с жаром ответил на ее поцелуй. Губернатор побледнел еще больше, откинулся на спинку кресла и, казалось, потерял сознание. Инстинктивное чувство стыдливости побудило меня закрыть глаза.

Сколько времени прошло таким образом? Не знаю. Достоверно я помню лишь одно: спустя несколько минут, а может быть, часов, мне послышался в грохоте бури шум мотора. Неужели это галлюцинация? Я напряг слух и огляделся. Мои спутники тоже прислушивались. Подполковник и Жизель уже стояли поодаль друг от друга. Она сделала шаг к мужу, который приник к иллюминатору. Пилот, поднявшись с колен, шепотом спросил Буссара:

— Слышите, господин губернатор?

— Слышу. Это самолет?

— Пожалуй, нет, не похоже, — сказал пилот. — Это шум мотора, но более слабый.

— Так что же это? — спросил подполковник. — Я ничего не вижу.

— Может быть, дозорное судно?

— Как они могли узнать, что мы здесь?

— Не знаю, господин подполковник, но шум все слышнее. Они приближаются. Шум идет с востока, стало быть — со стороны берега... Глядите, господин подполковник, там серая точка, там — на волнах! Так и есть, это катер!

И он истерически расхохотался.

— Господи! — выдохнула Жизель, сделав еще один шаг к мужу.

Прильнув лицом к иллюминатору, я теперь совершенно явственно различал катер, направлявшийся к нам. С трудом преодолевая бушующую стихию, он то и дело

исчезал среди вздымающихся волн, но все-таки неуклонно двигался к островку. Четверть часа понадобилось морякам, чтобы добраться до нас, и это время показалось нам вечностью. Наконец, приблизившись, они зацепились багром за пальму, но им далеко не сразу удалось переправить нас на корабль. Самолет содрогался под порывами ветра, поэтому каждое движение было чревато опасностью. Да и катер швыряло на волнах, точно щепку. Наконец летчик сумел открыть дверь кабины и выкинуть веревочную лестницу, конец которой подхватили матросы. Я и по сей день не пойму, как это нам всем пятерым посчастливилось переправиться на катер и никто не свалился в море.

Облачившись в непромокаемые плащи, мы с борта катера глядели на наш самолет и задним числом холодели от ужаса. Для того, кто видел его со стороны, было совершенно ясно, что это чудо эквилибристики не могло продолжаться долго. Жизель с удивительным хладнокровием пыталась привести в порядок свою прическу. Гардемарин, командовавший маленьким судном, рассказал нам, что сторожевой катер видел, как мы приземлились, и с самого утра нам пытались прийти на помощь. Но разбушевавшееся море трижды заставляло наших спасителей отступить. На четвертый раз они добились успеха. Матросы сообщили также, что наводнение причинило громадный ущерб прибрежным селам и порту Батока.

В порту нас встретил представитель местной администрации. Это был молодой чиновник колониального управления, несколько растерявшийся от множества проблем, возникших перед ним из-за стихийного бедствия. Но с той минуты, как губернатор Буссар ступил на сушу, он вновь стал «патроном». Отданные им распоряжения обличали в нем прекрасного организатора. Чтобы бросить войска на спасательные работы, ему нужно было содействие подполковника Анжелини, и я был поражен поведением обоих мужчин. Глядя, как они энергично делают общее дело, никто не заподозрил бы, что один из них оскорблен, а другого терзают угрызения совести. Мадам Буссар отвели в дом местного администратора, где молодая хозяйка напоила ее чаем и дала свой плащ, после чего Жизель немедленно выразила желание принять участие в помощи пострадавшим и занялась ранеными и детьми.

— А открытие памятника, господин губернатор? — напомнил чиновник.

— Мы займемся мертвыми, когда обеспечим безопасность живых, — сказал губернатор.

О моей лекции, разумеется, не могло быть и речи. Я чувствовал, что участники этой маленькой драмы рады поскорее сплавить меня отсюда. Решено было, что в следующий пункт я отправлюсь поездом. Я зашел проститься к мадам Буссар.

— Какое ужасное воспоминание вы сохраните о нас! — сказала она.

Но я не понял, что она имеет в виду: наш страшный перелет или любовную трагедию.

* * *

— И вы их больше не встречали? — спросила Клер Менетрие.

— А вот послушайте, — ответил Бертран Шмит... — Через два года, в 1940 году, я был призван как офицер, и на фландрском фронте в штабе генерала одной колониальной дивизии встретил Дюга, уже в капитанском чине. Он вспомнил о нашем ужасном путешествии.

— Вы дешево отделались, — сказал он. — Летчик рассказал мне все подробности... Он рвал и метал, негодуя на патрона, которого перед вылетом предупреждал об опасности.

После минутной неловкой заминки Дюга добавил:

— Скажите, дорогой мэтр, что такое стряслось во время полета? Мне никто ничего не сказал, но над губернатором, его женой и подполковником Анжелини с момента возвращения нависла тень какой-то драмы... Не знаю, известно ли вам, что подполковник в скором времени подал прошение о переводе и оно было удовлетворено? И что самое странное — губернатор энергично поддержал его просьбу.

— Что ж тут странного?

— Как вам сказать... Губернатор очень ценил Анжелини... А потом я думал, что кое-кто будет удерживать подполковника.

— Кое-кто?.. Вы имеете в виду Жизель?

Дюга испытующе посмотрел на меня:

— Представьте, она усерднее всех хлопотала о его переводе.

— Что же случилось с Анжелини?

— Получил полковника, как и следовало ожидать. Командует танковым соединением.

Наступили дни поражения. Потом пять лет борьбы, страданий и надежд. А потом на наших глазах Париж мало-помалу стал возрождаться к своей прежней жизни. В начале 1947 года Элен де Тианж как-то спросила меня:

— Хотите познакомиться с четой Буссар? Они сегодня завтракают у меня. Говорят, его назначают генеральным резидентом в Индокитай... Это редкий человек, может быть, несколько холодный, но очень образованный. Представьте, в прошлом году он выпустил под псевдонимом томик своих стихов... А жена у него красавица.

— Я с ней знаком,— заметил я.— Незадолго до войны мне пришлось как-то остановиться в их доме, когда Буссар был губернатором в Черной Африке. Я бы очень хотел повидать их.

Я не был уверен, что Буссаров обрадует встреча со мной. Ведь я был единственным свидетелем того, что, безусловно, составляло трагедию их жизни. Однако любопытство пересилило, и я принял приглашение.

Неужели я так сильно изменился за время войны и всех ее невзгод? Буссары сначала меня не узнали. Я направился прямо к ним, но так как они глядели на хозяйку дома с вежливым недоумением, как бы прося объяснений, она назвала мою фамилию. Замкнутое лицо губернатора просияло, жена его улыбнулась.

— Как же,— сказала она.— Вы ведь приезжали к нам в Африку?

За столом она оказалась моей соседкой. Точно ступая по льду, я осторожно прокладывал себе дорогу среди ее воспоминаний. Видя, что она охотно и безмятежно поддерживает разговор, я отважился напомнить ей наш полет во время урагана.

— Ах, правда,— сказала она.— Вы ведь тоже участвовали в этой безумной экспедиции... Ну и приключение! Чудо, что мы уцелели.

Она на мгновение умолкла, потому что ей подали очередное блюдо, а потом продолжала самым естественным тоном:

— Стало быть, вы должны помнить Анжелини... Вы знаете, что он, бедняжка, убит?

— Нет, я не знал... В эту войну?

— Да, в Италии... Он командовал дивизией под Монте Кассино и не вернулся с поля боя... Очень жаль; ему пророчили блестящее будущее. Мой муж его очень ценил...

Я озадаченно глядел на нее, гадая, понимает ли она, в какое изумление повергли меня ее последние слова. Но вид у нее был самый невинный, держалась она непринужденно и казалась опечаленной ровно настолько, насколько это принято, когда говоришь о смерти постороннего человека. И тогда я понял, что маска была водворена на место и так прочно приросла к лицу, что стала второй кожей. Жизель забыла, что я все знал.

LOVE IN EXILE¹

Оказавшись в Америке, французский писатель Бертран Шмит не писал ничего, кроме воспоминаний и работ по истории. Его жене, Изабелле, это не нравилось:

— Лучше бы ты, как раньше, писал романы и рассказы. Политическая обстановка меняется, государства ссорятся и мирятся, сейчас никому нет дела до греческих воинов или Наполеона III, а вот Навсикая и Пышка бессмертны...

— Да, конечно, — отвечал Бертран. — Но где ты видела в Нью-Йорке, в 1944 году, Навсикай и Пышек?

— Да на каждом шагу, — сказала Изабелла. — Возьми хотя бы Соланж Вилье с ее послом. Чем не сюжет для романа?

— Для романа? — удивился Бертран. — По-моему, ты не права, для романа тут материала маловато, а вот рассказ бы вышел отличный. Особенно, если бы за дело взялся Сомерсет Моэм или Мопассан.

— А почему не ты?

— Потому что я не могу... Соланж узнает себя и обидится — и у нее будут для этого основания... Да и вообще я считаю, что французы, живущие в изгнании, должны поддерживать друг друга, а не грызться.

— Придумай что-нибудь. Преврати посла в полковника; измени место действия; сделай американского фаб-

¹ Любовь в Изгнании (англ.).

риканта аргентинским скотопромышленником. Это ведь для тебя пустяк.

— Не такой уж пустяк, как ты думаешь, Изабелла... За двадцать лет, что мы с тобой женаты, ты могла бы понять, что я хорошо пишу только с натуры. Легко сказать: измени место действия. Ведь тогда куча вещей сразу сделается неправдоподобной... Да и вообще, что я знаю о характере аргентинских скотопромышленников, о том, как они разговаривают, что любят?.. Ровным счетом ничего!.. Вот у меня ничего и не выйдет.

— Ну так опиши все как было, выведи и посла и фабриканта из Питсбурга.

— Повторяю тебе: это невозможно. Соланж узнает себя и обидится.

— Не думаю.

— Значит, ты считаешь, что она не обидится, если я, ее друг, разнесу по всему свету скандальную историю, известную всему Нью-Йорку?

— Уверена, что не обидится.

— Ты иногда бываешь поразительно упряма.

— Ничего подобного. Просто я знаю женщин, а ты, Бертран, по-прежнему заблуждаешься на их счет, как все мужчины... А уж Соланж-то я знаю лучше многих других. Твоя прелестная приятельница больше всего на свете боится не скандала, а безвестности... О ней будут злословить? Какая разница, лишь бы о ней говорили... К тому же, кто тебе велит осуждать ее? Сделай ее положительной героиней.

— Не могу. Вся соль этой истории в контрасте между наивностью посла с его романтическими представлениями о любви и дерзким цинизмом нашей Соланж.

— Верно, но ведь цинизм еще не худший недостаток. Лицемерие в сто раз хуже. Изобрази Соланж женщиной энергичной, жестокой, чуть презрительной, для которой мужчины — не более чем пешки. Она будет в восторге.

— Она будет в ужасе!

— Давай проверим.

— Изабелла, не будь такой назойливой.

— Бертран, не будь таким трусом.

— Я вовсе не трус. Но я не хочу терять друга. Соланж мне дороже рассказа. Послушай, Изабелла, я предлагаю тебе компромиссное решение. Я напишу этот рассказ...

— Слава Богу!

— Постой. Я напишу его, но прежде чем печатать, покажу его Соланж, не говоря о том, что речь идет о ней,— как будто мне просто интересно узнать ее мнение. И посмотрю, что она скажет.

— Милый Бертран!

— Что значит «милый Бертран»?

— Это значит, что ты — прелесть; ты совершенно не умеешь хитрить. Ведь все это шито белыми нитками: «Не говори о том, что речь идет о ней». Как, интересно, она сможет себя не узнать, если ты ничего не изменишь?

— Она узнает себя, но у нее будет возможность не признаваться в этом. Если она скажет: «Я не в восторге. Это не лучший твой рассказ»,— все станет ясно.

— Милый Бертран!

— Изабелла, не выводи меня из терпения!

— Молчу, молчу. Работай спокойно.

У Изабеллы Шмит был большой опыт, и она знала, что убедить мужа сесть за рассказ или роман нелегко. Всякая тема вызывала возражения нравственного, сентиментального, семейного или национального порядка. Но только до тех пор, пока художник, воспарив над повседневностью, не одерживал победу над моралистом, другом, родственником и гражданином. Тогда Бертран полностью погружался в работу и забывал обо всем, кроме своих персонажей. С этого счастливого момента он, казалось, впадал в какой-то транс. Возможно, все дело было в том, что сначала он долго колебался и не спешил приступать к работе; за это время сюжет успевавал созреть в его уме, и когда он наконец сел за письменный стол, рассказ ложился на бумагу с удивительной быстротой, словно сам собой. Так случилось и на этот раз. Бертран написал рассказ в три дня.

— Ну как, ты доволен?

— Не совсем. Но в общем доволен. Шесть тысяч слов — это немало. Фабрикант из Питсбурга вышел неплохо. Никогда не думал, что смогу так похоже изобразить американца. Характер героини только намечен, но она мила. Не знаю, конечно, что скажет здешняя публика... Французам бы, наверно, понравилось.

— Ты все еще собираешься показать рассказ Соланж?

— Да надо бы. Сознаться тебе, теперь, когда он уже написан, мне было бы обидно его не напечатать. Но и надеюсь, что Соланж не станет возражать. Против ожи-

даний, я многое изменил — даже не думал, что это будет так легко.

— Тогда я сейчас же звоню в «Отель Пьер» и спрашиваю у Соланж, когда она сможет тебя принять?

— Постой. К чему такая спешка?

— К тому, что я знаю: если тебе дать волю, ты найдешь тысячу причин, чтобы отложить испытание... Никогда не следует откладывать вещи неприятные, но необходимые. Отнесись к этому визиту, как к посещению зубного врача или операции.

— Вполне безболезненной.

— Ты в этом уверен?

В тот же день в пять часов вечера Бертран Шмит вошел в квартиру Соланж Вилье на тридцать третьем этаже «Отель Пьер». Он был уверен, что она встретит его полулежа на диване. Так и оказалось. Соланж и вдали от родины оставалась верна своей парижской тактике и по-прежнему скрывала твердость характера за небрежностью поз. Зная, что ноги у нее безупречны, она охотно позволяла гостям любоваться ими. Рядом с ней на норковом покрывале лежала книга Бертрана. Она протянула гостю маленькую ручку с тщательно отполированными коготками.

— Как это мило с твоей стороны, Бертран!.. Я была так рада — и чуть-чуть удивлена, — когда Изабелла мне позвонила... Твоя супруга не балует меня своим вниманием. Да! сильно я, должно быть, сдала, дорогой мой Бертран, раз Изабелла сама посылает тебя ко мне! Или...

— Или что, Соланж?

— Да так...

И она улыбнулась, еле заметно подмигнув Бертрану. Он вздохнул, открыл кожаную папку и достал рукопись. Соланж засмеялась.

— Ты помнишь те времена в Париже, — сказал Бертран, — когда я не выпускал ни одного романа, не прочтя его сначала тебе? Ты была так добра, что утверждала, будто эти «вернисажи» тебя забавляют, а я всегда был уверен, что получу хороший совет.

— Не смейся надо мной, миленький мой Бертран. Какие советы я могу дать писателю твоего уровня?!

— Не напрашивайся на комплименты, Соланж! Ты прекрасно знаешь, что о женщинах, их ощущениях и мыслях тебе известно больше, чем всем моралистам в мире. Ты, ты одна была для меня тем, чем были для

Бальзака г-жа де Берни, г-жа де Кастри и герцогиня д'Абрантес. Благодаря тебе...

— Бертран! Бертран! Что сказала бы Изабелла?

— Изабелла сказала бы, что я прав. Я и ей многим обязан. Но есть тип женщин, который выше ее понимания, и ей это прекрасно известно.

— Ну спасибо тебе, Бертран! Ты хочешь сказать, что чистая и невинная Изабелла даже понятия не имеет о распутницах вроде меня?.. Между прочим, я могла бы и обидеться на такое невежливое обхождение... Ладно, ладно, не проси прощения, я же шучу. Одним словом, ты пришел, чтобы прочесть мне роман?

— Нет, всего лишь рассказ.

— Как это замечательно, Бертран! Я сразу вспомнила добрые старые времена, улицу Эйлау, мой уютный кабинет. Ты уже тысячу лет не оказывал мне такой чести.

— Да ведь я здесь писал одни политические статьи.

— Ну да? А эта восхитительная история в «Атлантик Мансли»? Разве это не рассказ?.. А другая, похуже, которую ты напечатал в «Текст Эропеен»?.. Скажи лучше правду, миленький мой Бертран, тебе не терпится прочесть мне этот рассказ, потому что я — его героиня, и ты хочешь узнать, не стану ли я возражать против его публикации?.. Я угадала?

— Нет. Я в самом деле хочу прочесть тебе этот рассказ, потому что его героиня иногда попадает в ситуации, которые могли бы напомнить... я хочу сказать, ситуации, в чем-то похожие на те... но сами персонажи не имеют ничего общего ни с тобой, ни с теми...

— Ну-ну! Смелее, Бертран!.. Ты хочешь сказать: с моими любовниками?.. Ну тогда так и скажи.

— Позволь мне закончить фразу: ни с теми, кого считают таковыми.

— Изабелла добавила бы, что нет дыма без огня. Что было бы банально, но точно. Быть монахиней — не мое призвание. Я тебя слушаю, миленький мой Бертран. Впрочем, постой: дай мне сначала сигарету и пепельницу. Спасибо. Теперь можешь начинать.

Бертран прочел свой рассказ с карандашом в руках, отмечая на полях слова, утяжелявшие фразу или звучащие неестественно. Он любил проверять написанное чтением вслух, которое всегда безошибочно выявляет все шероховатости стиля. Иногда он поднимал глаза на

Соланж. Она сидела смиренно и слушала с большим интересом. Чтение длилось сорок минут, и за все это время Соланж ни разу не прервала Бертрана. Когда он кончил и с деланной небрежностью убрал листки в папку, она засмеялась, а потом о чем-то задумалась.

— Ну как? — спросил он не без тревоги. — Тебе не понравилось?

— Мне? — сказала она. — Совсем наоборот. С чего ты взял?

— С того, что ты молчишь.

— А тебе, честолюбивый ты человек, подавай комплименты!.. Я молчу, миленький мой Бертран, потому что онемела от восторга.

— Не издевайся надо мной, Соланж. Хорош рассказ или плох?

— Бертран, он замечателен... замечателен... И я в нем точь-в-точь такая, какой тебе описывает меня Изабелла со свойственной ей нежной снисходительностью. Только...

— Только что?

— Только вся загвоздка в том, что твоя разумная дева не очень-то сильна в тех методах, которыми пользуемся мы, девы неразумные. Твоя версия моих «побед» немного наивна. По-твоему, все дело в чувствах. Поверь мне, решительная женщина имеет в запасе более действенные средства.

— Например?

— Например, можно вечером как бы случайно оказаться в чужой постели... Или надеть платье, у которого одна бретелька все время соскальзывает с плеча... или притвориться ночью в такси чуть-чуть захмелевшей. Не бойся хотя бы изредка вспоминать о том, что твои герои — люди из плоти и крови, Бертран. Я понимаю, ты специалист по душевным переживаниям. Но знаешь, душа без тела далеко не уедет..

— Но вспомни Стендаля, Соланж. Никто не писал таких прекрасных романов о любви, как он. А ведь в них чувственность не играет почти никакой роли.

— Потому-то, наверно, я и умираю от скуки, когда берусь за него!.. Я знаю, тебе это покажется кощунством, но что я могу поделать: по-моему, твой Стендаль — тоска зеленая. Кстати, он случайно не был импотентом? Что-то я, кажется, читала насчет каких-то неудач... К тому же ведь у тебя в рассказе действует не стенда-

левская героиня. Ты пишешь обо мне, Соланж Вилье. Так не лишай же меня моего надежнейшего оружия. И потом, Бертран, зачем ты превратил посла в полковника? С точки зрения социальной иерархии это принижает меня, а с точки зрения литературной — это ошибка, потому что ты подметил многие черты посла, описал их и в результате у тебя вышел солдат, говорящий языком дипломата. Это никуда не годится. То же самое и с Берчем. Зачем делать его адвокатом, когда он производит сталь? Всякий догадливый читатель и здесь сразу поймает тебя с поличным.

— Ты умница, Соланж. Ни один профессиональный литератор не сумел бы лучше тебя подметить слабости этого рассказа. Но если я что-то изменил, то только из-за тебя. Ты же понимаешь, что если бы портреты посла и фабриканта вышли слишком похожими, весь Нью-Йорк сразу понял бы, что речь идет о тебе. А я старался этого избежать.

— Отчего же, Бертран?

— Отчего? Ясное дело, оттого, что я к тебе хорошо отношусь. Я хотел избавить тебя от неприятностей.

— Каких неприятностей!.. Мне смешно тебя слушать!.. Ты, может быть, думаешь, что я стыжусь своих поступков? Ничего подобного. Да пусть хоть весь мир знает, что я была любовницей посла, и Берча, и Боба Лебретона.

— Весь мир и так об этом знает.

— Тогда почему не сказать об этом прямо? Если тебе так необходимо выводить меня в твоих книгах — а ты, похоже, никак не можешь без этого обойтись, дорогой мой, потому что я уже три раза появлялась в них под разными именами, — то дай мне по крайней мере возможность нравиться читателям. Не лишай меня моего оружия. Кстати, когда ты в хорошем настроении, ты утверждаешь, что я умею создавать вокруг себя особую атмосферу, где бы я ни находилась. И, пожалуй, это довольно верно. В таком случае, почему я не вижу этой атмосферы в твоём рассказе?.. Почему ты её искажаешь?.. Понимаешь, мне не хватает в твоём рассказе моего норкового покрывала, моего лорнета, фотографии Пруста на моем столике, твоей книги с такой милой надписью.

— Короче говоря, Соланж, ты хочешь, чтобы я во всеуслышание объявил, что эта история — чистая правда и что случилась она именно с тобой?

— Ох уж эти романисты! — отвечала Соланж. — Ничего-то от них не скроешь. Они читают самые сокровенные наши мысли.

Когда Бертран Шмит вернулся домой, Изабелла, с нетерпением ожидавшая его, спросила:

— Ну как? Что сказала модель?

— Модель потребовала значительных исправлений.

— В самом деле? Каких же?

— Увидишь. Не люблю говорить о таких вещах, пока они не написаны. Это меня сковывает.

Он трудился целую неделю, дописывал, вычеркивал, колдовал над текстом и наконец доставил в «Отель Пьер» новую рукопись. Через два дня у него зазвонил телефон: это была не Соланж Вилье, а Боб Лебретон.

— Дорогой маэстро, — сказал он, — вы меня почти не знаете, хотя у нас много общих друзей, тем не менее я хотел бы с вами поговорить. Да, как можно скорее. Это очень важно, дело касается нашей доброй знакомой, госпожи Вилье.

— Госпожа Вилье поручила вам переговорить со мной?

— Нет, что вы. Госпожа Вилье ничего не знает о моем звонке. Я сам... В общем, я вам все объясню... Когда бы вы могли принять меня?

— Когда вам угодно. Если вы свободны, то хоть сейчас.

— Я сажусь в машину и лечу к вам.

Французский инженер Робер Лебретон, которого англоманка Соланж перекрестила в Боба, работал перед войной у Жака Вилье и постепенно стал его правой рукой во всех делах. Когда Вилье в июне 1940 года, после заключения перемирия, решил отправиться в Соединенные Штаты, Лебретон последовал за ним, и они вместе наладили в Рочестере крупное производство оптических приборов. Как и почему инженер Лебретон стал не только помощником мужа, но и любовником жены? Этого Бертран не знал. Лебретон был мужествен и не дурен собой, однако он уже начинал полнеть, а во рту у него виднелся сломанный зуб, сильно портивший его внешность. «Может, ее соблазнило удобство ситуации? — размышлял Бертран. — Он всегда под рукой... А может, он информирует ее о делах мужа; она любит быть в курсе всех новостей — на всякий случай».

В дверь позвонили. Бертран пошел открывать.

— Как вы быстро... — сказал он Лебретону.

— У меня на утро намечена масса дел. А после обеда я непременно должен отправиться в Вашингтон. Но мне необходимо было повидаться с вами.

— Присаживайтесь... Хотите сигарету?

— Нет, спасибо... Господин Шмит, вы можете подумать, что я вмешиваюсь не в свое дело, но речь идет о спокойствии человека, который мне дороже всего на свете. Я имею в виду Жака Вилье.

— Жака Вилье? — удивленно переспросил Бертран, непроизвольно сделав ударение на слове Жак.

— Да, Жака Вилье... Вы удивлены, дорогой маэстро?.. Вы, может быть, не знаете, что Жак Вилье — не только мой патрон.

«Ну да, он еще и муж твоей любовницы, — подумал Бертран. — Это ведь в самом деле что-то вроде свойства».

Собеседник его тем временем продолжал:

— Он мой друг. Он — человек, который воспитал меня и которому я обязан всем. Должен вам сказать, что под его грубоватой внешностью скрывается ранимое сердце. Это такой чувствительный человек! Вы даже представить себе не можете, как много он делает для рабочих — без всякого шума, не ради саморекламы. Одним словом, я готов на все, лишь бы оградить его от неприятностей. Вчера вечером я зашел к Вилье. Дома была только госпожа Вилье — Жак, оказывается, уехал в Вашингтон, ему нужно повидать кое-кого из Пентагона. Так вот, она дала мне прочесть ваш рассказ — рукопись, которую вы ей оставили. Позвольте мне признаться, что рассказ этот меня неприятно поразил.

— В самом деле? — спросил Бертран, которому было и забавно, и немного досадно это слышать. — Чем же?

— Тем, что он до неприличия прозрачен; тем, что читатель не может не узнать в героях чету Вилье; тем, что, опубликовав его, вы доставите ненужные огорчения моему лучшему другу. Прошу прощения, дорогой маэстро, но не находите ли вы, что с вашей стороны некрасиво — да, я не побоюсь этого слова, некрасиво наделять мужа вашей героини обликом и характером Вилье, вкладывать ему в уста любимые выражения Жака? Измените хотя бы то, что можно изменить без труда. Вилье

высокого роста — сделайте мужа из рассказа коротышкой. Вилье худощав — опишите толстяка... Вилье носит очки — замените их моноклем... Вилье промышленник — выведите судовладельца или химика... Соланж блондинка — превратите ее в брюнетку или шатенку... Одним словом, сделайте что хотите, на то вы и писатель, чтобы пустить в ход воображение и сбить недоброжелателей со следа.

— Простите меня, — сказал Бертран, — но я вынужден повторить свой вопрос: вас послала ко мне Соланж?

— Нет, что вы!.. Я уже говорил: госпожа Вилье не знает, что я здесь.

— Значит, она не в обиде на меня за то, что я описал все, как было?

Лебретон неуверенно произнес:

— Ну... По правде говоря, нет: она не понимает, как опасна эта публикация... Даже странно, ведь она такая умная женщина. Впрочем, женщинам всегда не хватает чуткости. Она не отдает себе отчета. Но я, самый близкий друг Вилье, можно даже сказать — его брат, прошу вас — нет, не отказаться от публикации вашего произведения... но немного изменить его... Я обращаюсь к вам не только как к писателю, но и как к порядочному человеку, как к другу семьи Вилье.

— Я попробую, — обещал Бертран.

За обедом он рассказал об этом разговоре Изабелле и добавил:

— Слушая его, я все время думал о том, что нежная забота о Вилье вылилась на деле в роман с Соланж и что этот человек, так ревниво оберегающий честь своего друга, не побоялся самолично посягнуть на нее... Но я, разумеется, оставил свои умозаключения при себе.

— И ты выполнишь его просьбу?

— Поправлю кое-какие мелочи.

— Зачем? Какое тебе дело до Лебретона?

— До Лебретона мне нет никакого дела, но в одном он прав — портрет мужа вышел слишком натуралистичным. Я над ним еще поработаю.

— Держу пари, что Соланж будет против.

— Соланж? Почему?

Но Изабелла Шмит знала натуру Соланж Вилье, как свои пять пальцев, — когда Бертран прочел своей прия-

тельнице новый вариант рассказа, где Вилье стал неузнаваем, та бурно запротестовала:

— Откуда вдруг такая осторожность, Бертран? Зачем ты мне подсовываешь чужого мужа? Жирный, пузатый, с моноклем, и разговаривает, как мастеровой... Да я в жизни не вышла бы за такого!.. Кому, интересно, ты хотел сделать приятное, преобразив его до неузнаваемости? Жаку? Но Жаку наплевать на то, что о нем говорят. Ты думаешь, он заблуждается насчет моей супружеской верности? Не говоря уже о том, что Жаку и в голову не придет читать твои рассказы. Жак интересуется заводами, конкурентами, своим положением в обществе. Я ему нужна, я помогаю ему вести игру; большего он с меня и не требует. Мой муж никогда не читает романов; у него на столе лежат книги по физике и химии, да еще труды по экономике — всякие прогнозы насчет того, каким станет мир после войны. Верни мне моего мужа, Бертран, или запри свой рассказ в ящике письменного стола.

Три месяца спустя рассказ под названием «Love in Exile» появился в журнале, на пестрой обложке которого красовался Эрот в цепях. Уступив требованиям Соланж, Бертран убрал все изменения, сделанные по просьбе Лебретона.

Через несколько дней Соланж пригласила Бертрана и Изабеллу на коктейль. Тут были французы и американцы: банкиры, офицеры, адвокаты, художники. Лебретон предлагал гостям бутерброды с икрой и семгой. На столике посреди гостиной, на самом видном месте лежал журнал с рассказом Бертрана. Время от времени Соланж демонстрировала его какому-нибудь важному гостю:

— Вы читали «Love in Exile» Бертрана Шмита?.. Нет?.. Но этот рассказ необходимо прочесть, он прекрасен! Мы с Бертраном старые друзья, и он, сама не знаю почему, вставляет меня во все свои книги. Вы с ним не знакомы? Вон он — сидит на синем диване и разговаривает с моим мужем. Нет, он некрасив, с чего ему быть красивым? Но рассказ его вы обязательно прочтите; вы ведь меня хорошо знаете, и получите большое удовольствие. Хотите, я вам подарю журнал?.. Нет, нет, дорогой мой, меня это ничуть не затруднит, я купила целых пятьдесят штук.

МИРРИНА

Творчеством Кристиана Менетрие восхищались лучшие писатели нашего поколения. Правда, было у него и немало врагов, отчасти потому, что где успех — там и враги, отчасти потому, что к Менетрие признание пришло поздно, и к этому времени его собратья по перу и критики уже привыкли видеть в нем поэта для избранных, который вызывает уважение, но не способен стать баловнем публики, а стало быть, восхищаться его произведениями было и благородно и безопасно. Начало карьеры Менетрие положила его жена Клер, женщина честолюбивая, пылкая и деятельная, убедившая в 1927 году композитора Жан-Франсуа Монтеля сочинить музыку к лирической драме мужа «Мерлин и Вивиана». Но окончательным превращением Кристиана в автора сценичных и не сходящих с подмостков пьес мы обязаны актеру Леону Лорану. История эта почти никому не известна и, на мой взгляд, заслуживает внимания, потому что проливает свет на некоторые малоизученные стороны творческого процесса.

Леон Лоран, сыгравший такую благотворную роль в возрождении французского театра между двумя войнами, на первый взгляд меньше всего напоминал «комедианта». Совершенно чуждый самовлюбленности, всегда готовый бескорыстно содействовать успеху любого шедевра, он в буквальном смысле слова был жрецом театрального искусства и при этом отличался редкой образованностью. Все, что он любил в искусстве, было действительно достойно любви, но мало этого: он знал и понимал самые сложные и непопулярные произведения. Создав свою собственную труппу, он не побоялся поставить эсхилловского «Прометея», «Вакханок» Еврипида и шекспировскую «Бурю». Его Просперо и Ариэль в исполнении Элен Мессьер запечатлелись в душе многих из нас среди самых возвышенных воспоминаний. Как актер и постановщик, Лоран вдохнул новую жизнь в произведения Мольера, Мюссе и Мариво в ту пору, когда погруженный в спячку театр Комеди Франсез еще только ждал появления Эдуарда Бурде, которому суждено было его пробудить. Наконец, среди наших современных писателей Лоран сумел найти тех, кто был достоин продолжать прекрасную традицию поэтического театра.

Французская драматургия обязана ему школой и целой плеядой авторов.

Я уже сказал, что с первого взгляда Лорана трудно было принять за актера. В самом деле — его интонация, манеры, речь скорее вызывали представление об учителе или о враче. Но такое впечатление сохранялось недолго. Стоило вам в течение пяти минут понаблюдать его игру на сцене, и вы тотчас убеждались, что перед вами — великий актер, наделенный поразительным даром перевоплощения и способный с равным успехом быть величавым Августом в «Цинне», трагикомическим Базилем в «Севильском цирюльнике» или потешать зрителей в роли аббата из комедии «Не надо биться об заклад».

Кристиан Менетрие восхищался Лораном, не пропускал ни одной премьеры с его участием, но, по всей вероятности, между писателем и актером никогда не завязалось бы личного знакомства, так как оба были застенчивы, не вмешайся в это дело Клер Менетрие. Клер разделяла восторженное отношение мужа к Леону Лорану; она мечтала, чтобы Кристиан писал для театра, и при этом прекрасно понимала, что толкнуть его на эту стезю может только по-настоящему культурный актер. Поэтому она решила во что бы то ни стало ввести Леона в круг их интимных друзей, и ей это удалось. Клер все еще была красавицей с матовой кожей и аквамаринными глазами, а Лоран никогда не мог устоять перед женской красотой. Вдобавок с той минуты, как знакомство состоялось, мужчины не могли наговориться о театре. У Кристиана было множество различных идей на этот счет, и большинство из них совпадало со взглядами знаменитого актера.

— Величайшее заблуждение реалистов, — говорил Кристиан, — в том, что они на сцене рабски копируют повседневную речь... А зритель как раз ищет в театре совсем другое... Нельзя забывать, что драма родилась из обряда, что шествия, выходы и хоры занимали в ней громадное место... Да и в комедии тоже... Нам твердят, что Мольер-де прислушивался к языку крючников Моста менял... Что же, возможно, пожалуй даже бесспорно, однако он прислушивался к этому языку, чтобы потом его стилизовать.

— Вы правы, — отвечал Леон Лоран. — Вы совершенно правы. Вот почему мне и хочется, Менетрие, чтобы вы писали для театра... Ваши лирические тирады, ваши

изысканные образы... Вопреки поверхностному впечатлению они великолепный материал для актеров. Возьмите же на себя роль скульптора. Мы оживим ваши статуи.

Лоран говорил короткими фразами, которым его прекрасный голос придавал глубокую выразительность.

— Да ведь я и так пишу для театра,— отвечал Кристиан.

— Нет, дорогой! Нет!.. Вы пишете поэмы-диалоги, это театр в кресле у камина, но вы ни разу не дерзнули предстать перед публикой.

— Мои пьесы не ставят.

— Скажите лучше, что вы никогда не стремились к тому, чтобы их ставили... Вы никогда не считались с законами сцены. А ведь без этого нет театра... Напишите пьесу для меня... Да, мой друг, лично для меня... Тогда вы увидите, что такое репетиция... А это лучшая школа... Понимаете, вы еще не избавились — на мой взгляд, это ваш единственный недостаток — от некоторой ходульности символизма... Так вот, стоит вам услышать ваш текст со сцены, и вы сами заметите все ваши промахи. Театральные подмости для драматурга — то же самое, что для оратора пластинка с записью его голоса. Он слышит свои недостатки и исправляет их.

— Вот эти самые слова я твержу Кристиану с утра до вечера,— сказала Клер.— Он создан для театра.

— Не знаю,— сказал Кристиан.

— Ну что вам стоит попробовать... Я вам повторяю: напишите пьесу для меня.

— На какой сюжет?

— Да их у вас сотни,— сказал Леон Лоран.— Боже мой, ведь каждый раз, как мы встречаемся, вы излагаете мне первый акт какой-нибудь пьесы, почти всегда блестящий. Сюжет! Да вам надо только сесть за стол и записать то, что вы мне уже рассказывали... И вообще это проще простого. Я с закрытыми глазами возьму любую пьесу, какую вы мне принесете.

Кристиан на мгновение задумался.

— Пожалуй, у меня есть одна идея,— сказал он.— Вы знаете, как меня сейчас волнует угроза войны, как я пытаюсь, к сожалению тщетно, привлечь внимание французов к откровенным планам безумцев, правящих Германией...

— Я читал ваши статьи в «Фигаро»,— сказал Леон

Лоран.— Они красноречивы и полезны. Но только, вы сами знаете, слишком современная пьеса...

— Да нет же, я вовсе не собираюсь предлагать вам пьесу из современной жизни. Я хотел бы перенести действие совсем в другую эпоху. Помните, как вели себя афиняне, когда Филипп Македонский требовал жизненного пространства и завоевывал одно за другим маленькие греческие государства? «Берегитесь,— твердил афинянам Демосфен.— Берегитесь! Если вы не придете на помощь Чехословакии, вам тоже не избежать гибели». Но афиняне были доверчивы, легкомысленны, а у Филиппа была пятая колонна... Демосфен потерпел поражение... А потом в один прекрасный день настал черед Афин... Это будет второй акт.

— Великолепно! — с увлечением воскликнул Леон Лоран.— Чудесно. Вот вам и сюжет! А теперь не откладывайте в долгий ящик и за работу!

— Погодите,— сказал Кристиан.— Мне надо еще кое-что перечитать. Но я уже представляю, каким вы будете блистательным Демосфеном. Ведь вы, конечно, возьмете роль Демосфена?

— Еще бы!

Восхищенная Клер до пяти часов утра упивалась их спорами о будущей пьесе. Когда Лоран и Менетрие расстались, основные сцены были уже намечены. Кристиан даже придумал финальную реплику. После множества перипетий внезапная смерть Филиппа кажется чудом, которое спасет Афины. Но Демосфен не верит ни в длительность чудес, ни в то, что афинян может спасти что-нибудь иное, кроме их собственной воли, мужества и стойкости. «Да,— говорит он,— я слышу... Филипп умер... Но как зовут сына Филиппа?» И чей-то голос отвечает: «Александр!»

— Превосходно! — воскликнул Леон Лоран.— Превосходно! Я уже представляю, как я это скажу... Менетрие! Если вы не закончите пьесу в течение месяца, вы недостойны театра.

Через месяц пьеса была завершена. Теперь мы знаем, что она оправдала все надежды Клер и Лорана. Но когда после читки пьесы в театре, ставшей подлинным триумфом автора, Лоран явился к нему, чтобы договориться о распределении ролей, сроках постановки и репетициях, вид у актера был озабоченный и смущенный. Кристиану, болезненно мнительному, как все художни-

ки, когда дело касается их творений, показалось, что Лоран не вполне удовлетворен.

— Нет,— сказал он жене после того, как Леон Лоран ушел.— Нет, что-то его не устраивает... Но что?.. Он мне не сказал... Ничего не сказал... Но что-то неуловимое... Я не стану утверждать, что пьеса ему не нравится... Наоборот, он опять говорил о своей роли и о сцене в ареопаге с увлечением, в искренности которого невозможно усомниться... Но у него какая-то задняя мысль... В чем дело... Не понимаю...

Клер улыбнулась.

— Кристиан,— сказала она.— Вы — великий писатель, и я от всей души восхищаюсь вами. Но вы трогательно наивны во всем, что касается самых простых человеческих отношений. Поверьте мне, даже не видя Лорана, я совершенно твердо знаю, что произошло.

— Что же?

— Вернее сказать — чего не произошло. Чего не хватает... А не хватает в вашей пьесе, дорогой, роли для Элен Мессьер... Признайтесь по справедливости, что я вас об этом предупреждала.

Кристиан раздраженно возразил.

— А какая тут могла быть роль для Мессьер? Она прелестная комедийная актриса, ей отлично удаются образы Мюссе и Мариво, но что ей, скажите на милость, делать в политической трагедии?

— Ах, любовь моя, вы смешиваете совершенно разные проблемы! Речь идет совсем не о том, что Элен будет делать в политической трагедии. Все гораздо проще — речь идет о том, что сделать, чтобы Леон Лоран жил в добром согласии со своей любовницей.

— Элен Мессьер — любовница Леона Лорана?

— Вы свалились с луны, дорогой? Они живут вместе вот уже четыре года.

— Откуда я мог это знать? И при чем здесь моя пьеса? Так вы думаете, что Лорану хочется...

— Я не думаю, Кристиан, я твердо знаю, что Лоран хочет и, если вы его к этому вынудите, потребует роли для Мессьер. Замечу, кстати, что, по-моему, не так уж трудно доставить ему это удовольствие... Почему бы вам не добавить одно действующее лицо...

— Ни за что! Это разрушит всю композицию моей пьесы...

— Дело ваше, Кристиан... Но мы еще вернемся к этой теме...

Они и в самом деле вернулись к этой теме, когда Леон Лоран, который становился все более озабоченным и хмурым, начал говорить о трудностях постановки, о прежних обязательствах театра, о предстоящих гастролях. Кристиан, которому с тех пор, как он закончил пьесу, не терпелось увидеть ее на сцене, тоже стал раздражительным и мрачным.

— Друг мой,— сказала ему Клер.— Оставьте меня как-нибудь наедине с Лораном. Мне он решится высказать все, что у него на душе, и я обещаю вам все уладить... Разумеется, с условием, что вы напишете женскую роль.

— Да как же я ее напишу? Не могу же я переделывать пьесу, которую я имею смелость считать произведением искусства, по прихоти...

— Ох, Кристиан, ведь это же легче легкого, да еще при вашей богатой фантазии... Ну вот хотя бы во втором акте, когда македонцы организуют в Афинах пятую колонну, почему бы им не прибегнуть к услугам умной куртизанки, подруги влиятельных афинян, банкиров и государственных деятелей... Вот вам готовый персонаж — и, кстати сказать, вполне правдоподобный.

— Гм, пожалуй... И при этом можно... А знаете, вы правы, очень интересно показать секретные методы пропаганды, старые как мир...

Клер знала, что каждое семя, брошенное в воображение Кристиана, обязательно даст росток. Теперь она взялась за Лорана и тут тоже одержала полную победу.

— Ах, что за чудесная мысль! — с облегчением сказал Лоран.— Понимаете, я не смел заговорить об этом с вашим мужем — к нему невозможно подступиться, когда речь идет о его произведениях,— но публика очень плохо принимает пьесы без женщин... Даже Шекспир в «Юлии Цезаре»... Да и Корнель ввел в драму Горацийев фигуру Сабинны, а Расин Арисию в миф о Федре... И потом, мадам, вам я признаюсь откровенно: я бы не хотел ставить пьесу, где у Элен не будет роли... Не хотел бы... Понимаете, она молода, она привязана ко мне, но она любит танцевать, как огня боится одиночества... Если я буду каждый вечер занят в театре, она станет проводить время с другими мужчинами, и, сознаюсь вам, я потеряю покой... Но если ваш муж напишет для нее маленькую роль, все уладится... Через неделю мы начнем репетировать...

Так родился образ Миррины. Создавая ее, Кристиан вспоминал одновременно и некоторых героинь Аристофана, женщин остроумных и циничных, и кокеток Марииво, играя которых Элен Мессьер стяжала первые лавры. Из этого парадоксального сочетания, к удивлению самого автора, родился оригинальный и пленительный образ. «На редкость выигрышная роль», — говорил Лоран.

Клер пригласила Элен Мессьер к обеду, чтобы Менетрие мог прочитать ей новый вариант пьесы. Элен была прелестная крошечная женщина с длинными опущенными ресницами, осторожная и вкрадчивая, как кошечка. Говорила она мало, но ни разу не сказала глупости. Кристиану она понравилась.

— Эта отнюдь не наивная инженю прямо создана для роли коварной предательницы.

— Уж не слишком ли она вам нравится, Кристиан?

— О нет! А потом разве она не любит Лорана? Он не только ее любовник, он ее создал. Она — творение его рук. Не будь Лорана, чего бы она стоила?

— Вы думаете, Кристиан, сознание того, что она многим ему обязана, подогревает ее нежные чувства? А вот мне, закоренелой женоненавистнице, сдается, что она скорее затаила против него неосознанную досаду... Впрочем, какое нам до этого дело? Роль ей понравилась, значит, все идет как по маслу.

Все и впрямь шло как по маслу в течение недели. Но потом Лоран снова помрачнел.

— Что с ним такое? — спросил Кристиан.

— На этот раз не знаю, — ответила Клер. — Но узнаю...

Лоран и в самом деле не заставил себя долго просить и поведал Клер свои тревоги.

— Ну так вот: роль прелестна, и Элен в восторге... Но... Понимаете, мы живем под одной крышей, и когда надо ехать в театр, берем одно такси... Какой смысл ехать врозь?.. Но если Элен появляется на сцене только во втором акте, что она станет делать целый час в своей уборной? Либо она будет скучать, а этого она совершенно не выносит, либо станет принимать поклонников... А уж я себя знаю... это отзовется на моей игре. Не говоря о моем сердце... Конечно, Кристиану Менетрие нет дела до моего сердца, но зато моя игра...

— Короче говоря, — сказала Клер, — вы хотите, чтобы Миррина появлялась на сцене в первом акте?

— Мадам, от вас ничего не скроешь.

Когда Клер передала мужу это новое требование, он сначала пришел в негодование: «Ни одному писателю не приходилось работать в таких условиях!» Но Клер отлично знала характер Кристиана: прежде всего следовало успокоить его совесть.

— Кристиан, все драматурги работали именно в таких условиях... Вы отлично знаете, что Шекспиру приходилось считаться с внешностью своих актеров, а Расин писал для Шанмеле. Об этом свидетельствует мадам де Севинье.

— Она ненавидела Расина.

— Но она хорошо его знала.

Миррина появилась в первом акте. Надо ли говорить, что проблема такси, связанная с прибытием артистов в театр, вставала со всей остротой и после спектакля и что в последнем варианте пьесы Миррине пришлось участвовать и в третьем акте. Тут снова не обошлось без вмешательства Клер.

— В самом деле, Кристиан, почему бы этой Миррине не стать после поражения добродетельной патриоткой? Пусть она уйдет в маки, станет любовницей Демосфена.

— Право, Клер, вздумай я следовать вашим советам, я скоро дойду до голливудских сусальностей... Хватит, больше я не добавлю ни строчки.

— Я не вижу ничего пошлого и неправдоподобного в том, что легкомысленная женщина любит родину. В жизни такие случаи бывают сплошь и рядом. Кастильоне пленила Наполеона III своей страстной мечтой объединить Италию... Только преображение Миррины надо подать изящно и неожиданно... Но вы в таких сценах не знаете соперников... Ну, а насчет связи с Демосфеном я, конечно, пошутила...

— А почему пошутили? Очень многие деятели французской революции...

Успокоенная Клер поспешила утешить Лорана, и роль Миррины, разросшаяся и обогащенная, стала одной из главных ролей пьесы.

Наступил день «генеральной». Это был триумф. «Весь Париж, как Лоран, восхищался Мирриной». Зрители, которые в душе разделяли политические опасения Менетрие и подсознательно тосковали по национальной драматургии в духе эсхиловых «Персов», устроили ова-

цию автору. Критики хвалили писателя за то, что он с таким мастерством осовременил античный сюжет, ни разу не впав в пародию. Даже Фабер, всегда очень придирчивый к своим собратьям, сказал Клер за кулисами несколько любезных слов.

— Вы приложили свою лапку к этой Миррине, прелестная смуглянка,— заметил он с брюзгливым добродушием.— Спору нет — это истая женщина, женщина до мозга костей. Ваш праведный супруг без вашей помощи никогда не додумался бы до такого образа...

— Очень рада, что вам нравится Миррина,— сказала Клер.— Но я тут ни при чем.

На другой день Робер Кам в своей рецензии говорил только о Миррине. «Отныне,— утверждал он,— имя Миррины станет таким же нарицательным, как имена Агнессы или Селимены». Клер, через плечо мужа с восторгом читавшая статью, не удержалась и пробормотала:

— Подумать только, не будь этой истории с такси, Миррина никогда не увидела бы света.

Как известно, «Филипп» был переведен на многие языки и положил начало новому французскому театру. Но зато вряд ли кто знает, что в прошлом году, когда Элен Мессьер, бросив Лорана, вышла замуж за голливудского режиссера, великий артист обратился к вдове Кристиана Менетрие, Клер, наследнице авторских прав покойного драматурга, с просьбой вычеркнуть роль Миррины.

— Ведь мы-то с вами знаем,— сказал он,— что эта роль появилась в пьесе случайно, в первом варианте ее не было; почему бы нам не восстановить старый вариант?.. Это вернуло бы роли Демосфена аскетическую суровость, которая, признаться, мне гораздо больше по сердцу... Кстати, тогда не придется искать новую актрису на роль Миррины... А обойдись без премьерши, мы сэкономим на ее жалованье.

Однако Клер мягко, но решительно отклонила его просьбу.

— Уверяю вас, Лоран, вы без труда создадите новую Миррину. Вам это хорошо удастся... А я не хочу никаких переделок в пьесе моего мужа.

И Миррина, дитя необходимости и вдохновения, продолжала свое триумфальное шествие по сценам мира.

ПРОКЛЯТЬЕ ЗОЛОТОГО ТЕЛЬЦА

Войдя в нью-йоркский ресторан «Золотая змея», где я был завсегдатаем, я сразу заметил за первым столиком маленького старичка, перед которым лежал большой кровавый бифштекс. По правде говоря, вначале мое внимание привлекло свежее мясо, которое в эти годы было редкостью, но потом меня заинтересовал и сам старик с печальным, тонким лицом. Я сразу почувствовал, что встречал его прежде, не то в Париже, не то где-то еще. Усевшись за столик, я подозвал хозяина, расторопного и ловкого уроженца Перигора, который сумел превратить этот маленький тесный подвальчик в приют гурманов.

— Скажите-ка, господин Робер, кто этот посетитель, который сидит справа от двери? Ведь он француз?

— Который? Тот, что сидит один за столиком? Это господин Борак. Он бывает у нас ежедневно.

— Борак? Промышленник? Ну, конечно же, теперь и я узнаю. Но прежде я его ни разу у вас не видел.

— Он обычно приходит раньше всех. Он любит одиночество.

Хозяин наклонился к моему столику и добавил, понизив голос:

— Чудаки они какие-то, он и его жена... Право слово, чудаки. Вот видите, сейчас он завтракает один. А приходите сегодня вечером в семь часов, и вы застанете его жену — она будет обедать тоже одна. Можно подумать, что им тошно глядеть друг на друга. А на самом деле живут душа в душу... Они снимают номер в отеле «Дельмонико»... Понять я их не могу. Загадка, да и только...

— Хозяин! — окликнул гарсон. — Счет на пятнадцатый столик.

Господин Робер отошел, а я продолжал думать о странной чете. Борак... Ну конечно, я был с ним знаком в Париже. В те годы, между двумя мировыми войнами, он постоянно бывал у драматурга Фабера, который испытывал к нему необъяснимое тяготение; видимо, их объединяла общая мания — надежное помещение капитала и страх потерять нажитые деньги. Борак... Ему, должно быть, теперь лет восемьдесят. Я вспомнил, что около 1923 года он удалился от дел, сколотив капиталец

в несколько миллионов. В ту пору его приводило в отчаяние падение франка.

— Безобразие! — возмущался он. — Я сорок лет трудился в поте лица, чтобы кончить дни в нищете. Мало того, что моя рента и облигации больше гроша ломаного не стоят, акции промышленных предприятий тоже перестали подниматься. Деньги тают на глазах. Что будет с нами на старости лет?

— Берите пример с меня, — советовал ему Фабер. — Я обратил все свои деньги в фунты... Это вполне надежная валюта.

Когда года три-четыре спустя я вновь увидел обоих приятелей, они были в смятении. Борак последовал совету Фабера, но после этого Пуанкаре удалось поднять курс франка, и фунт сильно упал. Теперь Борак думал только о том, как уклониться от подоходного налога, который в ту пору начал расти.

— Какой вы ребенок, — твердил ему Фабер. — Послушайте меня... На свете есть одна-единственная незыблемая ценность — золото... Приобрети вы в 1918 году золотые слитки, у вас не оказалось бы явных доходов, никто не облагал бы вас налогами, и были бы вы теперь куда богаче... Обратите все ваши ценности в золото и спите себе спокойно.

Супруги Борак послушались Фабера. Они купили золото, абонировали сейф в банке и время от времени, млея от восторга, наведывались в этот финансовый храм поклониться своему идолу. Потом я лет на десять потерял их из виду. Встретил я их уже в 1937 году — у торговца картинами в Фобур-Сент-Оноре. Борак держался с грустным достоинством, мадам Борак, маленькая, чистенькая старушка в черном шелковом платье с жабо из кружев, казалась наивной и непосредственной. Борак, конфузясь, попросил у меня совета:

— Вы, дорогой друг, сами человек искусства. Как, по-вашему, можно еще надеяться на то, что импрессионисты снова поднимутся в цене? Не знаете?.. Многие считают это возможным, но ведь их полотна и без того уже сильно подорожали... Эх, приобрести бы мне импрессионистов в начале века... А еще лучше было бы, конечно, узнать наперед, какая школа войдет в моду, и скупить сейчас картины за бесценок. Да вот беда: заранее никто ни за что не может поручиться... Ну и временно! Даже эксперты тут бессильны! Поверите ли, мой

дорогой, я их спрашиваю: «На что в ближайшее время поднимутся цены?» А они колеблются, запинаются. Один говорит: на Утрилло, другой — на Пикассо... Не все это слишком уж известные имена.

— Ну, а ваше золото? — спросил я его.

— Оно у меня... у меня... Я приобрел еще много новых слитков... Но правительство поговаривает о реквизиции золота, о том, чтобы вскрыть сейфы... Подумать страшно... Я знаю, вы скажете, что самое умное перевести все за границу... Так-то оно так... Но куда? Британское правительство действует так же круто, как наше... Голландия и Швейцария в случае войны подвергаются слишком большой опасности... Остаются Соединенные Штаты, но с тех пор, как там Рузвельт, доллар тоже... И потом придется переехать туда на жительство, чтобы в один прекрасный день мы не оказались отрезанными от наших капиталов...

Не помню уж, что я ему тогда ответил. Меня начала раздражать эта чета, не интересующаяся ничем, кроме своей кубышки, когда вокруг рушилась цивилизация. У выхода из галереи я простился с ними и долго глядел, как эти две благовоспитанные и зловещие фигурки в черном удаляются осторожными мелкими шажками. И вот теперь я встретил Борака в «Золотой змее» на Лексингтон-авеню. Где их застигла война? Каким ветром занесло в Нью-Йорк? Любопытство меня одолело, и, когда Борак поднялся со своего места, я подошел к нему и назвал свое имя.

— О, еще бы, конечно, помню, — сказал он. — Как я рад видеть вас, дорогой мой. Надеюсь, вы окажете нам честь и зайдете на чашку чая. Мы живем в отеле «Дельмонико». Жена будет счастлива... Мы здесь очень скучаем, ведь ни она, ни я не знаем английского...

— И вы постоянно живете в Америке?

— У нас нет другого выхода, — ответил он. — Приходите, я вам все объясню. Завтра к пяти часам.

Я принял приглашение и явился точно в назначенное время. Мадам Борак была в том же черном шелковом платье с белым кружевным жабо, что и в 1923 году, и с великолепными жемчугами на шее. Она показалась мне очень удрученной.

— Мне так скучно, — пожаловалась она. — Мы заперты в этих двух комнатах, поблизости ни одной зна-

комой души... Вот уж не думала я, что придется доживать свой век в изгнании.

— Но кто же вас принуждает к этому, мадам? — спросил я. — Насколько мне известно, у вас нет особых личных причин бояться немцев. То есть я, конечно, понимаю, что вы не хотели жить под их властью, но пойти на добровольное изгнание, уехать в страну, языка которой вы не знаете...

— Что вы, немцы тут ни при чем, — сказала она. — Мы приехали сюда задолго до войны.

Ее муж встал, открыл дверь в коридор и, убедившись, что нас никто не подслушивает, запер ее на ключ, возвратился и шепотом сказал:

— Я вам все объясню. Я уверен, что на вашу скромность можно положиться, а дружеский совет пришелся бы нам как нельзя кстати. У меня здесь, правда, есть свой адвокат, но вы меня лучше поймете... Видите ли... Не знаю, помните ли вы, что после прихода к власти Народного фронта мы сочли опасным хранить золото во французском банке и нашли тайный надежный способ переправить его в Соединенные Штаты. Само собой разумеется, мы и сами решили сюда перебраться. Не могли же мы бросить свое золото на произвол судьбы... Словом, тут и объяснять нечего... Однако в 1938 году мы обратили золото в бумажные доллары. Мы считали (и оказались правы), что в Америке девальвации больше не будет, да вдобавок кое-кто из осведомленных людей сообщил нам, что новые геологические изыскания русских понизят курс золота... Тут-то и возник вопрос: как хранить наши деньги? Открыть счет в банке? Обратить их в ценные бумаги? В акции?.. Если бы мы купили американские ценные бумаги, пришлось бы платить подоходный налог, а он здесь очень велик... Поэтому мы все оставили в бумажных долларах.

Я, не выдержав, перебил его:

— Стало быть, для того чтобы не платить пятидесятипроцентного налога, вы добровольно обложили себя налогом стопроцентным?

— Тут были еще и другие причины, — продолжал он еще более таинственным тоном. — Мы чувствовали, что приближается война, и боялись, как бы правительство не заморозило банковские счета и не вскрыло сейфы, тем более что у нас нет американского гражданства... Вот мы и решили всегда хранить наши деньги при себе.

— То есть как «при себе»? — воскликнул я. — Здесь, в отеле?

Оба кивнули головой, изобразив какое-то подобие улыбки, и обменялись взглядом, полным лукавого самодовольства.

— Да, — продолжал он еле слышно. — Здесь, в отеле. Мы сложили все — и доллары, и немного золота — в большой чемодан. Он здесь, в нашей спальне.

Борак встал, открыл дверь в смежную комнату и, подведя меня к порогу, показал ничем не примечательный с виду черный чемодан.

— Вот он, — шепнул Борак и почти благоговейно прикрыл дверь.

— А вы не боитесь, что кто-нибудь проведает об этом чемодане с сокровищами? — Подумайте, какой соблазн для воров!

— Нет, — сказал он. — Во-первых, о чемодане не знает никто, кроме нашего адвоката... и вас, а вам я всецело доверяю... Нет уж, поверьте мне, мы все обдумали. Чемодан никогда не привлекает такого внимания, как, скажем, кофр. Никому не придет в голову, что в нем хранится целое состояние. Да вдобавок мы оба сторожим эту комнату и днем и ночью.

— И вы никогда не выходите?

— Вместе никогда! У нас есть револьвер, мы держим его в ящике комода, по соседству с чемоданом, и один из нас всегда дежурит в номере... Я хожу завтракать во французский ресторан, где мы с вами встретились. Жена там обедает. И чемодан никогда не остается без присмотра. Понимаете?

— Нет, дорогой господин Борак, не понимаю, не могу понять, ради чего вы обрекли себя на эту жалкую жизнь, на это мучительное затворничество... Налоги? Да черт с ними! Разве ваших денег не хватит вам с лихвой до конца жизни?

— Не в этом дело, — ответил он. — Не хочу я отдавать другим то, что нажил с таким трудом.

Я попытался переменить тему разговора. Борак был человек образованный, он знал историю; я попробовал было напомнить ему о коллекции автографов, которую он когда-то собирал, но его жена, еще сильнее мужа одержимая навязчивой идеей, вновь вернулась к единственному волновавшему ее предмету.

— Я боюсь одного человека,— шепотом сказала она.— Это немец, метрдотель, который приносит нам в номер утренний завтрак. Он иногда так поглядывает на эту дверь, что внушает мне подозрение. Правда, в эти часы мы оба бываем дома, поэтому я надеюсь, что опасность не так уж велика.

Другой их заботой была собака. Красивый пудель, на редкость смысленый, всегда лежал в углу гостиной, но трижды в день его надо было выводить гулять. Эту обязанность супруги также выполняли по очереди. Я ушел от них вне себя: меня бесило упорство этих маньяков, и в то же время их одержимость чем-то притягивала меня.

С тех пор я часто уходил со службы пораньше, чтобы ровно в семь часов попасть в «Золотую змею». Тут я подсаживался к столику мадам Борак. Она была словоохотливей мужа и более простодушно поверяла мне свои тревоги и планы.

— Эжен — человек редкого ума,— сказала она мне однажды вечером.— Он всегда все предусматривает. Нынче ночью ему пришло в голову: а что, если они вдруг возьмут да прикажут обменять деньги для борьбы с тезаврацией. Как тогда быть? Ведь нам придется предъявить наши доллары.

— Ну и что за беда?

— Очень даже большая беда,— ответила мадам Борак.— Ведь в 1943 году, когда американское казначейство объявило перепись имущества эмигрантов, мы ничего не предъявили... А теперь у нас могут быть серьезные неприятности... Но у Эжена зародился новый план. Говорят, что в некоторых республиках Южной Америки вообще нет подоходного налога. Если бы нам удалось переправить туда наши деньги...

— Но как же их переправить без предъявления на таможне?

— Эжен считает, что сначала надо принять гражданство той страны, куда мы решим переселиться. Если мы станем, например, уругвайцами, то по закону сможем перевезти деньги.

Идея эта так меня восхитила, что на другой день я пришел в ресторан к завтраку. Борак всегда радовался моему приходу.

— Милости прошу,— приветствовал он меня.— Вы пришли как нельзя более кстати: мне нужно навести у

вас кое-какие справки. Не знаете ли вы, какие формальности необходимы, чтобы стать гражданином Венесуэлы?

— Ей-богу, не знаю, — сказал я.

— А Колумбии?

— Понятия не имею. Лучше всего обратитесь в консульства этих государств.

— В консульства! Да вы с ума сошли!.. Чтобы привлечь внимание?

Он с отвращением отодвинул тарелку с жареным цыпленком и вздохнул:

— Что за времена! Подумать только, что, родись мы в 1830 году, мы прожили бы свою жизнь спокойно, не зная налоговой инквизиции и не боясь, что нас ограбят! А нынче что ни страна — то разбойник с большой дороги... Даже Англия... Я там припрятал несколько картин и гобеленов и теперь хотел их перевезти сюда. Знаете, чего они от меня потребовали? Платы за право вывоза в размере ста процентов стоимости, а ведь это равносильно конфискации. Ну прямо грабеж среди бела дня, настоящий грабеж...

Вскоре после этого мне пришлось уехать по делам в Калифорнию, так и не узнав, кем в конце концов стали Бораки — уругвайцами, венесуэльцами или колумбийцами. Вернувшись через год в Нью-Йорк, я спросил о них хозяина «Золотой змеи» господина Робера.

— Как поживают Бораки? По-прежнему ходят к вам?

— Что вы, — ответил он. — Разве вы не знаете? Она в прошлом месяце умерла, кажется, от разрыва сердца, и с того дня я не видел мужа. Должно быть, захворал с горя.

Но я подумал, что причина исчезновения Борака совсем в другом. Я написал старику несколько слов, выразив ему соболезнование, и попросил разрешения его навестить. На другой день он позвонил мне по телефону и пригласил зайти. Он осунулся, побледнел, губы стали совсем бескровными, голос еле слышен.

— Я только вчера узнал о постигшем вас несчастье, — сказал я, — не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен, ведь я догадываюсь, что ваша горестная утрата, помимо всего прочего, донельзя усложнила вашу жизнь.

— Нет, нет, нисколько... — ответил он. — Я просто решил больше не отлучаться из дому... Другого выхода

у меня нет. Оставить чемодан я боюсь, а доверить мне его некому... Поэтому я распорядился, чтобы еду мне приносили сюда, прямо в комнату.

— Но ведь вам, наверно, в тягость такое полное затворничество?

— Нет, нет, ничуть... Ко всему привыкаешь... Я гляжу из окна на прохожих, на машины... И потом, знаете, при этом образе жизни я наконец изведаль чувство полной безопасности... Прежде я, бывало, выходил завтракать и целый час не знал покоя: все думал, не случилось ли чего в мое отсутствие... Конечно, дома оставалась покойная жена, но я представить себе не мог, как она справится с револьвером, особенно при ее больном сердце... А теперь я держу дверь приоткрытой, и чемодан всегда у меня на глазах... Стало быть, все, чем я дорожу, всегда со мною... А это вознаграждает меня за многие лишения... Вот только Фердинанда жалко.

Пудель, услышав свое имя, подошел и, усевшись у ног хозяина, бросил на него вопросительный взгляд.

— Вот видите, сам я теперь не могу его выводить, но зато я нанял рассыльного — bell-boy, как их здесь называют... Не пойму, почему они не могут называть их «рассыльными», как все люди? Ей-богу, они меня с ума сведут своим английским! Так вот, я нанял мальчишку, и тот за небольшую плату выводит Фердинанда на прогулку... Стало быть, и эта проблема решена... Я очень вам признателен, мой друг, за вашу готовность помочь мне, но мне ничего не надо, спасибо.

— А в Южную Америку вы раздумали ехать?

— Конечно, друг мой, конечно... Что мне там теперь делать? Вашингтон больше не говорит об обмене денег, а в мои годы...

Он и в самом деле сильно постарел, а образ жизни, который он вел, вряд ли шел ему на пользу. Румянец исчез с его щек, и говорил он с трудом.

«Можно ли вообще причислить его к живым?» — подумал я.

Убедившись, что ничем не могу ему помочь, я откланялся. Я решил изредка навещать его, но через несколько дней, раскрыв «Нью-Йорк таймс», сразу обратил внимание на заголовок: «Смерть французского эмигранта. Чемодан, набитый долларами!» Я пробежал заметку: в самом деле, речь шла о моем Бораке. Утром его нашли мертвым: он лежал на черном чемодане, накрыв-

шись одеялом. Умер он естественной смертью, и все его сокровища были в целости и сохранности. Я зашел в отель «Дельмонико», чтобы разузнать о дне похорон. У служащего справочного бюро я спросил, что случилось с Фердинандом.

— Кому отдали пуделя господина Борака?

— Никто его не востребовал, — ответил тот. — И мы отправили его на живодерню.

— А деньги?

— Если не объявятся наследники, они перейдут в собственность американского правительства.

— Что ж, прекрасный конец, — сказал я.

При этом я имел в виду судьбу денег.

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, МИЛОЧКА...

— Ты куда, Антуан? — спросила мужа Франсуаза Кене.

— На почту. Хочу послать заказное письмо, а заодно вывести Маугли... Дождь перестал, небо над Ментоной уже очистилось — погода явно разгуливается.

— Постарайся не задерживаться. Я пригласила к обеду Сабину Ламбэр-Леклерк с мужем... Ну да, я прочитала в «Эклерере», что они приехали в Ниццу на несколько дней... Вот я и написала Сабине...

— О, Франсуаза, зачем ты это сделала? Политика, которую проводит ее муж, вызывает одно отвращение, сама же Сабина...

— Не ворчи, Антуан... И не вздумай уверять, будто Сабина тебе противна!.. Когда мы с тобой познакомились, она слыла чуть ли не твоей невестой!

— В том-то и дело!.. Не думаю, чтобы она мне простила, что я женился на тебе... К тому же я не видел ее лет пятнадцать... Надо полагать, она превратилась в зрелую матрону...

— Никакая она не матрона, — сказала Франсуаза. — Она лишь на три года старше меня... И все равно спорить сейчас уже бесполезно... Сабина с мужем будут здесь в восемь часов вечера.

— Ты могла бы посоветоваться со мной... Ну зачем ты позвала их? Ведь ты знала, что я буду недоволен...

— Счастливой прогулки! — весело бросила Франсуаза и поспешно вышла из комнаты.

Антуан пожалел, что ссора не состоялась. Уж такова была обычная тактика его жены — она всегда уклонялась от споров. Шагая по аллеям Антибского мыса, между рядами нескладных кособоких сосен, он думал:

«Франсуаза становится несносной. Она отлично знала, что я не хочу встречаться с этой четой... Именно поэтому она ничего не сказала мне о своих планах... Она все чаще ставит меня перед свершившимся фактом. Ну зачем она пригласила Сабину Ламбэр-Леклерк?.. Только потому, что скучает, не видясь ни с кем, кроме меня и детей. Да, но кто захотел поселиться в этом краю? Кто уговорил меня покинуть Пон-де-л'Эр, бросить дела, родных и в расцвете сил уйти в отставку, к которой я совсем не стремился?»

Всякий раз, когда он начинал вспоминать свои обиды, список их оказывался довольно длинным. Антуан женился по страстной любви, его до сих пор влекло к жене и как мужчину и, можно сказать, как художника. Он часами, не отрываясь, разглядывал ее изящный носик, светлые лукавые глаза, безупречные черты лица. Но до чего же иногда она раздражала его! В выборе мебели, платьев, цветов Франсуаза выказывала замечательный вкус. Но в отношениях с людьми ей не хватало такта. Антуан глубоко страдал, когда Франсуаза оскорбляла кого-нибудь из их друзей. Он чувствовал и свою ответственность за нанесенную обиду, и свое бессилие. Вначале он осыпал ее упреками, которые она выслушивала с неудовольствием и на которые не обращала внимания, зная, что он простит ее ночью, когда в нем проснется желание. Потом он стал принимать ее такой, какой она была. После десяти лет совместной жизни он понял, что ее не переделаешь.

— Маугли, сюда!

Антуан зашел в почтовое отделение... На обратном пути он продолжал размышлять о Франсуазе и с каждой минутой все больше мрачнел. Была ли она по крайней мере ему верна? Он верил этому, хотя знал, что она часто ведет себя, как отчаянная кокетка, и порой даже забывает о благоразумии. Был бы он счастливее с Сабинной? Он вспомнил сад в Пон-де-л'Эр, где юношей встречался с ней. Весь город считал их помолвленными, да и сами они не сомневались, что рано

или поздно поженятся, хотя никогда об этом не говорили.

«У нее был на редкость пылкий темперамент», — подумал он, вспомнив, как Сабина прижималась к нему во время танцев.

Она была первой девушкой, с которой он вел себя смело, чувствуя, что не встретит сопротивления. Он страстно желал ее близости. Затем появилась Франсуаза, и все женщины мира перестали для него существовать... Теперь он связан с Франсуазой навсегда. Позади десять лет совместной жизни. Трое детей. Партия сыграна.

Когда в гостиной он увидел жену, сиявшую свежестью, в муслиновом платье с яркими цветами, его раздражение сразу прошло. Ведь и дом, где они живут, и сад, которым неизменно восхищались гости, — детище Франсуазы. Именно она убедила его покинуть Понде-л'Эр и завод за несколько лет до кризиса 1929 года. Если взвесить все по справедливости, она, пожалуй, принесла ему счастье.

— А разве Мишлина и Бако не будут обедать с нами? — осведомился он.

Он так надеялся на это, он предпочитал милую болтовню своих детей беседе с гостями.

— Нет, — ответила Франсуаза, — я решила, что нам будет уютнее вчетвером... Поправь галстук, Антуан.

«Уютно!» — опять одно из тех слов, которых он не выносил. Нет, «уютно» не будет, — подумал он, завязывая перед зеркалом галстук. — Сабина, наверно, начнет острить, а Франсуаза — кокетничать с Ламбэр-Леклерком, этим чванливым твердолобым министром. Сам же Антуан будет хранить угрюмое молчание.

— Уютно!

Он услышал, как подъехал автомобиль и затормозил, колеса заскрипели по гравию. Супруги Кене приняли непринужденные позы. Минуту спустя появились гости. У Сабинины были черные волнистые волосы, полные плечи и красивые глаза. Ламбэр-Леклерк сильно облысел — несколько жалких волосков лежали на голом черепе, точно барьеры на беговой дорожке. Он был, казалось, не в духе. Видно, и он тоже против воли приехал на этот обед.

— Добрый вечер, милочка, — воскликнула Франсуаза, целуя Сабину, — добрый вечер, господин министр...

— О нет, милочка! — сказала Сабина. — Не вздумай только величать моего мужа министром... Ты же зовешь меня Сабиной, зови и его Альфредом... Добрый вечер, Антуан...

Вечер выдался на редкость теплый и ясный, и Франсуаза велела подать кофе на веранде. За столом разговор не клеился. Женщины скучали. Антуан из упрямства и, злясь на себя, весьма неосмотрительно противоречил Ламбэр-Леклерку, который, гораздо лучше информированный, чем его собеседник, легко побивал его в споре.

— Вы настроены оптимистически, потому что стоите у власти, — говорил Антуан. — На самом же деле положение Франции трагично...

— Да нет, дорогой мой, право же нет: денежные затруднения никогда не бывают трагичны. Французский бюджет показывает дефицит вот уже шесть веков, и слава Богу!.. Поверьте, просто необходимо время от времени разорять рантье... Иначе к чему бы мы пришли? Вообразите себе эти капиталы, помещенные в банк под большие проценты еще со времен Ришелье.

— Английский бюджет не знает дефицита, — буркнул Антуан. — Более того, доходы превышают в нем расходы. И англичане от этого не страдают, насколько мне известно.

— Дорогой друг, — отвечал Антуану Ламбэр-Леклерк, — я никогда не мог уразуметь, что за страсть у французов вечно сравнивать две страны с разной историей, разными нравами и разными потребностями... Если бы Франция действительно нуждалась в сбалансированном бюджете, мы тотчас бы все устроили. Да только Франция вовсе к этому не стремится, или, если хотите, Франция не так уж сильно в этом заинтересована, чтобы согласиться также на средства, необходимые для достижения подобной цели. Характер бюджета — не финансовый вопрос, а политический. Скажите мне, на какое большинство вы намерены опираться, правя страной, и я скажу вам, как будет выглядеть ваш бюджет. Министерство финансов может подготовить любой бюджет — социалистический или радикальный, а также реакционный... Достаточно сказать, чего вы хотите!.. Все это гораздо проще, чем воображают профаны.

— Так ли уж это просто? И посмеете ли вы высказать ваши соображения избирателям?

По каким-то малозаметным признакам, по тому, как внезапно ожесточился его взгляд, Франсуаза почувствовала, что ее мужа вот-вот охватит приступ ярости. Она решила вмешаться в разговор:

— Антуан,— сказала она,— ты бы прогулялся с Сабиной к монастырю, показал ей, какой вид открывается оттуда...

— Что ж, отправимся туда все вместе,— предложил Антуан.

— Нет, нет,— возразила Сабина,— Франсуаза права... Супругов надо разлучать... Так гораздо забавнее...

Она встала из-за стола. Антуану ничего другого не оставалось, как подняться и последовать за ней. Он успел бросить Франсуазе сердитый взгляд, который та не пожелала заметить.

«Мои опасения сбываются,— подумал он.— Теперь мне придется провести добрых полчаса наедине с Сабиной... Только бы ей не вздумалось потребовать от меня объяснения, которого она ждет вот уже десять лет! Неужели Франсуазе хочется, чтобы этот самодовольный министр ухаживал за ней?»

— Какой дивный запах! — произнесла Сабина Ламбэр-Леклерк.

— Это апельсиновые деревья... Навес, под которым мы сидели, тоже сплетен из ветвей апельсиновых и лимонных деревьев, глициний и роз... Но наши розы почти совсем одичали... Надо бы сделать прививку... Сюда, Сабина... Свернем на эту дорожку и спустимся вниз...

— А сами вы, Антуан, не одичали в своем уединении?

— Я? Да я всегда был дикарем... Вы что-нибудь различаете в темноте? Взгляните, по обе стороны бассейна растут цинерарии... При планировке сада в основу был положен контраст между темными, фиолетовыми или синими цветами и ярко-желтыми. Во всяком случае, такова была идея Франсуазы. А на этом склоне она задумала создать буйные заросли дрока, мастикового дерева, раkitника, царских кудрей.

— Я рада побыть с вами наедине, Антуан... Я очень люблю вашу жену, но как-никак мы с вами были когда-то большими друзьями до вашего знакомства с ней... Вы еще помните об этом?

Осторожности ради он замедлил шаг, чтобы не оказаться слишком близко к ней:

— Ну, конечно же, Сабина, как я могу забыть?.. Нет, идите прямо, вперед, сейчас будет мостик. Вот и монастырь. Что за цветы растут между плитами? Обыкновенные анютины глазки...

— Помните тот бал — мой первый бал? Вы отвезли меня домой на автомобиле вашего деда... Мои родители уже спали. Мы вошли в маленькую гостиную. Ни слова не говоря, вы привлекли меня к себе, и мы снова начали танцевать...

— Кажется, я даже поцеловал вас в тот вечер?

— Поцеловал!.. Мы целовались битый час!.. Это было чудесно... Вы стали героем моего романа...

— Наверно, я сильно разочаровал вас!

— Напротив, в начале войны вы совсем покорили меня своей доблестью. Вы держались великолепно... Я могла без запинки назвать все ваши награды. Я до сих пор помню их, могу перечислить хоть сейчас... Потом вы были ранены, а оправившись от ранения, обручились с Франсуазой Паскаль-Буше. Вот тогда, сказать по правде, я огорчилась... Да и как могло быть иначе?.. Ведь я так восхищалась вами... Услыхав, что вы женились на девушке, которую я хорошо знала по лицу Сен-Жан, — мы учились в одном классе, она была очень мила, но глуповата, простите меня, Антуан, — я удивилась и огорчилась за вас... И не я одна, весь город...

— Но отчего? Мы с Франсуазой люди одного круга и вполне подходим друг другу... Взгляните сюда, Сабина: видите вот тот утес, весь в световых бликах? Это утес Монако... Не наклоняйтесь слишком низко — терраса висит над морем... Осторожно, Сабина!

Он невольно придержал ее за талию. Она молниеносно обернулась к нему и поцеловала прямо в губы.

— Будь что будет, Антуан! Уж очень мне этого хотелось! Трудно держаться на расстоянии от человека, который когда-то был тебе близок... Помните, как мы целовались на теннисном корте? О, я вижу, вы шокированы... Вы остались настоящим Кене... Не сомневаюсь, что вы всегда были верным мужем...

— На редкость верным... Беспорочным...

— Это на протяжении десяти-то лет? Бедный Антуан!.. И вы счастливы?

— Совершенно счастлив.

— Если так, все хорошо, милый Антуан. Вот только не пойму, отчего у вас такой несчастливый вид.

— С чего вы это взяли?

— Не знаю... Просто, чувствую в вас какую-то неудовлетворенность, раздражение, какую-то неприкаянность... Что бы вы там ни говорили, Антуан, все же вы были настоящим Кене из Пон-де-л'Эра, то есть человеком деятельным, привыкшим руководить людьми. А теперь вы живете здесь, оставив любимое дело и своих друзей... Я знаю: вы все принесли в жертву вкусам вашей жены... Но трудно себе представить, что вы никогда не жалеете об этом...

— Может быть, вначале я действительно немного тосковал... Но потом я нашел себе другое занятие. Всю жизнь я питал пристрастие к истории... Теперь я занялся этой наукой всерьез... Я даже написал несколько книг, которые имели некоторый успех.

— Некоторый, говорите вы? Ваши произведения имели огромный успех, Антуан, это замечательные работы... Особенно ваш труд о Людовике XI...

— Вы читали мои книги?

— Читала ли я их?! Да сотни раз! Во-первых, я тоже обожаю историю... А во-вторых, я искала в них вас, Антуан... Я по-прежнему интересуюсь всем, что имеет к вам отношение. И я считаю вас превосходным писателем... Нет, я нисколько не преувеличиваю... Признаться, меня даже удивило, что во время обеда Франсуаза ни единым словом не обмолвилась об этой стороне вашей жизни. Два-три раза мой муж пытался заговорить с вами о ваших книгах, но всякий раз Франсуаза прерывала его... Мне кажется, ей следовало бы гордиться вашим творчеством...

— О, да чем же тут гордиться... Но это верно, что Франсуаза не интересуется книгами такого рода... Она предпочитает романы... А главное, она и сама артистическая натура — как искусно она выбирает свои наряды, какой чудесный сад она разбила! Она сама наметила место для каждого цветка. С тех пор как кризис захватил и Пон-де-л'Эр, наши доходы сократились. Теперь Франсуаза вынуждена делать все сама.

— Франсуаза делает все сама! У Франсуазы столько вкуса! Забавнее всего, что вы действительно в это верите! Слишком уж вы скромны, Антуан... Я знала Франсуазу девушкой, тогда у нее было несравненно

меньше вкуса, чем сейчас. Во всяком случае, как и все семейство Паскаль-Буше, она питала неумеренное пристрастие к безделушкам и украшениям... Во всем этом была какая-то слащавая претенциозность... Это вы развили ее вкус, открыв ей красоту простых и строгих линий... А главное — вы дали ей средства, позволяющие вести эту жизнь. Ее сегодняшней наряд безусловно очарователен, но не забывайте, дорогой друг, что это платье от Скьяпарелли. Заказывая наряды у лучшего портного, не так уж трудно проявить вкус.

— Вы ошибаетесь, Сабина... Это платье Франсуаза сшила сама, ей помогала только служанка.

— Бросьте, Антуан, нас, женщин, не проведешь!.. Эти вытачки, безупречное изящество складок... К тому же только у Скьяпарелли можно встретить подобный рисунок ткани, характерное смешение золотистых тонов с перваншем... А впрочем, все это совсем неважно...»

— Увы, это гораздо важнее, чем вы думаете, Сабина!.. Я ведь уже говорил вам, что мы сейчас крайне стеснены в средствах... Наши доходы не идут ни в какое сравнение с прежними... Пон-де-л'Эр больше ничего не дает, и Бернар пишет, что так может продолжаться несколько лет... Книжки мои расходятся довольно хорошо... Иногда я пишу также статьи... И все же бедняжка Франсуаза не может позволить себе одеваться у первоклассных портных:

— Ну, если так, это просто чудо, милый Антуан! Невероятно, но чудесно!.. Мне остается лишь склониться перед Франсуазой... Впрочем, я всегда была расположена к ней... Никак в толк не возьму, отчего ее недолюбливают.

— Ее недолюбливают?

— Да ее просто ненавидят... Неужто вы не знаете?.. Меня поразило, что в Ницце ее осуждают точно так же, как в свое время в Пон-де-л'Эр...

— За что же ее осуждают?

— О, да за то же, что и прежде... За эгоизм, за кокетство с мужчинами и коварство с женщинами... За лицемерие... И конечно, за отсутствие такта... Помнится, я всегда защищала ее. Уже в те времена, когда мы вместе учились в лицее Сен-Жан, я говорила: «Франсуаза Паскаль-Буше гораздо лучше, чем она кажется... Видно, это ее наигранный тон и неприятный голос восстанавливают вас против нее...»

— Вы находите, что у нее неприятный голос?

— Ну знаете ли, Антуан!.. Хотя после десяти лет совместной жизни вы, очевидно, уже притерпелись... Впрочем, это не ее вина, и я ее не корю... Я другого не могу ей простить — что она, будучи замужем за таким человеком, как вы, в то же время...

— В то же время... что вы хотите сказать?

— Да нет, ничего...

— Вы не имеете права, Сабина, начинать фразу, полную намеков, и внезапно обрывать ее... Может быть, те, кто сообщил вам все эти сведения, утверждают также, что у Франсуазы были любовники?

— Вы серьезно спрашиваете, Антуан?

— Как нельзя серьезнее, уверяю вас...

— Вы же знаете, дорогой, что точно так же судачат о всякой хорошенькой женщине... Кто знает... Порой случается и дым без огня... Франсуаза слишком неосторожна. Подумать только, ведь еще в Пон-де-л'Эр ее обвиняли в том, что она любовница вашего брата!

— Бернара!

— Ну конечно, Бернара...

— Вот уж ерунда... Бернар — воплощенная честность.

— Поверьте, именно это я не переставая твердила всем... Франсуаза даже не подозревает, с каким упорством я всегда защищала ее... А что это за серебристая полоска, сверкающая в свете луны?

— Это повиллика.

— Прелестно! Она напоминает лилии гефсиманских садов... Вы не находите?

— Нет, не нахожу... Не хотите ли вернуться?

— Уж очень вы торопитесь, Антуан... А я бы охотно осталась с вами в этом саду на всю ночь.

— Меня что-то знобит...

— Дайте мне вашу руку... Да она и в самом деле холодна как лед! Хотите, я укурю вас своей накидкой?.. А ведь мы бы могли так прожить всю жизнь, тесно прижавшись друг к другу... Вы никогда не жалели об этом, Антуан?

— Что мне ответить вам, Сабина? Ну, а вы? Вы счастливы?

— Очень счастлива... Как и вы, мой бедный Антуан, силуюсь подавить отчаяние... Подниматься надо по этой тропинке, да? С вами я могу быть откровенна... Долгое

время я мечтала только о смерти... Теперь стало легче... Я смирилась с судьбой... Да и вы тоже...

— Как вы проницательны, Сабина...

— Не забывайте, что я когда-то любила вас, Антуан... Отсюда и моя проницательность... Дайте мне опереться на вашу руку... Очень уж крутая тропинка... Скажите мне, Антуан, когда вы наконец поняли, что за человек Франсуаза? Когда вы увидели ее в истинном свете?.. Ведь в момент женитьбы вы были просто без ума от нее...

— Боюсь, что мы с вами сейчас говорим на разных языках, Сабина... Я бы хотел, чтобы вы меня поняли... Я и сейчас чрезвычайно привязан к Франсуазе... Да что там «привязан», это смешное, жалкое слово. Просто я люблю Франсуазу... Но, как вы справедливо заметили, первые два года нашего союза были годами особенно полной и восторженной любви, которую я имел все основания считать взаимной.

— Вот как?!

— Как мне понять вас? Нет, Сабина, вы заходите слишком далеко... Вам не удастся отнять у меня мои воспоминания... В те годы Франсуаза дала мне такие доказательства своей любви, что даже слепец не мог бы обмануться... Мы жили душа в душу... И были счастливы лишь в уединении... Не верите? Но в конце концов, Сабина, я-то знаю, что говорю: ведь именно я был с Франсуазой... А не вы.

— Но я знала ее раньше вас, мой бедный друг... Я видела вашу жену ребенком. Она и ее сестра Элен росли вместе со мной... Как сейчас вижу Франсуазу, стоящую во дворе лица с ракеткой в руке, когда, обращаясь к нам с Элен, она объявила: «Я должна выйти замуж за старшего из сыновей Кене, и я непременно добьюсь этого».

— Не могло этого быть, Сабина! Семейство Паскаль-Буше издавна не ладило с моим, и Франсуаза не была даже знакома со мной... Мы встретились с ней совершенно случайно в 1917 году, когда я выздоравливал после ранения...

— Случайно?.. Очевидно, вы и впрямь этому поверили... А у меня до сих пор звучит в ушах голос Элен, рассказывающей о положении своей семьи. Дело в том, что еще в самом начале войны господин Паскаль-Буше разорился вконец... Он был кутила и коллекционер, и

то и другое — дорогостоящие прихоти... Дочери всегда называли его «наш султан», и он, безусловно, заслужил это прозвище... Реставрация семейного замка во Флере доконала его. «Послушайте, девочки, — сказал он Франсуазе и Элен, — в наших краях есть только два семейства, с которыми стоит породниться во имя нашего спасения: семейство Тианжей и Кене». Девочки ринулись в бой и одержали двойную победу.

— Кто рассказал вам эту историю?

— Я уже говорила: сами сестры Паскаль-Буше.

— И вы не предостерегли меня?

— Не могла же я выдать подругу... К тому же я не хотела лишать ее единственного шанса. Ведь никто — ни в Лувье, ни в Пон-де-л'Эр, за исключением разве наивного Дон-Кихота, вроде вас, не женился бы на ней... У нас в Нормандии не любят банкротов...

— Но господин Паскаль-Буше никогда не был банкротом...

— Верно, но как ему удалось этого избежать?.. Пока шла война, его поддерживало правительство, ведь другой его зять, Морис де Тианж, был в ту пору депутатом парламента... а после войны... Вы сами лучше моего знаете, что вашему деду в конце концов пришлось оказать ему помощь... Расчеты вашего тестя оправдались... Ах, опять этот божественный запах!.. Вероятно, мы приближаемся к веранде... Остановитесь на минутку, Антуан, я совсем задыхаюсь...

— Это оттого, что вы разговаривали, поднимаясь в гору.

— Положите руку мне на сердце, Антуан... Слышите, как неистово оно бьется. Вот вам, возьмите мой платок, вытрите губы... Женщины — ужасные создания, они сразу же замечают малейший след губной помады... Ну что вы делаете, разве можно вытирать рот собственным платком? На нем же останутся следы... Не будь вы примерным супругом, вы бы уже давно знали это?.. Так... а теперь почистите свое левое плечо: что, если на нем остались следы пудры!.. Отлично... Теперь мы можем выйти на свет божий.

Спустя несколько минут гости уехали. Женщины нежно простились друг с другом.

ФИАЛКИ ПО СРЕДАМ

— О Женни, останьтесь!

За обедом Женни Сорбье была ослепительна. Она обрушила на гостей неистощимый поток всевозможных историй и анекдотов, которые рассказывала с подлинным актерским мастерством и вдохновением прирожденного писателя. Гостям Леона Лорана — очарованным, восхищенным и покоренным — время, проведенное в ее обществе, показалось одним волшебным мгновением.

— Нет, уже почти четыре часа, а ведь сегодня среда... Вы же знаете, Леон, в этот день я всегда отношу фиалки моему другу...

— Как жаль! — произнес Леон своим неподражаемым раскатистым голосом, составившим ему немалую славу на сцене. — Впрочем, ваше постоянство всем известно... Я не стану вас удерживать.

Женни расцеловалась с дамами, мужчины почтительно поцеловали ей руку, и она ушла. Как только за ней закрылась дверь, гости наперебой принялись расточать ей восторженные похвалы.

— Она и впрямь восхитительна! Сколько лет ей, Леон?

— Что-то около восьмидесяти. Когда в детстве мать водила меня на классические утренники Комеди Франсез, Женни, помнится, уже блистала в роли Селимены. А ведь я тоже не молод.

— Талант не знает старости, — вздохнула Клер Менетрие. — А что это за история с фиалками?

— О, да тут целый роман... Она как-то поведала мне его, однако никогда об этом не писала... Но я просто не рискую выступать в роли рассказчика после нее. Сравнение будет для меня опасным.

— Да, сравнение вообще опасно. Но ведь мы у вас в гостях, и ваш долг — развлекать нас. Вы просто обязаны заменить Женни, раз уж она нас покинула.

— Ну что ж! Я попытаюсь рассказать вам историю фиалок по средам... Боюсь только, как бы она не показалась слишком сентиментальной по нынешним временам...

— Не бойтесь, — произнес Бертран Шмит. — Наше время жаждет нежности и любви. Под напускным цинизмом оно прячет тоску по настоящим чувствам.

— Вы так думаете?.. Что ж... Если так, я постараюсь утолить эту жажду... Все вы, здесь сидящие, слишком молоды, чтобы помнить, как хороша была Женни в годы высшего расцвета своей славы. Огненно-рыжие волосы свободно падали на ее восхитительные плечи, лукавые раскосые глаза, звучный, почти резкий голос, в котором вдруг прорывалось чувственное волнение,— все это еще больше подчеркивало ее яркую и гордую красоту.

— А вы красноречивы, Леон!

— Боюсь, что мое красноречие несколько старомодно. Но все же благодарю... Женни окончила консерваторию в 1895 году с первой премией и сразу же была приглашена в Комеди Франсез. Увы, я по собственному опыту знаю, как тяжело приходится новичку в труппе этого знаменитого театра. На каждое амплуа имеется актер с именем, ревниво оберегающий свои роли. Самая восхитительная из субреток может лет десять дожидаться выигрышной роли в пьесах Мариво и Мольера. Чаровница Женни столкнулась с властными, цепкими королевами сцены. Всякая другая на ее месте смирилась бы со своей участью или, промаявшись год-два, перебралась бы в один из театров бульвара Мадлен. Но не такова была наша Женни. Она ринулась в бой, пустив в ход все, что у нее было: талант актрисы и блестящую образованность, все свое обаяние и свои восхитительные волосы.

Очень скоро она стала одной из ведущих актрис театра. Директор в ней души не чаял. Драматурги наперебой требовали, чтобы она играла созданные ими трудные роли; уверяя, что никто, кроме нее, не сумеет донести их до публики. Критики с небывалым постоянством пели ей дифирамбы. Сам грозный Сарсэ, и тот писал о ней: «Один поворот ее головы, один звук ее голоса способен очаровать даже крокодила».

Мой отец, который в те годы был с ней знаком, рассказывал, что она страстно любила свое ремесло, судила о нем с умом и неустанно отыскивала новые, волнующие актерские приемы. В ту пору в театре увлекались реализмом довольно наивного толка. Если роль предписывала Женни умереть в какой-то пьесе от яда, она всякий раз перед спектаклем отправлялась в больницу — взглянуть на мучения тех, кто погибал от отравы. Борьбу человеческих чувств она изучала на самой себе. Слу-

жа искусству, она выказывала то же полное отсутствие щепетильности, которым отличался Бальзак, описавший в одном из своих романов собственные страсти и чувства любимой им женщины.

Вы, конечно, догадываетесь, что у девушки двадцати двух лет, ослепительно прекрасной и молниеносно завоевавшей громкую славу, должно было появиться множество поклонников. Приятели по театру, драматурги, банкиры — все пытались завоевать ее расположение. Она избрала банкира Анри Сталя. Не потому, что он был богат, — Женни жила вместе с родными и ни в чем не нуждалась. А потому, что он, как и она, обладал редким обаянием, и главное — предлагал ей законный брак. Вы, возможно, знаете, что брак этот состоялся не сразу, — родители Сталя долго не давали своего согласия. Анри и Женни поженились лишь спустя три года, но вскоре разошлись — Женни с ее независимым характером не в силах была подчиниться семейному рабству. Но это уже другая история. А сейчас вернемся к Комеди Франсез, к дебюту нашей Женни и... к филкам.

Представьте себе артистическое фойе в тот самый вечер, когда Женни вновь появилась в «Багдадской принцессе» Дюма-сына. Пьеса эта не лишена недостатков. И даже у меня, склонного восхищаться такими добротными сделанными пьесами, как «Полусвет», «Друг женщин», «Франсийон», капризы Дюма в «Иностранке» и «Багдадской принцессе» вызывают улыбку. Однако все, кто видел Женни в главной роли, писали, что она сумела создать правдоподобный образ. Мы часто говорим с ней о тех временах. Как ни странно, Женни сама верила тому, что играла. «В свои юные годы, — призналась она мне, — я рассуждала почти так же, как какая-нибудь героиня Дюма-сына, и до чего же удивительно было играть на залитой светом сцене то, что зрело во мне в самых тайниках моей души». Добавьте еще, что эта роль позволяла ей прибегнуть к эффектному приему: она распускала свои чудесные волосы, которые падали на прекрасные обнаженные плечи. Одним словом, Женни была великолепна.

В антракте, после овации, которую устроила ей публика, она вышла в артистическое фойе. Все тотчас столпились вокруг нее. Женни опустилась на диван, ря-

дом с Анри Сталем. Она весело болтала с ним, вся во власти того радостного возбуждения, которое дает победа.

— Ах, мой милый Анри!.. Вот я снова выплыла на поверхность! Наконец-то я дышу полной грудью... Вы сами видели, как я играла три дня назад... Правда, ведь я никуда не годилась?.. Фу! Мне казалось, что я барахтаюсь на самом дне. Я задыхалась. И вот наконец — сегодняшней вечер. Сильный рывок — и опять я на поверхности! Послушайте, Анри, а что, если я провалюсь в последнем акте? Что, если у меня не останется сил доплыть до конца? О Боже, Боже!

Вошедший капельдинер вручил ей цветы.

— От кого бы это? А, от Сен-Лу... От вашего соперника, Анри... Отнесите букет в мою уборную.

— И еще письмо, мадемуазель, — сказал капельдинер.

Распечатав послание, Женни звонко рассмеялась:

— Записка от лицеиста. Он пишет, что они создали в лицее «Клуб поклонников Женни».

— Весь «Жокей-клуб» ныне превратился в клуб ваших поклонников...

— Меня больше трогают лицеисты... А это послание к тому же заканчивается стихами... Послушайте, дорогой мой...

Скромные строки: «Я вас люблю» —
Не судите и не отвергайте,
И бедного автора — нежно молю —
Директору не выдавайте.

— Ну, разве не прелесть?

— Вы ответите ему?

— Конечно, нет. Таких писем я получаю ежедневно не меньше десятка... Если я начну на них отвечать, я пропала... Но письма меня радуют... Эти шестнадцатилетние поклонники еще долго будут мне верны...

— Как знать... В тридцать лет они уже будут нотариусами.

— А почему бы нотариусам не быть моими поклонниками?

— Вот еще просили вам передать, мадемуазель, — сказал подошедший снова капельдинер.

И он протянул Женни букетик фиалок за два су.

— О, как это мило, поглядите, Анри! А записки нет?

— Нет, мадемуазель. Швейцар сказал мне, что фиалки принес какой-то студент Политехнической школы.

— Дорогая,— воскликнул Анри Сталь.— Позвольте вас поздравить! Право, потрясти этих «икс-игреков» не так-то просто.

Женни глубоко вдохнула запах фиалок.

— Какой дивный аромат! Только такие знаки внимания и радуют меня. Терпеть не могу солидную, довольную собой публику, ту, что является поглазеть, как я буду умирать, в полночь, точно так же, как в полдень спешит в Пале-Рояль — послушать, как стреляет пушка.

— Зрители — садисты,— ответил Анри Сталь.— Они всегда такими были. Вспомните бои гладиаторов... Каким успехом пользовалась бы актриса, вздумавшая проглотить набор иголок!

Женни рассмеялась:

— А если какая-нибудь актриса вздумала бы проглотить швейную машину, слава ее достигла бы апогея!

Послышался возглас: «На сцену!» Женни встала:

— Ну что ж, до скорого... Пойду глотать иголки!..

Вот так, по рассказу Женни, и началась вся эта история.

В следующую среду во время последнего антракта улыбающийся капельдинер снова принес Женни букетик фиалок.

— Вот как! — воскликнула она.— Неужто опять тот же студент?

— Да, мадемуазель.

— А каков он из себя?

— Не знаю, мадемуазель. Хотите, спрошу у швейцара?

— Нет, не стоит, какая разница...

В среду на следующей неделе спектакля не было, но когда в четверг Женни пришла на репетицию, букетик фиалок, на сей раз немного увядший, уже лежал в ее уборной. Покидая театр, она заглянула в каморку швейцара.

— Скажите-ка, Бернар, фиалки принес... все тот же молодой человек?

— Да, мадемуазель... В третий раз.

— А каков он из себя, этот студент?

— Он славный мальчик, очень славный... Пожалуй, немного худощав, щеки у него впалые и глаза печальные, небольшие черные усики и лорнет... Лорнет и сабля на боку — это, конечно, смешно... Право, мадемуазель, юноша, видимо, влюблен не на шутку... Всякий раз он протягивает мне свои фиалки со словами: «Для мадемуазель Женни Сорбье» — и заливается краской...

— Отчего он всегда приходит по средам?

— А вы разве не знаете, мадемуазель? В среду у студентов Политехнической школы нет занятий. В этот день они заполняют весь партер и галерку... Каждый приводит с собой барышню...

— И у моего есть барышня?

— Да, мадемуазель, только это его сестра... Они так похожи друг на друга, просто диву даешься...

— Бедный мальчик! Будь у меня сердце, Бернар, я бы попросила вас хоть разочек пропустить его за кулисы, чтобы он мог сам вручить мне свои фиалки.

— Не советую, мадемуазель, никак не советую... Пока этих театральных воздыхателей почти не замечают, они не опасны. Они восхищаются актрисами издали, и это вполне их удовлетворяет... Но стоит показать им малейший знак внимания, как они сразу начнут докучать вам, и это становится ужасным... Протянешь им мизинец, они ладонь захватят... Протянешь ладонь — руку захватят. Смейтесь, смейтесь, мадемуазель, да только я-то знаю, как это бывает. Двадцать лет служу в этом театре! Уж сколько влюбленных барышень я повидал на своем веку в этой каморке... И свихнувшихся молодых людей... И стариков... Я всегда принимал цветы и записки, но никогда не пропускал никого из них наверх. Чего нельзя, того нельзя!

— Вы правы, Бернар. Что ж, будем холодны, осмотрительны и жестоки!

— Какая тут жестокость, мадемуазель, просто здравый смысл...

Прошли недели. Каждую среду Женни получала свой букетик фиалок за два су. Весь театр прослышал об этом. Однажды одна из актрис сказала Женни:

— Видела я твоего студента... Он очарователен, такая романтическая внешность... Прямо создан, чтобы играть в «Подсвечнике» или «Любовью не шутят».

— Откуда ты знаешь, что это мой студент?

— Я случайно заглянула к швейцару в ту самую ми-

нугу, когда он принес цветы и робко попросил: «Пожалуйста, передайте мадемуазель Женни Сорбье...» Это была трогательная картина. Видно, юноша умен и не хотел казаться смешным, но все же он не мог скрыть волнения... Я даже на минуту пожалела, что он не мне носит фиалки, уж я отблагодарила бы его и утешила... Заметь, он ничего не просил, даже не добивался разрешения увидеть тебя... Но будь я на твоём месте...

— Ты бы приняла его?

— Конечно, и уделила бы ему несколько минут. Ведь он так давно ходит сюда. К тому же и каникулы подоспели. Ты уедешь, так что нечего опасаться, что он начнет тебе досаждать...

— Ты права,— сказала Женни.— Сущее безумие пренебрегать поклонниками, когда они молоды и им нет числа, а потом гоняться за ними спустя тридцать лет, когда их останется совсем немного и все они обзаведутся лысиной...

Выходя в этот вечер из театра, она сказала швейцару:

— Бернар, в среду, когда студент опять принесет фиалки, скажите ему, чтобы он сам вручил их мне после третьего акта... Я играю в «Мизантропе». По роли я переодеваюсь всего один раз. Я поднимусь в свою уборную и там приму его... Нет, лучше я подожду его в коридоре, у лестницы или, может быть, в фойе.

— Хорошо. Вы не бойтесь, мадемуазель, что...

— Чего мне бояться? Через десять дней я уеду на гастроли, а этот мальчик прикован к своей Политехнической школе.

— Хорошо, мадемуазель... А все же, на мой взгляд...

В следующую среду Женни играла Селимену с особым блеском, вся во власти горячего желания понравиться незнакомцу. Когда наступил антракт, она ощутила острое любопытство, почти тревогу. Она устроилась в фойе и стала ждать. Вокруг нее сновали завсегдатаи театра. Директор о чем-то беседовал с Бланш Пьерсон, слышавшей в те времена соперницей Женни. Но нигде не было видно черного мундира. Охваченная нетерпением, взволнованная, Женни отправилась искать капельдинера.

— Никто меня не спрашивал?

— Нет, мадемуазель.

— Сегодня среда, а фиалок моих нет как нет. Мо-

жет быть, Бернар забыл передать их... Или тут какое-нибудь недоразумение?

— Недоразумение, мадемуазель? Какое недоразумение? Если угодно, я схожу к швейцару?

— Да, пожалуйста... Впрочем, нет, не стоит. Я сама спрошу Бернара, когда пойду домой.

Она посмеялась над собой. «Странные мы создания,— подумала она,— в течение шести месяцев я едва замечала робкую преданность этого юноши. И вдруг сейчас только потому, что мне недостает этих знаков внимания, которыми я всегда пренебрегала, я волнуюсь, словно жду любовника... «Ах, Селимена, как сильно пожалеешь ты об Альцесте, когда он покинет тебя, охваченный нестерпимым горем!»

После спектакля она заглянула к швейцару.

— Ну как, Бернар, где мой поклонник? Вы не прислали его ко мне?

— Мадемуазель, как назло, сегодня он не приходил... В первый раз за полгода он не явился в театр — именно в тот самый день, когда мадемуазель согласилась его принять.

— Странно. Может быть, кто-нибудь предупредил его и он испугался?

— Нет, мадемуазель, что вы... Никто и не знал об этом кроме вас и меня... Вы никому не сказали? Нет? Ну и я тоже молчал... Я даже жене ничего не говорил...

— Так как же вы все это объясните?

— А никак не объясню, мадемуазель... Может быть, случайно так совпало. А может быть, ему наскучило все это... Может быть, он захворал... Поглядим в следующую среду...

Но и в следующую среду опять не было ни студента, ни фиалок.

— Что же теперь делать, Бернар?.. Как вы думаете, может быть, приятели его помогут нам разыскать юношу? А может быть, обратиться к директору Политехнической школы?

— Но как мы это сделаем, мадемуазель? Мы ведь даже не знаем его имени.

— И то правда, Бернар. Как все это грустно! Не везет мне, Бернар.

— Полно, мадемуазель. Вы с таким блеском провели этот сезон. Скоро вы уедете на гастроли, где вас ждут новые успехи... Разве не грех говорить, будто вам не везет!

— Вы правы, Бернар! Я просто неблагоприятное существо... Да только уж очень я привыкла к своим филлкам.

На следующий день Женни покинула Париж. Анри Сталь сопровождал ее в этой поездке. В какой бы гостинице ни остановилась Женни, ее комната всегда утопала в розах. Когда она возвратилась в Париж, она уже позабыла о романтическом студенте.

Спустя год, она получила письмо от некоего полковника Женеврьер, который просил принять его по личному делу. Письмо было написано очень корректно, с большим достоинством, и не было никакой причины отказывать в свидании. Женни предложила полковнику навестить ее в один из субботних вечеров. Он пришел, одетый в черное штатское платье. Женни встретила его с той очаровательной непосредственностью, которой ее наделила природа и научила сцена. Но во всем ее поведении, естественно, проскальзывал немой вопрос: что нужно от нее этому незнакомцу? Она терпеливо ждала объяснений.

— Благодарю вас, мадемуазель, за то, что вы согласились принять меня. Я не мог объяснить в письме цель своего визита. И если я позволил себе просить вас о свидании, то, поверьте, не мужская дерзость тому причиной, а родительские чувства... Вы видите, я одет во все черное. Я ношу траур по сыну, лейтенанту Андре де Женеврьеру, убитому на Мадагаскаре два месяца назад.

Женни сделала невольное движение, словно желая сказать: «Сочувствую вам от всего сердца, но только...»

— Вы не знали моего сына, мадемуазель, мне это известно... Но зато он знал вас и восхищался вами. Вам покажется это невероятным, а между тем все, что я расскажу вам сейчас,— чистейшая правда. Он любил и боготворил вас больше всех на свете...

— Кажется, я начинаю понимать, полковник. Он сам поведал вам об этом?..

— Мне? Нет. Он рассказал обо всем сестре, которая была поверенной его тайны. Все началось в тот день, когда он пошел вместе с ней смотреть «Игру любви и случая». Возвратившись домой из театра, дети мои с восхищением отзывались о вас: «Сколько тонкости и чистоты в ее игре, сколько волнующей поэзии!..» Они говорили еще много такого, что наверняка было справедливо, я в этом не сомневаюсь... И все же стра-

стность, присущая молодости, ее готовность идеализировать... Мой бедный мальчик был мечтателем, романтиком.

— Боже мой,— воскликнула Женни,— так, значит, это он...

— Да, мадемуазель, тот самый студент Политехнической школы, который из месяца в месяц каждую среду приносил вам букетик фиалок, был мой сын — Андре... Это я тоже узнал от своей дочери. Надеюсь, подобное ребячество, наивный знак восхищения не рассердил вас?.. Он ведь так сильно любил вас или, быть может, тот созданный его воображением образ, который он носил в своем сердце... Стены его комнаты были увешаны вашими портретами... Сколько усилий стоило его сестре раздобыть у ваших фотографов какой-нибудь новый портрет!.. В Политехнической школе приятели посмеивались над его страстью. «Напиши ей обо всем!» — говорили они.

— Жаль, что он этого не сделал...

— Сделал, мадемуазель! Я принес вам целую пачку писем, которые так и не были отправлены. Мы нашли их после его смерти.

Достав из кармана пакет, полковник вручил его Женни. Однажды она показала мне эти письма — почерк тонкий, стремительный, неразборчивый. Почерк математика, зато стиль поэта.

— Сохраните эти письма, мадемуазель. Они принадлежат вам. И простите меня за необычный визит... Мне казалось, что я обязан сделать это в память о сыне... В чувстве, которое вы ему внушали, не было ничего непочтительного, легкомысленного... Он считал вас олицетворением красоты и совершенства... Уверяю вас, Андре был достоин своей великой любви.

— Но отчего же он не пытался увидеть меня? Отчего я сама не постаралась встретиться с ним?.. Ах, как я ненавижу себя за это, как ненавижу...

— Не корите себя, мадемуазель... Вы же не могли знать... Тотчас после окончания Политехнической школы Андре попросил направить его на Мадагаскар... Не скрою, причиной этого решения были вы... Да, он говорил сестре: «Одно из двух: или разлука излечит меня от этой безнадежной страсти, или же я совершу какой-нибудь подвиг и тогда...»

— Разве скромность, постоянство и благородство не лучше всякого подвига? — со вздохом произнесла Женни.

Заметив, что полковник собирается уходить, она порывисто схватила его за руки.

— Кажется, я не совершила ничего дурного, — сказала она, — и все же... И все же сдается мне, что и у меня есть долг по отношению к покойному, не успевшему вкусить радости жизни... Послушайте, полковник, скажите мне, где похоронен ваш сын... Клянусь вам: пока я жива, я каждую среду буду приносить букетик фиалок на его могилу.

— Вот почему, — закончил свой рассказ Леон Лоран, — вот почему наша Женни, которую многие считают женщиной скептической, сухой, даже циничной, неизменно каждую среду покидает друзей, работу и порой любимого человека и идет одна на кладбище Монпарнас, к могиле незнакомого ей лейтенанта... Ну вот, теперь вы и сами видите, что я был прав, — история эта слишком сентиментальна для нынешних времен.

Наступило молчание. Затем Бертран Шмит сказал:

— На свете всегда будет существовать романтика для того, кто ее достоин.

СОДЕРЖАНИЕ

ТРИ ДЮМА. Части VIII—X. Перевод Л. Беспаловой и С. Шлапоберской	7
--	---

НОВЕЛЛЫ

Биография. Перевод Ю. Яхниной	137
Ариадна, сестра... Перевод Ю. Яхниной	153
История одной карьеры. Перевод С. Тархановой	169
Рождение знаменитости. Перевод С. Тархановой	194
По вине Бальзака. Перевод А. Строева	198
Прилив. Перевод Ю. Яхниной	224
Love in Exile. Перевод В. Мильчиной	238
Миррина. Перевод Ю. Яхниной	249
Проклятье Золотого Тельца. Перевод Ю. Яхниной	258
Добрый вечер, милочка... Перевод С. Тархановой	266
Фиалки по средам. Перевод С. Тархановой	277

Моруа Андре

М 79 Собр. соч. в шести томах. Том 2. Части VIII—X. Три Дюма. Новеллы: пер. с фр./ Под общей ред. и сост. М. Н. Ваксмахера: — М.: Пресса, 1992.— 288 с., ил.

ISBN 5—253—00560—9

Андре Моруа (1885—1967) — выдающийся французский писатель, один из признанных мастеров культуры XX века, член французской Академии, создал за полвека литературной деятельности более полутора ста книг.

Во второй том вошли роман «Три Дюма» (части VIII—X) — художественная биография трех поколений одной французской семьи: наполеоновского генерала, его сына и внука, знаменитых писателей.

4703010100—2706

М 080(02)—92 2706—92

84.4 Фр

Литературно-художественное издание

МОРУА Андре

Собрание сочинений в шести томах

Том второй

ТРИ ДЮМА. Части VIII—X

НОВЕЛЛЫ

Редакторы С. А. Суркова, Г. Ф. Фролова

Оформление художников А. В. Лепятского, Л. В. Брылева

Художественный редактор Л. В. Брылев

Технический редактор В. Н. Веселовская

ИБ 2706

Сдано в набор 25.07.91. Подписано к печати 21.06.92. Формат 84×108^{1/32}. Гарнитура «Академическая». Печать высокая. Усл. печ. л. 15,12. Усл. кр.-отт. 15,75. Уч.-изд. л. 16,50. Тираж 770 000 экз. Заказ 947. Цена 10 руб.

Набрано и отпечатано в типографии издательства «Пресса». 125865. ГСП. Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

